ТОМСКАЯ КЛАССИКА

Константин Станюкович

В места не столь отдаленные

Константин Михайлович Станюкович

Аннотация
Константин Станюкович. В места не столь отдалённые. Избранное
А. Пугачёв. Сибирский роман. К. М. Станюковича
Константин Станюкович. В места не столь отдалённые
I. Приговор
II. Камера № 198
III. Один из «порядочных» молодых людей
IV. Неожиданное открытие
V. Выстрел
VI. Два свидания
VII. Деловое утро
VIII. На новых местах
IX. Один из сибирских «чумазых»
X. Добрая старушка
XI. «Сибирские» ощущения
XII. Толстобрюховская «история»
XIII. «Пентефриева жена»
XIV. Встреча
XV. Зинаида Николаевна

XVI. Объяснения
XVII. Неожиданная экскурсия
XVIII. Старый знакомый
XIX. В театре
XX. Любопытная «историйка»
XXI. Ревность
XXII. «Бомба»
XXIII. Новая неприятность
XXIV. Испытание любви
XXV. «Короли в изгнании»
XXVI. «Идея»
XXVII. Медовый месяц
XXVIII. «Страдалец»
XXIX. Последнее объяснение
XXX. Приезд «нового»
XXXI. «Счастливый молодой человек»
Эпилог
Константин Станюкович. Г. Н. Потанин. (биографический очерк)
М. В. Грицанова. «Томская тема» в судьбе и творчестве К. М. Станюковича
Литература:

Аннотация

Единственный «сибирский» роман Константина Станюковича, написанный им в Томске, в 1886 г., во время отбывания им политической ссылки в 1885–1888 гг.

По сюжету романа, некто господин Невежин, за попытку убийства жены приговаривается к ссылке в город Жиганск, в описании которого, читатель без труда узнаёт Томск того времени. Но, похождения Невежина в Жиганске для писателя лишь повод, чтобы показать деятельность генерал-губернаторов, уголовно-ссыльных — «бубновых тузов», и, главное — общественно-идейную борьбу прессы двух лагерей интеллигенции: ретроградов-консерваторов и народовольцев-реформаторов.



Константин Станюкович
В места не столь отдалённые
Избранное


ТОМСКАЯ
КЛАССИКА



Константин Станюкович

УДК 821.161.1-32 Константин Станюкович.
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С71

Константин Станюкович. Избранное. Книжная серия «Томская классика» — Томск:, 2015. — 376 с. Составитель *Г. Скарлыгин.*

Избранное

Книжная серия «Томская классика»
выходит при поддержке губернатора Томской области
Сергея Анатольевича Жвачкина

Томская писательская организация благодарит
руководителей ООО «Межениновская птицефабрика»
Андрея Андреевича Чуркина,
Леонида Викторовича Ющенко,
Владимира Николаевича Хорошилова,
Фёдора Николаевича Халецкого
за финансирование издательского проекта
«Томская классика»

Томск–2015

ISBN 5-902350-01-8
ISBN 5-902350-10-7

© *Г. Скарлыгин*: составление, 2015
© Томская писательская
организация: переиздание, 2015

А. Пугачёв
Сибирский роман
К. М. Станюковича

Сибирский роман
К. М. Станюковича

«В места не столь отдалённые» — единственный сибирский роман Константина Михайловича Станюковича. Однако прежде чем изложить историю его создания, необходимо хотя бы кратко рассказать, как писатель очутился в Сибири.

Возвращаясь из-за границы, К. М. Станюкович, издатель и редактор журнала «Дело», 21 (ст. ст.) апреля 1884 года был арестован на пограничной

станции Вержболово. Его доставили в Петербург, в жандармское управление, а затем заключили в тюрьму.

Суть «преступной деятельности» К. М. Станюковича, как это видно из документов департамента полиции, царские власти усматривали в том, что он во время своих неоднократных поездок за границу находился в непосредственных «сношениях… с лицами, скрывающимися за границей ввиду упадающего на них подозрения в прикосновенности к тяжким государственным преступлениям»[1]. Под этими лицами подразумевались П. Л. Лавров, Л. А. Тихомиров, П. Н. Ткачёв, С. М. Степняк-Кравчинский, П. А. Кропоткин, В. И. Засулич, Л. Г. Дейч, Я. Ф. Стефанович и другие политические эмигранты. К. М. Станюковичу вменялось в вину также и то, что он печатал в журнале «Дело» произведения многих «государственных преступников», оказывал им материальную помощь, передавал деньги в фонд «Красного креста партии „Народная воля“». «Ещё раньше департаменту полиции было известно его увлечение народническими идеями и „хождение в народ“» — он восемь месяцев учительствовал

[1] Примечания: 1

В статье использованы материалы Государственного архива Томской области (ГАТО).

в сельской школе. К. М. Станюковича считали «крайним радикалом», который давно имеет связи не только с русской эмиграцией, но и с «революционными кружками внутри империи» [2].

К моменту ареста К. М. Станюкович уже был известным публицистом и писателем. Наиболее плодотворно он сотрудничал в литературно-политическом ежемесячнике «Дело». Этот журнал, редактируемый Г. Е. Благосветловым и Н. В. Шелгуновым, являлся наиболее передовым и влиятельным журналом тех лет (1866–1884 гг.). На его страницах К. М. Станюкович проявил себя талантливым публицистом — автором «Картинок общественной жизни» и «Писем знатного иностранца». В «Деле» печатались и его романы «Без исхода», «Два брата», «Омут», повести «Червонный валет», «Похождение благонамеренного молодого человека» и пьеса «Родственники». В 1830 году, после смерти Г. Е. Благосветлова, К. М. Станюкович становится соредактором, а затем издателем и редактором журнала «Дело». Через год предварительного заключения, 24 апреля 1885 года, К. М. Станюкович был выслан в административном порядке «под надзор полиции в

[2] Примечания: 2

О. С. Л ю б а т о в и ч. Воспоминания народоволки. «Былое», 1906, № 6, стр. 128.

местности Западной Сибири на три года». Западная Сибирь тогда считалась «местами не столь отдалёнными» в отличие от «мест отдалённых» — Восточной Сибири и Сахалина.

Ссылку К. М. Станюкович должен был отбывать в Томске. Власти полагали, что здесь писатель будет находиться в политической и литературной изоляции, что ссылка сокрушит его неуёмную энергию и талант. Но эти надежды не оправдались. В Томске писатель обрёл верных друзей — здесь, на страницах «Сибирской газеты», он продолжал свою публицистическую и литературную деятельность. И, наконец, здесь «произошло некое чудо — писатель, печатавшийся уже более двух десятков лет, вдруг получил как бы второе дыхание, вторую литературную молодость, притом более цветущую»[3]. Цикл «Морские рассказы», который К. М. Станюкович начал писать в Томске, принёс ему мировую известность.

К. М. Станюкович прибыл в Томск 17 апреля 1885 года. Томск вначале произвёл скверное впечатление на писателя и его семью: раздражали невыносимая жара, пыль и «ужасающая грязь».

Томск в то время имел почти 37 000 жителей,

[3] Примечания: 3

Л. Соболев. О Константине Михайловиче Станюковиче. Собр. соч. К. М. Станюковича. Т. 1, М., ГИХЛ, 1958, стр. 9.

из сибирских городов он уступал первенство по народонаселению только Иркутску. В промышленности было занято чуть более тысячи человек. Город развивался как торговый центр на Московском тракте, как перевалочная база транзитных грузов.

В описываемое время Томск готовился стать университетским городом. Главный корпус уже был подготовлен к занятиям. Однако царское правительство всё ещё не решалось открыть университет.

Томск и до открытия университета был наиболее «образованным и литературным» городом Сибири. Он имел мужскую и женскую гимназии, реальное училище. Народная библиотека, основанная в 1871 году, считалась лучшей в Сибири, а в книжном магазине П. И. Макушина подбор книг был на уровне столичных магазинов.

К. М. Станюкович стал своим человеком в книжном магазине и многие часы проводил в библиотеке. Но главное «благо томского жития» сказалось в том, что писатель впервые за многие годы получил возможность писать без спешки, избавился от литературной подёнщины, которая, как он чувствовал сам и как это отмечалось его критиками, «заедала», губила его талант.

Арест и ссылка лишили К. М. Станюковича общения с эмигрантами-народниками, с литературным миром столицы, но и в Томске он встретил большую группу активных деятелей народничества. Его ближайшими друзьями стали Ф. В. Волховский (И. Брут), С. Л. Чудновский, А. И. Иванчин-Писарев, Д. А. Клеменц. Все они были политическими ссыльными и занимали руководящее положение в «Сибирской газете», в которой сотрудничали также и народовольцы Г. Ф. Зданович, Л. Э. Шишко, старший брат «князя-бунтовщика» П. А. Кропоткина астроном А. А. Кропоткин, каракозовец П. Ф. Николаев. Печатался в «Сибирской газете» и писатель-томич Н. И. Наумов. Вскоре «Сибирская газета» стала для К. М. Станюковича общественно-политической и литературной трибуной.

В Томске, кроме «Сибирской газеты» и официальных «Томских губернских ведомостей», издавался ещё «Сибирский вестник».

«Сибирская газета» (основана в 1881 г. известным сибирским книготорговцем П. И. Макушиным) была газетой «сибирских патриотов» — областников и политических ссыльных, а «Сибирский вестник», созданный за месяц до приезда в Томск К. М. Станюковича, полностью

стоял на стороне местных властей.

> «Между этими органами, — писал К. М. Станюкович, — конечно, вечная полемика; но, разумеется, сочувствие порядочных людей на стороне „Сибирской газеты“, а не „Сибирского вестника“, где работают по большей части все герои процессов… натурально, уголовных»[4].

Официальным редактором-издателем «Сибирского вестника» значился широко известный томичам весёлый гуляка и плут, присяжный поверенный В. П. Картамышев. В одном из фельетонов К. М. Станюкович, выступая под псевдонимом «Старый холостяк», писал о Картамышеве, что «черты Хлестакова совмещались в нём с чертами Подхалимова. Бесшабашность редко трезвого ташкентца сплеталась с какой-то наглой беспринципностью ничего не боящегося человека. Он говорил обо всём на свете с ноздрёвским апломбом»[5]. Двенадцать лет спустя А. П.

---

[4] Примечания: 4

Е. Некрасова. Константин Михайлович Станюкович. Его поездка в Сибирь и жизнь в Томске. (По письмам и воспоминаниям.) «Русская мысль», 1903, кн. 10, стр. 162.

[5] Примечания: 5

«Сибирская газета», 1886, 13 июля.

Чехов, встретив в Томске того же Картамышева, так характеризовал его: «Местный Ноздрёв, пьяница и забулдыга»[6].

Фактическим редактором «Сибирского вестника» стал Е. Корш — бывший адвокат, высланный в Томск за растрату денег своих клиентов, а ведущими сотрудниками — крупнейший московский банкокрад П. М. Полянский и другие высланные за уголовные дела (взятки, мошенничество и пр.). Большинство из них, очутившись в ссылке, по протекции влиятельных лиц устраивалось на «тёпленьких местечках», проникало в государственный аппарат.

За спиной «Сибирского вестника» стоял губернатор И. И. Красовский и не менее весомое лицо — попечитель Западно-Сибирского учебного округа В. М. Флоринский. Их объединяла ненависть не только к «Сибирской газете», но и к Томскому университету. Они были единодушны в своих домогательствах закрыть ещё не открытый университет, считали, что в Томске не должно быть ни университета, ни «Сибирской газеты». Красовского и Флоринского поддерживали такие столпы реакции, как М. Н. Катков, редактор «Мос-

---

[6] Примечания: 6

А. П. Чехов. Собр. соч. Т. XI, М., ГИХЛ. 1956, стр. 441.

ковских ведомостей», обер-прокурор святейшего Синода К. П. Победоносцев и министр внутренних дел граф Д. А. Толстой.

М. Н. Катков хорошо знал сотрудников «Сибирской газеты», особенно К. М. Станюковича, который до ссылки подвергал его критике и осмеянию. В конце января 1886 года «Московские ведомости» поместили, по сути дела, политический донос на «Сибирскую газету».

> «В Томске образовался целый штат социалистов, собранный со всех концов Сибири. Редакция местной „Сибирской газеты“ сплошь состоит из них. Кружок политических ссыльных постоянно старается вербовать молодёжь. Революционные кадры уже готовы. Ожидается только прибытие новобранцев в виде томских студентов, а может быть, и профессоров!..»

Победоносцев в личном письме к царю, комментируя и развивая это выступление Каткова, советовал пересмотреть вопрос об учреждении Томского университета.

> «В тех условиях жизни, — писал Побе-

> доносцев, — кои существуют в Томске, возможно ли идти, так сказать, навстречу вредным элементам и настаивать на учреждении в Томске университета... Общество томское состоит из всякого сброда: можно себе представить, как оно воздействует на университет...»[7].

Смертельный удар «Сибирской газете» нанёс попечитель Западно-Сибирского учебного округа В. М. Флоринский, заявивший министру внутренних дел, что при существовании «Сибирской газеты» он не ручается за спокойствие студентов в открываемом в Томске университете.

Университет был открыт 22 июля 1888 г., а через два дня «Сибирская газета» прекратила своё существование.

Так, по выражению П. М Макушина, «нетопыри и совы, не выносящие дневного света, забили тревогу и задушили газету».

За три года подневольного пребывания в Томске К. М. Станюкович опубликовал на страницах «Сибирской газеты» роман-памфлет «Не столь отдалённые места», а также стихи, очерки и фе-

---

[7] Примечания: 7

Письма К. П. Победоносцева к Александру III. Т. II, М., ГИЗ, 1926, стр. 99—100.

льетоны. Многие из этих материалов написаны с таким обличительным накалом, с каким ему ещё не удавалось выступать раньше.

О деятельности «Сибирской газеты» и выдающейся роли К. М. Станюковича, которую он играл на её страницах, очень убедительно свидетельствует начальник томского жандармского управления. В политическом обзоре за 1886 год он писал:

> «…„Сибирская газета“ направления крайне вредного, в ней обсуждается деятельность как местной администрации, так и вообще распоряжения правительства, причём статьи пишутся в таком тоне, что подрывают авторитет различных правительственных учреждений и лиц… В состав редакции входят многие политические ссыльные, в особенности же в ней выдающуюся роль играет ссыльный по приговору особого присутствия правительствующего сената Волховский и административно-ссыльный — бывший издатель журнала „Дело“

— Станюкович»[8].

Роман «В места не столь отдалённые» писался в ходе этой борьбы и был одной из наиболее острых её форм. Как свидетельствует С. Л. Чудновский, Константин Михайлович «посещал наши редакционные собрания и по нашему предложению согласился писать для газеты роман-фельетон из местной жизни („Не столь отдалённые места“), в котором задумал изобразить характерные типы уголовно-ссыльного элемента Сибири»[9].

Публикация романа началась с воскресенья 7 сентября 1886 года, когда были написаны только первые главы. С этого дня почти каждое воскресенье за подписью «Н. Томский» читатели «Сибирской газеты» находили продолжение понравившегося им романа. Правда, роман до конца напечатать не удалось. Газета была закрыта, и роман прервался на середине XXX главы.

Главный герой романа — Евгений Невежин. Читатель впервые знакомится с ним в зале Петербургского окружного суда. Судья, прокурор,

---

[8] Примечания: 8

В. П. Вильчинский. Константин Михайлович Станюкович. М. — Л., Изд. АН СССР, 1963, стр. 232.

[9] Примечания: 9

С. Чудновский. Из дальних лет. «Вестник Европы», 1912, кн. 3, стр. 181.

жадная до судебных сенсаций публика, привалившая сюда, как на театральное представление, пытаются узнать тайну выстрела, который привёл этого молодого человека, сына генерал-майора в отставке, на скамью подсудимых. Евгений сознался в покушении на жену, и вот неизбежное свершилось: приговор — трёхлетняя ссылка в «места не столь отдалённые».

К. М. Станюкович показывает Евгения как типичного представителя среды «порядочных молодых людей»:

> «В жизни Евгения не было ничего ужасного с точки зрения обычной светской морали. Он жил, как все живут, то есть те, кому с детства он привык подражать, считая именно эту жизнь идеалом человеческого счастья».

После окончания лицея для Евгения начался какой-то «непрерывный праздник». «Два-три часа бездельничания в канцелярии, кутежи в модных ресторанах… балы, рауты… угарная, бесцельная жизнь». Вся эта суета требовала больших денег. Евгений запутался в долгах, и перед ним предстала дилемма: или пуля в лоб, или женитьба на богатой. Невежины не стреляются, они женятся.

Жена, «страшная, как грех», оплатила долги, но супружеская жизнь была для Евгения адом, и он стрелял в жену. Так Невежин очутился в Западной Сибири, в Жиганске.

Невежин и в сибирских главах романа остаётся центральным героем. Но читателю ясно, что его похождения в Жиганске для писателя лишь повод, чтобы показать деятельность генерал-губернаторов, уголовно-ссыльных — «бубновых тузов», и то главное, ради чего, по сути дела, написан роман — общественно-идейную борьбу прессы двух лагерей.

Теперь в роман входят новые герои. Он обрастает злободневными эпизодами, приобретая ярко выраженную окраску романа-памфлета.

Автор с сарказмом, смело обрушивается на высшие власти губернии, на полицию, на авантюристов — в отставке и состоящих на государственной службе, — на «тузов бубновых» и тузов финансовых. И как-то не верится, что автор этого романа — политический ссыльный. Ведь для него риск очутиться в местах «более отдалённых», чем Томск, был весьма реален.

В Жиганске автор прежде всего знакомит читателя с генерал-губернатором Ржевским-Пряником. В нём не было «юпитерского величия».

Это — низенький ростом, кругленький, гладкий, румяный старичок «из породы мышиных жеребчиков». Генеральским был только сюртук. Ржевский-Пряник донельзя чувствителен ко всяким заявлениям о том, что не он управляет губернией, а его сомнительные помощники из числа уголовно-ссыльных. Губернатор не может согласиться с молвой, что «будто господин Сикорский имеет на его превосходительство влияние, и влияние будто бы не особенно хорошее…». Как бы в опровержение своей самостоятельности Ржевский-Пряник в сцене разноса заседателя Прощалыжникова из Трущобинска пытается олицетворить собой «бога гнева»:

> — Молчать! — вдруг взвизгнул своим тенорком Василий Андреевич. — Вы позорите мундир… слышите ли? — мундир, который вы носите… Взятки, вымогательства, грабёж… Мерзость…

Так устами самого губернатора писатель обличал полицию в явных преступлениях!..

Ряд событий из жизни Томска К. М. Станюкович перенёс в Жиганск. Например, убийство, о котором автор рассказывает в романе, было совершено 4 ноября 1886 года. Оно ошеломило даже

томичей, казалось, уже свыкшихся с криками: «Караул! Грабят!».

9 ноября «Сибирская газета» посвятила этому происшествию статью под заголовком «Осаждённый город»:

> «Опять зверское убийство, опять потоки крови человеческой, опять ужасы и паника, среди которых обречено жить общество большого сибирского города! И нет просвета, нет надежды на то, чтобы жить вне этих ужасов, не опасаясь за целость головы каждый день, каждую минуту. Сотни притонов, рассеянных во всех частях города, стоят как неприступные крепости, держащие в своих руках узлы и нити всевозможных планов и организаций краж, грабежей и убийств. И нет силы подступить к этой крепости, нет возможности взять её приступом и смести, как препятствие мирной жизни цивилизованного общества».

К. М. Станюкович использовал это происшествие в главах романа «Неожиданная экскурсия» и «Старый знакомый», и снова подверг жестокой и язвительной критике и осмеянию местную

полицию.

Особенно сильно звучит откровенное признание самого пристава Спасского:

> — Где можно благородно взять, берём… Понимаете ли, благородно… Этак сорвать с какого-нибудь толстомордого купчины… Или, например, приобрести какой-нибудь предмет необходимости или роскоши за пятерню… Это мы любим.

Невежин, став в Жиганске помощником губернатора, своим человеком в его семье, общаясь с «бубновыми тузами», не мог измениться к лучшему и продолжал вести образ жизни светского тунеядца и по-прежнему жил только ради личного удовольствия. Его мечта о «перерождении», о трудовой жизни, возникшая было под влиянием любви к Зинаиде Николаевне Степовой, растворилась в пустой болтовне.

Образ Зинаиды Степовой остаётся в тени. Писатель не мог сказать о ней большего. Развитие этого почти единственного положительного образа в романе потребовало бы показать Степовую в общении с местными политическими ссыльными, но это было запретной темой, да и не входило

в задачу автора романа-памфлета.

Всё же К. М. Станюкович нашёл возможность привлечь внимание читателя к Степовой как к образу молодой народоволки. Он воспользовался для этого выступлением интригана Сикорского, который так характеризовал губернатору Зинаиду Николаевну:

> — Я кое-что слышал о госпоже Степовой и знаю, что она *из красных баршень*. (Здесь и далее разрядка наша. — А. П.) Она уже удостоилась быть выгнанной из одной деревни, где после окончания курса была учительницей и где после окончания курса была учительницей и где, конечно, пропагандировала *идеи в сообщих благополучий*... Вероятно, и здесь, на родине, она, как *горячая патриотка*, будет пропагандировать идеи сибирского патриотизма и, чего доброго, обратит милейшего Евгения Алексеевича в *местного патриота*. *«Америка для американцев»*... *«Сибирь для сибиряков»*...

Читатели «Сибирской газеты» отлично поняли из этих слов Сикорского, что Степовая была

лишена возможности работать в деревне, пропагандировать социальные идеи среди крестьян. Но эта неудача, как отмечает автор романа, не остановит Степовую, она будет продолжать борьбу, но она не будет осуществлять лозунг сибирских областников «Сибирь для сибиряков», ибо она из другого лагеря. Степовая — идейная воспитанница ссыльного народовольца. Она училась на его деньги, а не на стипендию Петербургского кружка сибиряков-областников. Всё это говорит о народовольческих чертах в биографии Степовой.

В своей клевете Сикорский умышленно поставил знак равенства между Степовой, «пропагандировавшей идеи всеобщего благополучия», то есть идеи социализма, со Степовой как с пропагандисткой идеи сибирского областничества, течения в своей основе не социалистического, а буржуазного и реакционного.

К. М. Станюкович, работая в «Сибирской газете», которую принято считать органом областников, никогда не был приверженцем их идей, особенно лозунга «Сибирь для сибиряков». Публицист и романист К. М. Станюкович выступал на два фронта: и против областников, и против махрового реакционера Каткова.

В фельетоне, входящем в цикл «Сибирские

картинки», К. М. Станюкович предупреждает читателей, чтобы они не верили, «…будто бы я имею преступное намерение отторгнуть Томскую губернию от Российской империи, и, поощряемый бездействием будто бы местных властей, я жду только удобного момента, чтобы образовать независимое Томское ханство»[10].

Тема этого фельетона была развёрнута писателем-сатириком в романе, особенно в главе «Бомба». Он ввёл в роман-памфлет реальные события — выступление Каткова в «Московских ведомостях» против томских политических ссыльных и их «штаба» — «Сибирской газеты». Писатель зло высмеял утверждение «столичной газеты», что «…Жиганск находится в состоянии полнейшей анархии и что всевозможные неблагонадёжные элементы (то есть политссыльные. — А. П.), благодаря необъяснимому попустительству местных властей держат чуть ли не в руках весь город и ждут только благоприятной минуты, чтобы объявить Жиганскую республику».

Более того, писатель заставил самого Ржевского-Пряника невольно выступить в защиту политических ссыльных.

---

[10] Примечания: 10
«Сибирская газета», 1886, 13 июля.

— Я сам напишу куда следует, что всё в этой корреспонденции ложь!.. Всё с начала до конца. Какие такие неблагонадёжные элементы здесь играют роль? Кто здесь попустители? Я, слава богу, тридцать пять лет служу своему государю и понимаю, что делаю…

Казалось бы, случай беспрецедентный — губернатор, защищая своё служебное достоинство, становится в то же время защитником политических ссыльных. Так по воле писателя-сатирика персонажи романа разоблачают не только свою сущность, но и становятся удобными рупорами для осмеяния пороков и зла государственно-административного строя в целом.

В Ржевском-Прянике томичи легко узнавали недавно умершего губернатора И. И. Красовского, который, как и Ржевский-Пряник, безуспешно «воевал» с полицией и даже умер во время неприятно-издевательского разговора с помощником полицеймейстера.

В романе Ржевского-Пряника сменяет генерал-майор Добрецов. Он также написан почти с натуры — с А. И. Лакса, пробывшего на посту Томского губернатора менее года. Лакс дей-

ствительно был умён, образован, увлекался философией и литературой. Он — автор очерков о Прибалтийском крае, составивших вторую часть второго тома известного издания «Живописная Россия», редактором которого был П. П. Семёнов-Тянь-Шанский. Смерть Лакса в апреле 1888 г. вызвала сожаление у К. М. Станюковича и других сотрудников «Сибирской газеты». В некрологе, который, по-видимому, написал К. М. Станюкович, отмечалось, что «основной чертой А. И. Лакса было его неуклонное стремление к законности и правде»[11].

Конечно, Лакс был всего лишь «честным консерватором», как и его копия Добрецов, который, изгоняя из правительственных учреждений казнокрада Сикорского и ему подобных, делал это отнюдь не из каких-то радикальных побуждений, а потому, что это были явно не только непорядочные люди, но и просто уголовные преступники. Конечно, очистить и перестроить служебно-административный аппарат Добрецову было невозможно.

Через две недели после прибытия в Жи-

---

[11] Примечания: 11
«Сибирская газета», 1888, 3 апреля.

ганск он занёс в свой дневник:

«Работаю с утра до вечера, и чем дальше в лес — тем больше дров. Некому доверять. Взяточничество поголовное… Раскаиваюсь, что сюда приехал. При всём желании сделать добро, чувствую, что зла могу сделать сколько угодно, а добра нисколько».

Таким образом, К. М. Станюкович развеял миф о «плохих» и «хороших» губернаторах и подвёл читателя к мысли о порочности самих основ самодержавия, о необходимости коренного изменения государственного строя во всей стране.

Прототипы крупных чиновников, участвующих в романе, раскрываются довольно точно. Пятиизбянский — «хитрый старый вор», которого так недолюбливал Ржевский-Пряник, — это «копия» управляющего казённой палатой М. А. Гилярова, ярого консерватора. Некоторое время он был цензором «Сибирской газеты».

В Аркадии Аркадиевиче Перемётном автор очень «похоже» показал вице-губернатора Н. Н. Петухова, который, как и Перемётный, «слыл за очень ловкого сибиряка», умевшего ладить с начальством и водить его за нос. Томск, — писал

А. П. Чехов, — знаменит тем, что здесь «мрут губернаторы». Действительно, Н. Н. Петухов был «заступающим» у четырёх губернаторов. Двух из них он похоронил, и ему фактически пришлось управлять губернией более десяти лет.

В Сикорском томичи легко угадывали провороваешегося московского банковского дельца П. М. Полянского, под началом которого начинал служебную карьеру томский губернатор Красовский. Адвокат Жирков рекомендовал обычно себя случайной жертвой «печального недоразумения и собственной опрометчивости». Всё его преступление якобы состояло в том, что он только «задержал» несколько тысяч, данных ему клиентами для взноса судебных пошлин. Этот адвокат имел опыт и в газетном деле. Томичам не трудно было узнать в Жиркове Е. Корша.

Писатель, создавая эти образы, страховал роман от придирок цензуры и кляуз очень ясных прототипов. Он оставил, например, в Сикорском его банкокрадство, то есть основной признак Полянского, и приписал ему организацию газеты «Сибирский гражданин», то есть «Сибирского вестника». Между тем действительным организатором этой рептилии был Е. Корш.

Любопытно свидетельство безымянного ре-

цензента в петербургском журнале «Северный вестник». Говоря о главе романа «Короли в изгнании», он заявляет, что «...г. Станюкович изображает с строгою правдивостью, не клевещет на выводимых им лиц и старается представить их по возможности фотографически... порой под выводимым лицом довольно прозрачно виден оригинал, с которого оно списано».

У читателя романа «В места не столь отдалённые» невольно возникает вопрос, как автору удалось провести роман-памфлет через цензурные препоны. Неужели цензура была так слепа?

К. М. Станюкович, опытнейший борец с цензурой, разумеется, заранее оснастил произведение своеобразными громоотводами, которые своевременно «заземляли» цензорские молнии. Он упорно подчёркивал, что действие в романе происходит «во времена стародавние». Наиболее острые разоблачительные сцены он строил так, что критика шла от лиц высокопоставленных. Кто изобличал в преступлениях заседателя Прощалыжникова? Губернатор Ржевский-Пряник. Кто всячески винил во всех смертных грехах полицию? Губернаторы Ржевский-Пряник и Добрецов. Кто признаётся в «благородном» взяточничестве? Сам пристав Спасский.

Такой литературный приём позволял автору критиковать и губернатора, и других лиц, власть имеющих, и притом не давать повода для разгула красного цензорского карандаша.

Но главнейшим громоотводом от цензуры была сама жизнь, та горькая действительность, которую правдиво, с большим художественным мастерством воспроизводил автор. В романе не было ничего принципиально нового, чего бы читатель (в том числе и цензор) не видел, не знал. Взяточничество, казнокрадство, связь полиции с уголовным миром, бюрократизм и другие язвы времён царского самодержавия и произвола, которые показаны в произведении, — всё это в жизни выглядело значительно страшнее и подлее.

Когда книгоиздатель А. А. Карцев в 1896–1898 годах предпринял выпуск первого двенадцатитомного собрания сочинений К. М. Станюковича, цензура задержала выпуск в свет IX тома, в который входил роман «В места не столь отдалённые». Начальник московского цензурного комитета отмечал, что:

> «…автор изображает в мрачных красках положение в Сибири, в коей губер-

натор управляет делами при помощи сосланных туда разного рода дельцов и протежирующей им жены своей».

Однако Главное управление по делам печати признало опасения московской цензуры неосновательными:

«Всё это так обыкновенно, обо всём этом и ещё о гораздо большем так часто пишется».

IX том вышел в свет, но всё издание собрания сочинений К. М. Станюковича было запрещено «к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях».

Это издание сочинений было первым и единственным, осуществлённым при жизни писателя. Вторично роман «В места не столь отдалённые» вышел в Полном собрании сочинений К. М. Станюковича, изданном А. Ф. Марксом в 1906–1907 годах.

24 апреля 1888 года истёк срок трёхлетней ссылки К. М. Станюковича. 6 июня томский полицмейстер объявил, что «ему воспрещается жить в обеих столицах и в Санкт-Петербургской губернии», а 27 июня писатель со всем семей-

ством выехал из Томска на пароходе.

К. М. Станюкович в условиях ссылки оставался последователем своих великих учителей — Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Салтыкова-Щедрина. Увлечение творчеством великого русского сатирика проявилось у него ещё в юности. Одна из первых статей молодого моряка Станюковича, опубликованная в 1862 году в «Морском сборнике», была навеяна творчеством М. Е. Салтыкова-Щедрина, которого он называл «великим пророком русской литературы». Это подчёркивалось даже заголовком статьи: «Мысли по поводу глуповцев г. Щедрина».

Сатира Станюковича, разумеется, уступала сатире Щедрина, но, как справедливо отмечает один из исследователей:

> «К. М. Станюковича-сатирика, без натяжек и преувеличений, вполне можно поставить вслед за этим гениальным писателем»[12].

А. Пугачёв

---

[12] Примечания: 12

В. Петрушков. К. М. Станюкович. Душанбе, 1960. стр. 117.

Константин Станюкович
В места не столь отдалённые[13]

[13] Примечания: 13

Роман в основном печатается по девятому тому собрания сочинений К. М. Станюковича, изданного А. А. Карцевым. Некоторые сокращения, вызванные цензурными условиями, восстановлены. Всё, включённое в квадратные скобки, взято из текста романа, печатавшегося в «Сибирской газете».

В места не столь отдалённые

I
Приговор

— Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово.

Молодой человек с бледным, истомлённым лицом тихо, как бы недоумевая, к чему его беспокоят, поднялся с места и несколько мгновений стоял в нерешительности.

— Подсудимый! Быть может, вы пожелаете уяснить суду мотивы, заставившие вас стрелять в жену? — повторил председатель.

Публика, наполнявшая залу петербургского окружного суда, встрепенулась и притихла. Все насторожили уши и с жадным сочувственным любопытством глядели на этого худощавого, красивого молодого брюнета с курчавыми волосами, надеясь услыхать интересные, пикантные подробности семейной драмы и удовлетворить наконец любопытство, до сих пор далеко не удовлетворённое.

В самом деле, люди стремились в залу суда, словно на первое театральное представление, в полной уверенности, что дело о покушении

мужа на жизнь жены возбудит притупленные петербургские нервы, и вместо этого — полное разочарование!

К крайнему неудовольствию всех этих собравшихся зрителей, преимущественно дам, наполнявших места для публики, ни судебное следствие, ни речи прокурора и защитника не давали никаких разоблачений семейной драмы. А казалось — тут ли не быть семейной драме?

Значительная разница лет жены и мужа, её богатство и более чем скромная наружность рядом с молодостью и красотой подсудимого давали пищу к различным предположениям, обещая, во всяком случае, много интересного и возбуждающего. Но немногочисленные свидетели, вызванные сторонами, давали крайне сдержанные показания и на вопросы прокурора о семейных отношениях супругов отвечали, что они «жили, кажется, согласно».

И сама потерпевшая, на показания которой более всего рассчитывали, вместо того чтобы хоть одним словом обвинить мужа, к крайнему изумлению прокурора и всей публики, взволнованным голосом, со слезами на глазах, проговорила восторженный панегирик мужу, во время которого он ещё ниже опускал голову

и нервно теребил свою шелковистую бороду. Поступок его она объяснила запальчивостью, ею же самой вызванной.

На вопрос прокурора, чем именно она вызвала запальчивость, свидетельница отвечала, что между ними произошёл спор, доведший до ссоры и вызвавший вспыльчивого мужа на опрометчивый поступок.

Эти слова, видно, не удовлетворили ретивого прокурора, и он заметил:

— Одна свидетельница показывала, что вы иногда делали сцены ревности вашему мужу… Что вы на это скажете?

— Мой муж не подавал к этому повода! — чуть слышно прошептала потерпевшая, вся вспыхнув.

— Затем есть ещё одно показание, будто подсудимый женился на вас по расчёту!

Она побледнела и на мгновение опустила голову, эта высокая, худая, некрасивая, старообразная женщина, под тяжестью обиды, брошенной ей публично. Но тотчас же гордо выпрямилась и резко бросила в ответ:

— Об этом, господин прокурор, женщину не спрашивают!

Краснощёкий, пухленький, похожий на херу-

вима молодой товарищ прокурора, ещё недавно сошедший со школьной скамьи и, видимо, старавшийся отличиться усердием, совсем сконфузился от этой неожиданной вспышки женского оскорблённого самолюбия и благоразумно прекратил допрос.

Таким образом, на судебном следствии ничего не открылось нового. Факт покушения, который никто и не отрицал, оставался фактом, ничего не объясняющим. Хотя юнец-прокурор и старался в своей обвинительной речи на основании этого факта нарисовать яркую картину семейной драмы, вызванной страстью, с одной стороны, и холодным расчётом — с другой, и, не жалея мрачных красок и пафоса, вовсе не по-херувимски расписывал подсудимого, копаясь своими пухлыми руками в тайниках чужой души, тем не менее, его старательная, полная воодушевления речь особенного впечатления не произвела и обстоятельств не выяснила.

После речи, как и прежде, чувствовалось, что во всём этом деле есть что-то невыясненное, недоговорённое.

Вот почему все так жадно ждали, что скажет подсудимый в своём последнем слове.

Не осветит ли он для своей защиты этой семей-

ной драмы?

Но и это ожидание не сбылось.

Подсудимый твёрдым, звучным голосом произнёс, обращаясь к председателю:

— Я не имею ничего сказать суду!

И снова сел, и снова стал глядеть в места для публики пристальным упорным взглядом, словно бы там был кто-то, в ком одном он искал утешения, поддержки и прощения.

Председатель суда едва заметно пожал плечами, и в публике пронёсся сдержанный ропот недовольства. В этот момент «интересный красавец», восхищавший многих дам, потерял в их глазах значительную долю сочувствия.

«Ещё бы! Зачем он молчит? Зачем он не выворачивает своей души перед этой скучающей публикой, чтобы доставить ей удовольствие?»

Заседание прервано — суд удалился. Дамы ещё оставались на своих местах, не спуская взоров с подсудимого, — теперь его можно лучше разглядеть. Но вот он поднялся и ушёл в сопровождении жандармов.

— Бедный… Как он хорош! — раздавались громкие восклицания вслед.

Публика хлынула в коридоры. Многие собирались уезжать. Не стоит дожидаться приговора

— неинтересно. Да и приезжать-то не стоило… Вероятно, оправдают или, во всяком случае, дадут снисхождение.

— Наверное, тут скрывается какая-нибудь любовная история! — говорит одна из так называемых судебных дам, не пропускающая ни одного сколько-нибудь интересного процесса, подкрашенная пикантная брюнетка. — И, быть может, здесь же, в публике, сидела виновница этого выстрела!..

Все поглядывают вокруг, стараясь угадать эту счастливицу.

— Я слышала, — продолжает пикантная брюнетка, — что жена таки порядочно его ревновала…

— Ещё бы… Дурна, как смертный грех…

— А он красив, как ангел! — смеются барыни. — Немудрено, что тут была драма… Он женился, конечно, ради состояния…

— Сам и виноват — не женись по расчёту.

— А что же делать, mesdames, если у человека долги и кредиторы травят? — смеясь вставляет, подходя к группе, молодой присяжный поверенный из начинающих, сухопарый, длинный молодой человек с претензией на изящество и на уменье очаровывать дам. — При таких об-

стоятельствах дела, милостивые государыни, женишься и на ведьме. Не он первый, не он последний.

— Как вам не стыдно так говорить, мосье Капчинский! — замечает, загораясь негодованием и кокетливо поводя на адвоката глазами, довольно зрелая петербургская барышня. — Брак по расчёту! Вот вам и результаты таких взглядов! Стыдно, стыдно… За это вас следует за ушко! — продолжает она, делая соответствующий жест, чтобы показать свою маленькую, изящную ручку с обточенными ногтями.

— Вольно ж ему было стрелять в благоверную. Гораздо проще было бы удрать от супруги после медового месяца и уплаты долгов.

— Не врите… Лучше объясните нам, что побудило его стрелять?

— Об этом спросите, mesdames, у подсудимого. С своей стороны я полагаю, что она так замучила его своей любовью, что он, бедняга, в отчаянии решился пристрелить благоверную, и теперь, вероятно, сожалеет, что дал промах.

— Вы всё шутите. В самом деле, ничего не известно?

— Решительно ничего. Ходят слухи, что муж был влюблён.

— Ну разумеется. В кого?

— Ей-богу, и сам не знаю. Могу только удостоверить, что не в жену!

— Отчего ж это не выяснено на суде? Отчего жена молчит?

— Вероятно, был уговор между супругами.

— Его, конечно, оправдают. Речь херувима слаба. Как он ни старался, а дальше запальчивости не пошёл. Скорей присяжные станут на точку зрения защитника — невменяемость в минуту умоисступления.

— Не думаю, mesdames. Подбор присяжных не такой — купцов много, а эти господа не любят выстрелов. Оттаскать за косы — это любезное дело, а стрелять — не по них. Пожалуй, упекут.

— Что ж ему грозит? «Житьё»? — спрашивает пикантная брюнетка, употребляя сокращённый термин и, видимо, щеголяя знанием его.

— Да, вероятно, «житьё», по пятому пункту[14].

— Несчастный! Из Петербурга ехать в Сибирь!

— Но хуже всего, mesdames, — продолжал шутить адвокат, рисуясь перед дамами своим

---

[14] Примечания: 14

— *Да, вероятно, «житьё» по пятому пункту.* — Ссылка только для лиц привилегированных сословий. Подобные ссыльные не лишались «прав состояния». Заключение в исправительные арестантские дома заменялось ссылкой в Сибирь — на житьё без особых ограничений в занятиях (торговля, служба).

шутливым тоном, — если благоверная последует за своим супругом в места не столь отдалённые. Вы ведь слышали, как она распиналась за своего голубка, и заметили, как он ёжился в это время. Я отлично видел. Она, наверное, последует с добрым намерением облегчить ему жизнь в ссылке и не остаться без мужа, и, уж поверьте, что там он, наверно, пристрелит эту…

— Тс… тс!.. — остановили весёлого адвоката дамы, делая ему знаки и дёргая за руку.

Он повернул голову и прикусил язык. Мимо, совсем близко от них проходила, понурив голову, маленькая, худенькая, сгорбленная старушка, вся в чёрном, под руку с женой подсудимого.

До слуха их, очевидно, долетели и эти безжалостные слова, и этот беспечный, весёлый дамский смех. Из глаз старушки брызнули слёзы; её спутница бросила на весёлую группу быстрый злобный взгляд, полный укора и презрения, и обе они прибавили шагу, проходя, точно сквозь строй, мимо этой легкомысленной, не стеснявшейся глазеть на них публики.

— Должно быть… суровая дама! — прошептал вслед сконфуженный адвокат, хотел было продолжать свою весёлую болтовню, но что-то остановило его.

И всем вдруг сделалось точно стыдно при виде этих двух женщин. Разговор сам собою прекратился.

— Это мать подсудимого! — заметил кто-то в толпе.

— Кто она?

— Какая-то генеральша из захудалых.

Коридоры опустели. Опять все хлынули в залу и заняли места.

Ввели подсудимого, пришёл суд, и после краткого, видимо, снисходительного резюме, председатель вручил присяжным лист. Присяжные удалились, и снова перерыв.

На этот раз не пришлось ждать долго.

Не прошло и четверти часа, как снова вернулся суд, и из боковой двери торжественным, медленным шагом выступили гуськом присяжные. «Что несут они — оправдание или приговор?» — невольно пробегала мысль у всякого, и в зале водворилась торжественная тишина. Взгляды отрывались от старшины присяжных к подсудимому. Высокий, седой старик, по-видимому, из чиновников, был несколько взволнован и как-то особенно торжествен. Подсудимый, взглянув на него, казалось, понял по этому торжественному виду, что он осуждён, и снова повернул голову

к публике, взглядывая по временам в полумрак низкой трибуны всё тем же пристальным, напряжённым взором и не обращая, казалось, внимания на то, что сию минуту решится его участь.

И вот этот высокий седой старик прочёл дрожащим, несколько взволнованным голосом:

— Да, виновен, но заслуживает снисхождения!

И, вручив председателю присяжный лист, отходит в сторону, избегая глядеть на подсудимого.

Рыдание и резкий женский вопль раздались в публике, и затем всё смолкло.

Через несколько минут был объявлен приговор: ссылка в** губернию на житьё.

Подсудимый спокойно выслушал приговор, пожал руку адвокату, шепнул ему что-то на ухо, указывая на публику, и медленно вышел.

Публика, не удовлетворённая процессом и не довольная приговором, торопливо стала расходиться.

В числе других из дверей суда вышла молодая женщина, невольно обращавшая на себя внимание грустным выражением своего строгого, энергического лица. Она была довольно хороша, эта стройная, хорошо сложённая смуглая брюнетка с большими синими глазами, высоким лбом и

красивым чуть-чуть приподнятым носом, одетая очень скромно, но не без изящества.

Она вышла на двор и, держась в стороне от толпы, пошла кругом к выходу, как вдруг с ней поравнялась жена обвинённого, взглянула на неё, и лицо её исказилось злобой и ненавистью.

— И вы были здесь, вы! — вдруг заговорила жена, схватывая её за руку. — Так знайте же, что это вы его погубили… вы!

Страдание и ужас выразились на лице брюнетки при этих словах. Бледная, испуганная, она в первую минуту не могла произнести слова.

— Я жена его… понимаете? — шепнула она, наклоняясь к ней, и с этими словами быстро двинулась вперёд.

По счастию, в это время к брюнетке подошёл защитник обвинённого, взял её под руку и провёл до извозчика.

Усадив её, он почтительно снял шляпу и проговорил:

— Невежин умоляет вас, Зинаида Николаевна, побывать у него. Он хотел было писать вам, но вы знаете — письма идут через прокурора…

Чуть заметное судорожное движение зардевшихся щёк обнаружило волнение Зинаиды Николаевны при этих словах.

— Зачем? Что ему надо? — проговорила она.

— Не откажите ему в этом. Он более несчастен, чем вы думаете.

— Хорошо! — проговорила она с усилием. — Я буду…

И она уехала, недоумевающая, глубоко взволнованная этим незаслуженным обвинением несчастной жены.

II
Камера № 198

Начинало смеркаться, когда Невежин вернулся с судебного заседания «домой», — в тюрьму на Шпалерной, известную под более деликатными названиями Дома предварительного заключения, «предварилки» и «Европейской гостиницы». Последними прозвищами окрестили его на своём жаргоне заключённые.

Войдя со двора в высокие железные входные двери, часовые с ружьями, конвоировавшие Невежина, остались на главном посту, у канцелярии, в ожидании расписки в приёме арестанта; дежурный помощник, низенький, приземистый господин, известный в Доме за свою суетливость и глупость под именем «бестолкового помощника», выйдя на порог канцелярии, проводил Невежина тупым, равнодушным взглядом старой тюремной крысы, и Невежин пошёл далее хорошо знакомой ему дорогой в сопровождении одного из младших надзирателей, дежуривших на главном посту для посылок.

Перед ними ещё раз открылись такие же, как

и у входа, тяжёлые решётчатые железные двери. Они вошли в коридор, повернули налево и стали подыматься по железным лестницам, соединяющим этажи громадного здания, наверх, в «четвёртую галерею», как называются на тюремном языке камеры, расположенные в четвёртом этаже.

В матовые стёкла высоких широких окон, выходящих на улицу, падал слабый свет сумерек. В галереях стоял полумрак. Мёртвая, жуткая тишина царила в это время дня в этом громадном «доме» с его висячими железными лестницами и длинными коридорами, по бокам которых темнели углубления одиночных камер. Гулко раздавались шаги по железным ступеням и замирали, когда приходилось идти по пеньковым матам, разостланным в коридорах. Среди этой тишины иногда только слышались характерные звуки тюремного постукивания, да вдруг раздавался электрический звонок. И снова могильная тишина.

Никто не попадался навстречу, как случалось по утрам, когда заключённые ходят на прогулку, на допросы. Только младшие надзиратели бесшумно ходят, усталые, ожидая смены, взад и вперёд по коридорам, а старшие сидят у столиков,

на своих местах, в углах каждой галереи, откуда можно удобно оглядывать длинные коридоры.

Вот наконец и четвёртая галерея.

Высокая, худощавая, хорошо знакомая Невежину фигура старшего надзирателя Осипова, доброго, вежливого и обходительного, насколько может быть тюремщик, умевший ладить с заключёнными, поднялась с места и молча пошла за Невежиным. За несколько шагов до камеры Осипов, по обыкновению, обогнал своего «квартиранта», чтоб не заставить его ждать, и камера отворилась с характерным щёлканием и стуком повёртываемых ключа и задвижки, и Невежин вошёл в свою камеру № 198, в которой уже прожил около семи месяцев и сжился с ней, радуясь всегда возвращению после допросов.

— Кипяточку не угодно ли? — мягко осведомился, останавливаясь у дверей, Осипов, очевидно, желая этим вопросом выразить участие своему спокойному и тихому «квартиранту», и в то же время любопытствуя узнать, чем кончилось дело. Он понял, что Невежина не оправдали, но к чему присудили?

Этот Осипов, прослуживший уже около десяти лет в «доме» и успевший нажить себе чахотку, всегда интересовался делами жильцов своей

галереи. До других ему дела не было, но «дела» своих он близко принимал к сердцу, и если заключённый был словоохотлив, то Осипов всегда находил для такого слово участия и ласки, щеголяя при этом деликатностью обращения, особенно с заключёнными из образованных.

— Кипяток можно из лазарета достать… — продолжал он, всматриваясь в Невежина.

— Не надо. Благодарю вас.

— Долгонько в суде пробыли.

— Да.

— И скоро отсюда на волю?

— Скоро. В Сибирь на волю! — усмехнулся Невежин, зажигая свечку. — Ссылка на житьё.

На добродушном, болезненном лице Осипова с таким же землистым цветом, как и у большинства заключённых, мелькнуло выражение непритворного участия.

— А вы бы, право, чайку выпили! — вдруг снова предложил он. — А то, чай, проголодались с утра… Или, быть может, вилку и ножик подать… кушать будете?.. А что насчёт приговора, так ведь можно и на кассацию… Ещё что кассация скажет! — с оживлением, видимо, желая подбодрить, продолжал Осипов. — От этого нечего смущаться… ей-богу…

— Да я не смущаюсь…

«Ладно, хорохорься! Видели мы и не таких храбрецов», — казалось, говорил брошенный вслед за этими словами недоверчивый взгляд надзирателя, и он продолжал:

— Вот, например, тоже на нашей же галерее, в сто восьмидесятом номере, один господин сидел… Так сперва приговорили его на поселение, а после — смотришь! — и вовсе на волю вышел… Недавно ещё его встретил на улице — катит себе в коляске, весёлый, румяный такой… Всяко бывает… А то вот опять же «наш» один… думал, дело его кончится Восточной Сибирью, а заместо того уехал на Кавказ. Три года сидел у нас… Так-то! Так кушать не будете?

— Нет… Спасибо вам, Осипов! — тепло проговорил Невежин.

Снова щёлкнули двери, и Невежин остался один.

Он заходил быстрыми, нервными шагами взад и вперёд по крошечной камере, словно зверь в клетке, и его красивое лицо по временам оживлялось теперь тихой, грустной улыбкой.

«И отлично… отлично! По крайней мере, всё кончено… известно… Наказание за всю глупую жизнь… Только бы скорей, скорей отсюда!»

— повторял он несколько раз вслух обрывки волнующих его мыслей, машинально обводя взором свою камеру.

Эта маленькая клетка с койкой, железным крошечным столиком и откидной табуреткой, с высоким окном, откуда виднелся кусочек неба и куда по утрам слетались голуби, показалась ему теперь такой же отвратительной, как и в первые дни, когда он ещё не привык к ней и не устроил в ней возможного уюта и комфорта. Потом он сжился со своей клеткой настолько, что, возвращаясь с допросов, чувствовал даже некоторое удовольствие, какое испытывают люди, возвращаясь не в тюрьму, а домой.

Он принарядил в то время свою камеру и заботился о чистоте в ней, первый раз в жизни принуждённый лично заботиться о себе. Сперва это его тешило, потом он привык и ради моциона натирал асфальтовый пол до усталости. И камера его была настоящей игрушкой, хоть частью напоминавшей избалованному барину прежнюю обстановку. Мягкий тюфяк, чистое бельё, тёплое одеяло, пушистый коврик у ног и ковёр во всю камеру, безделки на крошечном столике, прикреплённом к стене, иногда букеты цветов, красивая посуда на полках, изящный сундук с

платьем и бельём в углу — всё это, доставленное матерью, скрашивало до некоторой степени суровость тюремной обстановки.

Но теперь ему всё это казалось противным.

«Скорей на волю… на волю!» — шептал он, и перед его глазами носились заманчивые картины… Он увидит наконец лес, поля, улицы… Он надышится воздухом, он будет свободно гулять…

Сбоку послышался стук. Это сосед — не уголовный, — с которым Невежин познакомился, не видя никогда его, хочет говорить.

Невежин подошёл к стене.

— Как дела? — выстукивал дробью сосед.

— Ссылка на житьё…

— Верно, встретимся… Мне тоже Западная Сибирь.

После паузы опять вопрос:

— Что делаете?

— Хожу, а вы?

— Читаю…

И Невежин снова заходил…

«Придёт ли она? — вдруг проговорил он вслух. — Она добра — она придёт», — утешал он себя, мечтая об этом свидании. Наконец, усталый от ходьбы, от пережитых сегодня волнений, он затушил свечку и бросился на койку.

Но спать он не мог. Мысли о прошлом — тяжёлом, скверном прошлом — назойливо лезли в голову. На пороге новой жизни он подводил итоги старой.

III
Один из «порядочных» молодых людей

Итоги воспоминаний неутешительные. Жизнь была позорная, которую нельзя было вспомнить без жгучего стыда человеку, сознающему в минуты просветления весь её ужас.

А между тем в жизни Невежина не было ничего ужасного с точки зрения обычной светской морали. Он жил, как все живут, потому именно и жил, что так живут «все», то есть те, кому с детства он привык подражать, считая именно эту жизнь идеалом человеческого счастья.

Его история была самая обыкновенная страничка из жизни той среды порядочных молодых людей, которая, глядя по счастливой случайности, готовит и будущих столпов отечества, и бубновых тузов, и червонных валетов[15].

---

[15] Примечания: 15

…бубновых тузов и червонных валетов. — Бубновый туз — каторжник. В старину осуждённым на каторгу нашивали на спину красный или жёлтый четырёхугольный лоскут для лучшего прицеливания в случае побега. Источником выражения *«червонный валет»* является роман французского писателя Понсон дю Террайля «Клуб червонных валетов» (1858) о шайке уголовных преступников.

Выпадет удачная карта — положение и почёт, неудачная — объятия прокурора, иногда того же самого товарища, с которым ещё накануне провели вечер с модной кокоткой и который поступил бы не лучше и не хуже своего приятеля, если б был поставлен в такое же положение. Тираж тут зависит не столько от убеждений, не столько от нравственных запросов, сколько от внешних обстоятельств, связей, состояния, удачи.

Невежин вырос в небогатой дворянской семье, считавшей, однако, свою родословную чуть ли не от Рюрика. Особенно этим гордилась мать, урождённая княжна из захудалого рода, бывшая смолянка[16]. Она любила геральдические беседы и часто с восторженным умилением рассказывала свой любимый анекдот об отдалённом предке, генерал-аншефе князе Холмском, который однажды удостоился получить две собственноручные всемилостивейшие оплеушины от супруги Петра Первого, которые впоследствии осчастливили получателя.

Был ли действительно такой анекдот с её предком, или она почерпнула его из «Русской старины» и для возвеличения блеска своих предков

---

[16] Примечания: 16

Смолянка — воспитанница Смольного института, закрытого учебного заведения для дворянских дочерей в Петербурге.

приурочила его к генерал-аншефу — дело тёмное. Но она любила подобные разговоры, зачитывалась «Стариной» и «Архивом»[17], приходила в восторг от газетных описаний торжественных балов и празднеств, всю жизнь промечтала о них, никогда на них не бывавши, и считала себя в глубине души глубоко несчастной, что жила в провинции, а не в Петербурге. Добрая, пустая, взбалмошная, до старости лет сохранившая восторженную сентиментальность институтки, она представляла собой архаическое явление в наше прозаическое время и нередко, особенно вначале, выводила из терпения мужа своими беседами и сетованиями. Потом он окончательно махнул на неё рукой, решив, что жена его неисправимая дура.

Отец Невежина был неглупый, незлой человек, непризнанный военный гений, которого неустанно точил червяк честолюбия. Он был из типа учёных генералов, написал какую-то книгу о тактических применениях, рассчитывая на блестящую карьеру, но его тактических соображений нигде не применяли, и он слегка фрондировал и

[17] Примечания: 17

…зачитывалась «Стариной» и «Архивом»… — «Русская старина» и «Русский архив» — исторические журналы, в которых печатались воспоминания, письма, документы и т. п.

страдал разлитием желчи, считая себя обойдённым. Он не интриговал, не заискивал, но зато с большим рвением снабжал «Военный сборник» своими литературными произведениями[18], но и это его не выдвинуло, и вместо блестящей карьеры Суворова или Скобелева на долю его выпала слишком заурядная карьера для честолюбивого офицера генерального штаба. В пятьдесят с хвостиком лет он изнывал в командовании армейской бригадой. Бригада его была образцовая, но фонды на карьеру не повышались.

Он любил своего Женечку, своего единственного сына, хотя, вечно занятый или службой, или кабинетными занятиями, мало обращал на него внимания. И Женечка рос, балованный и изнеженный, в атмосфере институтских восторгов матери, мечтавшей, глядя на сына, о своём мифическом генерал-аншефе, о ка ком-нибудь посланнике или о чём-нибудь в подобном роде. Будущего посланника рядили, лелеяли, выписали для него парижанку. И в тринадцать лет Женечка был хорошенький бойкий мальчишка, отлично болтавший по-французски, хуже по-английски и

[18] Примечания: 18

…снабжал «Военный сборник» своими литературными произведениями… — «Военный сборник» — журнал, издававшийся с 1858 по 1917 годы.

кое-как по-немецки, что приводило в отчаяние губернаторшу, у которой сын — Женечкин сверстник и приятель — далеко не отличался ни такими манерами, ни таким шикарным выговором.

Пора было отдавать мальчика в учебное заведение. Об этом были большие дебаты у отца с матерью, в которых приняла участие и губернаторша, как ближайшая приятельница генеральши и тоже мать, озабоченная устройством карьеры своего сына. Наконец решили отдать в лицей. По крайней мере, карьера обеспечена. Женечка будет посланником, а вислоухий Васенька, губернаторский сынок, не отличавшийся представительностью, необходимой для посланника, но зато обладавший, по мнению родителей, необыкновенной проницательностью и чувством справедливости, будет министром юстиции. Он поступит в школу правоведения.

Однако, когда оба молодые люди кончили курс, и тому и другому родители прислали на обзаведение слишком незначительную сумму, которой едва хватило, чтобы покрыть долги и прилично одеться, и будущий посланник и будущий министр юстиции препроводили домой соответствующие их будущим профессиям эпистолы. Первый — в форме дипломатической,

недурно составленной «ноты», а второй — в форме обвинительного акта, требовали присылки денег, денег и денег и потом, разумеется, и родительского благословения, чем рассердили отцов, уже успевших к тому времени остаться совсем за штатом, и привели в восторг матерей.

Дальше… Дальше для молодого Невежина шёл какой-то непрерывный праздник. Два-три часа бездельничания в канцелярии, кутежи в модных ресторанах, первые представления, parties carrées[19] с кокотками, светские знакомства с лёгкими ухаживаниями за скучающими барынями, балы, рауты — словом, вся та угарная, бесцельная жизнь, которая даже и не давала наслаждения, а только щекотала тщеславие… Молодого Невежина ласкали в обществе, его любили, он был неглуп, красив как бог… казалось, как тут не преуспеть? Но вся эта суета требовала денег, а из дому высылалось мало, несмотря на такую настойчивость дипломатических нот, которой позавидовали бы настоящие дипломаты.

Приятель Невежина, сделавшийся из вислоухого Васеньки основательным, хотя и не особенно привлекательным молодым человеком с упорно

---

[19] Примечания: 19
Развлечения вчетвером (*франц.*).

торчащими ушами, давно уж приговорил своего фатера[20] на полное забвение за то, что бывший губернатор не сумел даже при отставке выговорить себе сохранения содержания, а удалился с мундиром по положению и двумя тысячами под смоковницу в какие-то мирные трущобистые палестины вспоминать, с копеечной сигарой в зубах, блаженные времена, когда и он был «аркадским принцем», курил двадцатипятирублёвые «регалии»[21], наводил трепет на исправников и пощипывал подбородки молодых базарных торговок во время утренних экскурсий, совершаемых в видах наблюдений за чистотой города и популярности.

Приговорив своего «выжившего из ума» старика, а кстати и мать, успевшую отдать своему любимцу последние крохи, «будущий министр» уехал в провинцию судебным следователем, убедив перед отъездом портного, сапожника и ещё двух кредиторов получить четвёртую часть долга и таким образом покончить счёты. Он занялся усердно службой, втайне злобствуя, что живёт в захолустье, и завидуя Невежину, который между

---

[20] Примечания: 20
Отец (от *нем. der Vater*).

[21] Примечания: 21
Сорт дорогих сигар.

тем, по-прежнему прожигая жизнь с беспечностью русского барчонка и азартом зарвавшегося игрока, не задумывался о будущем.

Когда петля всё более и более затягивалась и наконец затянулась совсем, перед ним предстала дилемма: или пуля в лоб, или женитьба на богатой. Другого исхода он не понимал.

Он предпочёл поступить так, как поступают тысячи людей в его положении, то есть жениться, решившись на этот шаг с такой же легкомысленной бравадой, с какой решился бы, пожалуй, и покончить с собой.

Подвернулась богатая невеста. Невежин стал за ней ухаживать, и скоро — сделался женихом. Эта женитьба казалась тогда ему самым обыкновенным делом. «Положим, неприятно, но что ж делать? Как-нибудь всё это устроится!» — успокаивал он чувство брезгливости, невольно говорившее в молодом человеке, когда он оставался наедине со своей невестой, высокой, худой, как щепка, некрасивой девушкой, влюблённой в Невежина со всем пылом поздней страсти и неудовлетворённой жаждой чувственной натуры. Страсть, однако, не омрачила её наблюдательного, чуткого, практического ума настолько, чтобы она могла обманывать себя

иллюзией взаимности. Она не забывала, что она не красива и что ей тридцать лет, а Невежин красавец и на пять лет её моложе, и понимала, что он женится благодаря состоянию, которое она получила недавно, после смерти отца, скупого скряги, жившего долгое время с дочкой где-то за границей. Она не требовала от Невежина ни лицемерных признаний, ни обычных уверений, не натягивала струн из страха, что они могут лопнуть, но и не позволяла относиться к ней небрежно. Она скоро поняла, с кем имеет дело, знала, что покупает себе красивого мужа, как масса мужчин покупают себе красивых жён, и не колебалась ни минуты, очарованная его красотой и мягким характером, уверенная, что сумеет подчинить его слабую волю и будет держать его в мягких, но твёрдых руках.

Она аккуратно свела счёт его долгов и заплатила их. Затем она торопила со свадьбой, они повенчались и уехали за границу. Когда через год они вернулись в Петербург, Невежин заметно был подчинён её влиянию. Она исподволь, с чисто женским тактом, выполняла свою программу, изучивши слабый, податливый характер мужа. Она не стесняла его, не держала на привязи, давала ежемесячно приличную сумму карманных

денег, посоветовав, однако, не переходить бюджета, устроила ему изящное домашнее гнездо, заботилась о комфорте мужа, предупреждая его желания с деликатной заботливостью матери и страстным увлечением влюблённой женщины, боящейся потерять любовника, но зорко следила за мужем, чтоб он не увлёкся какой-нибудь женщиной серьёзно. Одна мысль об этом заставляла её трепетать от ревности. Зато на мимолётные увлечения мужа, на его ужины с кокотками, на его ухаживания за дамами полусвета она смотрела сквозь пальцы, сдерживая ревнивые чувства, лишь бы только муж не отворачивался от её ласк.

Невежин нёс своё иго покорно, но мало-помалу начинал ненавидеть жену. Иногда он с отвращением возвращался домой с какой-нибудь пирушки, запирался в своём кабинете и на заботливые вопросы жены говорил, что болен. Он начинал сознавать, что эта золотая клетка куплена слишком дорогой ценой. Ему многие завидовали, но никто не знал, какую испытывал он по временам пытку. Он иногда кутил по нескольку дней сряду, стараясь забыться, зная, что в конце концов он должен будет вернуться домой и видеть эту любящую, внимательную

и отвратительную жену, которая не только не скажет ни слова упрёка в ответ на его капризные вспышки, но ещё попросит прощения и бросится в его объятия. А вырваться, бежать из этой адской жизни нет ни сил, да нет и особенного желания. Пройдут эти вспышки, и снова Невежин покорно исполняет роль Артюра у своей жены[22]. Чтобы отвлечь мужа от праздной жизни, она пробовала задеть его честолюбие, советовала ему заняться службой, но Невежин не был честолюбив и предпочитал бить баклуши, посещая канцелярию раз или два в неделю. Тогда она предложила ему путешествовать, но и от этого он отказался.

Прошёл другой год, как вдруг с Невежиным произошла перемена.

Он стал менее кутить, реже бывал в театрах и клубе, чаще брал в руки книгу и подолгу сидел за ней в своём кабинете. Он был по-прежнему холоден к жене, избегал, видимо, её общества, и однажды, когда она явилась к нему в пеньюаре и бросилась на шею со слезами, спрашивая, что это значит, — он с такой нескрываемой ненавистью взглянул на жену, что сердце её замерло от ожидания какой-то надвинувшейся грозы,

---

[22] Примечания: 22

…исполняет роль Артюра у своей жены. — Артюр — нарицательное имя, обозначающее мужчину, живущего на счёт женщины.

и она покорно ушла, всю ночь не смыкая глаз, волнуемая подозрениями, что муж, которого она так берегла, серьёзно увлёкся.

Сердце её забило тревогу, и она стала следить за мужем с ревнивой подозрительностью.

А гроза надвигалась всё ближе и ближе.

IV
Неожиданное открытие

Между тем подоспело лето. Петербург собирался на дачи.

Людмила Андреевна Невежина, по-прежнему не догадывавшаяся, откуда грозит беда, но смутно чувствовавшая, что беда где-то близко, решила увезти мужа из Петербурга.

И вот как-то утром, когда они сидели молча вдвоём в уютной столовой за кофе, Людмила Андреевна, бледная и измождённая от затаённых тревог и волнений, по обыкновению одетая в какой-то необыкновенно пышный пеньюар, скрадывающий худобу её тела, с крошечным кружевным чепцом на жидких светло-русых волосах, тщательно причёсанных, вымытая и надушенная, с кучей блестящих колец на длинных цепких пальцах красивых, но чересчур костлявых рук, дипломатически осторожно предложила мужу вместо дачи «уехать куда-нибудь подальше».

Невежин как-то вдруг встрепенулся и, отложив газету, стал внимательно слушать.

— Поедем в Крым или на Кавказ, если не хочешь

ехать за границу… Там, говорят, так хорошо, а здесь на дачах везде так скверно… Не правда ли?

Но муж решительно был против. Он вдруг припомнил первый год путешествия, вечно глаз на глаз с этой назойливой, влюблённой женой, и с него было слишком довольно!

«Заграница» ему опротивела… Ни Крым, ни Кавказ его не прельщают. И главное… главное, ему «нельзя ехать!» — совсем неожиданно прибавил Невежин.

— Нельзя ехать! — переспросила жена чуть дрогнувшим голосом, поднимая на мужа удивлённые глаза и пересиливая охвативший её страх.

— Ну да, нельзя… Что тебя так удивляет?

— Я не удивляюсь… Ты раньше ничего не говорил…

— Я и сам узнал только на днях… Мне дали серьёзное поручение в канцелярии, и я должен всё лето работать!.. — проговорил он с какой-то суетливой горячностью.

«Он — работать? Правду он говорит или лжёт?»

Она бросила быстрый пытливый взгляд на это свежее, румяное молодое лицо, полное жизни и чарующей красоты. В этом взгляде было и пре-

зрение, и сумасшедшая страсть, и недоверие.

И этого красавца хотят отнять от неё?! Зачем же она купила его? За что она испытывает муки ревности, не смея даже показать их, за что она, как ищейка, следит за ним, за что не спит по ночам?.. Она готова простить ему всё, но только он должен принадлежать ей…

Ей показалось, будто он как-то особенно скоро отвёл глаза.

«Лжёт!» — промелькнуло в её уме, и она сказала тихим, ласковым тоном:

— Но разве нельзя отложить эту работу до осени?

— До осени? — вспылил Невежин. — Я, кажется, толком говорю, что нельзя… Мне, наконец, надоело бить баклуши.

— Ну что ж, и отлично, мы поедем на дачу, — согласилась Людмила Андреевна.

— Но послушай, однако, Людмила, — мягко заметил Невежин, — что ж тебе из-за меня оставаться? Если ты хочешь ехать куда-нибудь подальше, я могу проводить тебя и потом приехать за тобой… Быть может, твоё здоровье…

— Что ты, что ты, Евгений, — перебила Людмила Андреевна. — Я, слава богу, здорова… Спасибо за внимание! Обо мне не беспокойся… Мне везде

хорошо, когда ты бываешь немножко добр со мной, — тихо и покорно прибавила она. — Так куда ты хочешь ехать на дачу?

Она произнесла эти слова по-видимому спокойно, но в душе у неё бушевало. Она жадно ждала ответа, не спуская глаз с мужа. Не дрогнет ли его лицо? Не выдаст ли голос?

— Мне решительно всё равно куда…

— Всё равно? — обрадовалась она. — Не хочешь ли в Ораниенбаум?.. Там море, парк, не так людно… Кстати, в Ораниенбауме будут жить Засекины! — вдруг прибавила она, вспомнив, что эта хорошенькая Засекина зимой сильно кокетничала с мужем.

— Как знаешь.

«Нет, не она!» — подумала Людмила Андреевна.

— Впрочем, тебе будет далеко ездить… Лучше поедем в Павловск… Согласен?

— Куда угодно… Мне всё равно! — нетерпеливо ответил Невежин и встал из-за стола.

На другой день Людмила Андреевна проснулась в самом приятном расположении духа, сладко потягиваясь на кровати. Она была полна чудных воспоминаний… Накануне муж поздно вернулся и зашёл к ней в маленькую гостиную, где она,

грустная и одинокая, коротала вечер за книгой. Он был добр и ласков. Он так нежно спросил, почему она долго не спит, что она не выдержала: слёзы хлынули из глаз, и она порывисто обвила руками его шею, вся вздрагивая и покрывая его лицо страстными, безумными поцелуями… И он не оттолкнул её, когда она, заглядывая в его смущённое лицо, с нежной мольбой тихо увлекла его за собой…

Людмила Андреевна торопливо оделась, собираясь ехать нанимать дачу. Она вернётся к обеду и сообщит мужу о результатах. Он ведь дома будет обедать? После они поедут вместе посмотреть. Она была необыкновенно оживлена за кофе и, казалось, помолодела; глаза её с такою любовью смотрели на мужа, что Невежин невольно смущался. Наконец она уехала, обняв на прощание мужа и не заметив его нетерпеливого, страдальческого выражения лица в минуту этого долгого и нежного поцелуя.

Она нашла прехорошенькую, уютную дачу и торопилась домой, чтоб обрадовать мужа. Мысли её не были особенно мрачны. Она раздумывала об этом внезапном служебном усердии, и оно сегодня не показалось ей таким подозрительным, как вчера… Впрочем, она во всяком случае

наведёт справки.

К пяти часам она вернулась, но мужа дома не было.

— Прикажете подавать обед? — доложил лакей, когда пробило пять часов.

— Разве Евгений Алексеевич говорил, чтоб его не ждать?

— Они ничего не изволили сказать.

— Так подождите подавать, пока не вернётся Евгений Алексеевич. Он, верно, скоро будет! Да скажите повару, чтобы не передержал пирожков — барин этого не любит. Да красное вино не забудьте подогреть…

— Слушаю-с.

— Евгений Алексеевич на Арапе уехал?

— Нет-с пешком. Позавтракали и ушли.

— Без меня никого не было?

— Никого-с.

Людмила Андреевна присела в гостиной, но ей не сиделось. «Что могло задержать мужа?.. Он ведь обещал дома обедать?» Она порывисто поднялась и заходила по зале, подходя к окнам, прислушиваясь, — не подъедет ли извозчик, не дрогнет ли звонок, — взглядывая на часы.

Снова ревнивые подозрения закрадывались в сердце этой несчастной женщины.

«Зачем он последнее время не ездит на своих лошадях, а ходит пешком… Верно, боится, что кучер проболтается… И почему вдруг эта непонятная перемена — он перестал кутить, раззнакомился со многими приятелями, не играет в клубе… Лучше, если б он по-прежнему кутил, играл в карты, бывал у кокоток… По крайней мере, не забыл бы тогда и меня…»

Горькая улыбка пробежала по лицу Людмилы Андреевны.

«Вот какой ценой она должна покупать… не любовь, нет, а хоть обрывки внимания. И за что? За то только, что злая судьба подсмеялась, не наградив её красивым лицом и в то же время дав ей горячее сердце?.. И разве она в самом деле так некрасива?..»

Она подошла к зеркалу, взглянула на себя и… отвернулась, увидав это плоское, бескровное лицо с заметными морщинами на сухой желтоватой коже, этот длинный, большой, вечно краснеющий нос, неуклюже торчащий между впалых щёк, широкий рот с большими зубами, эти маленькие зелёные глазки, блестевшие из тёмных впадин резким блеском.

— И хоть бы сложена была, как другие! — со злобой прошептала она, вытирая нависшую

слезу. Чего-чего только она не делала, чтоб пополнеть, и всё напрасно! Сухая, высокая, костлявая, она давно знала, что наружность её не пленяла никого, втайне злобствовала на судьбу, завидуя красивым женщинам и, сознавая, что счастье не для неё, она в то же время мечтала о нём, рисуя самые пламенные картины любви в своей разнузданной, жадной фантазии… Когда наконец она сделалась богата, ей улыбнулось счастье, правда, купленное… потерять его теперь ещё тяжелей… Часы пробили шесть.

— Верно, он не будет! — уныло проговорила она, пошла в столовую и приказала подавать обедать.

Она едва прикасалась к блюдам, волнуемая печальными мыслями… Только бы ей узнать — кто эта женщина, осмелившаяся стать ей на дороге. Только бы узнать!.. А дальше что? А если муж бросит? — стоял роковой вопрос.

Раздался звонок, и Людмила Андреевна обрадовалась.

Но радость была поспешна.

Вместо мужа в столовой появилась плотная, низенькая фигурка господина Назарьева, при виде которой физиономия Людмилы Андреевны вытянулась снова. Эго был пожилой человек

степенного вида, с брюшком и лысиной, один из родственников Невежиной, петербургский чиновник средней руки, вечно нывший на скверные дела и вместе с другими родственниками досадовавший, что «эта уродина Людмила сделала невозможную глупость — вышла замуж и, вместо того чтобы помогать родным, растрачивает состояние, втюрившись, как кошка, в беспутного молокососа».

Таковое мнение не помешало, разумеется, господину Назарьеву приветствовать «милую Людмилу Андреевну» самым мягким нежнейшим тенорком grazioso[23] и заботливо осведомиться, не помешал ли он.

— Быть может, в театр собираетесь?.. так вы без церемоний!.. — продолжал он, ласково задерживая руку Невежиной в своей короткой пухлой руке.

— Мы никуда не собираемся…

— Так я полчасика посижу… Ну, как поживаете?.. Впрочем, и спрашивать нечего… А Евгений Алексеевич… как?.. Давно не видались… Совсем вы нас забыли… Елена давно к вам собирается, да ведь знаете… Сама кормит… не до гостей…

---

[23] Примечания: 23
Лирический (*итал.*).

— Я тоже редко выезжаю…

— Что так?.. Стыдно, право, стыдно… Молодая женщина, и сидеть взаперти… Да я на месте Евгения Алексеевича не позволил бы вам… Хе-хе-хе… Куда на дачу?

— В Павловск…

— И мы в Павловск… Надеюсь, вы тогда чаще будете видеться с Лёлей… Дóроги только дачи в Павловске это лето, а куда деться?.. В городе оставаться нельзя, сами знаете… дети… чистый воздух… А эти дачи, эти переезды… вот они где! — прибавил господин Назарьев, показывая толстым пальцем на стоячий воротничок рубашки, подпиравший толстую красную шею, и взглядывая своими зоркими глазами: какое произведёт впечатление этот жест на богатую родственницу.

Но богатая родственница только выразила сочувствие, согласившись, что все эти переезды действительно хлопотливы.

— Бедная Лёля совсем потеряла голову от забот… Вы, впрочем, счастливица, не знаете, сколько хлопот с семьёй… Васе вот нужен учитель на лето… Нюту велят поить кумысом… Просто хоть бери место в провинции… Мне предлагают место в Сибири, но ехать туда…

— А что ж… Там, говорят, дёшево жить…

«Тебя бы туда!» — не без злости подумал господин Назарьев, недаром отклонявший от себя поручение жены «позондировать почву», и прибавил:

— Придётся… но каково это будет бедной Лёле?..

Но упоминание о «бедной Лёле», толстой, жирной, смазливой бабёнке, ежегодно рожавшей детей, нисколько не смягчило сердца богатой родственницы, и она довольно круто перевела разговор на спасительную погоду, не предвидя, что господин Назарьев в качестве обозлённого родственника преподнесёт ей весьма неприятный сюрпризец.

Он поддержал разговор о погоде. «Удивительная погода! Так и тянет на воздух…» Он сам сегодня вернулся из должности раньше и пошёл в Таврический сад.

— И как вы думаете, голубушка Людмила Андреевна, — продолжал господин Назарьев, растягивая приятную улыбку и слова с расчётом завзятого сплетника, — кого мы имели удовольствие встретить… Угадайте-ка?

— Мудрено угадать! — полушутя заметила Людмила Андреевна, начиная жадно слушать.

— Я так и знал, что не угадаете. Милейшего

нашего Евгения Алексеевича!

И господин Назарьев раскатился самым невиннейшим раскатистым смехом.

Невежина, знавшая хорошо господина Назарьева, догадалась, что это ещё начало, что самая пакость будет впереди, и, подобравшись вся, воскликнула с искусством опытной актрисы:

— Ах, ведь у меня и из ума вон!.. Евгений утром говорил, что пойдёт в Таврический. Там, говорят, так хорошо.

— Превосходно… («Однако ты таки выдержанная ревнивая шельма!») Знаете ли, зелень, дети, скромная публика. К сожалению, я не мог пожать руки вашему красивому супругу… Он был так занят разговором… Если позволите, ещё стаканчик, Людмила Андреевна! — обратился он, передавая стакан и не без удовольствия замечая, как нервно дрожали её длинные цепкие пальцы…

«Да не тяни ты хоть душу, мерзавец!» — подумала Людмила Андреевна и, сдерживая душившее её волнение, храбро улыбнулась и сказала:

— Вы решительно умеете заинтриговывать, Аркадий Матвеевич… С кем же это так беседовал Евгений?..

— Вот тут-то и конец главе… на самом интересном месте! — шутливо проговорил Аркадий

Матвеевич.

Она сгорала от нетерпения узнать, а он — этот мучитель — словно нарочно тешился и не досказывал.

— Вот уж это нехорошо… Начать и не кончить.

— А вы и в самом деле заинтересовались этими пустяками? Не хотите подождать, пока сам Евгений Алексеевич расскажет? Ну-с, извольте, ведь вы не ревнивы, вам можно сказать, но, чур, меня не выдавать! — говорил шутливым тоном Аркадий Матвеевич. — Евгений Алексеич беседовал с очень интересной особой. Такая стройная, смуглая брюнетка. Одета скромно, вид такой строгий, должно быть, интеллигентная особа. Ну, кажется, все приметы. Теперь догадались, кто эта барыня? Верно, из ваших знакомых, не правда ли?

Она слабо кивнула головой, и господину Назарьеву делать было больше нечего. Он скоро ушёл, довольный, что таки пробрал эту скаредную родственницу.

Оставшись одна, Людмила Андреевна тяжело вздохнула. Злоба и ревность терзали её. Она встала и нервно заходила по комнатам, стараясь привести в порядок свои мысли. Наконец она приняла валерьяновых капель, прошла в кабинет мужа и, затворив изнутри, отперла ящики пись-

менного стола своим ключом (она не в первый раз уж делала такие обыски!) и с ловкостью опытного сыщика стала перебирать письма и бумаги. Решительно ничего, ни одного компрометирующего письма! Но вот взгляд её останавливается на каком-то клочке, на котором написан адрес:

«Фурштадтская, д. 22, кв. 35».

Она запоминает адрес, кладёт клочок на место, и в самом нижнем ящике находит крошечную тетрадку почтовой бумаги. Она заглядывает… начало не предвещает ничего хорошего… это нечто вроде дневника, который имел неосторожность начать Невежин. Он начинался месяца три тому назад словами: «Вчера я встретил оригинальную прелестную девушку», и далее шло всё в том же роде… восторженный панегирик рядом с сознанием своей ничтожности, усиливающимся crescendo. Затем шли довольно правдивые замечания о двусмысленности его положения, об отвращении к жене, и, наконец, сегодняшним числом было помечено:

«И я снова испытывал чувство омерзения. Господи, когда ж эта подлость кончится? Надо бежать… бежать…».

Еле стоя на ногах, без кровинки в лице, Людмила Андреевна имела мужество прочитать все эти излияния до конца, затем положила тетрадку на место и нетвёрдыми шагами добрела до спальной.

Но тут силы её оставили, и она беспомощно опустилась на кресло, словно подкошенная.

V
Выстрел

Затаив на время волнующие её чувства, Невежина пока ни слова не говорила мужу о сделанном ею открытии. «Она подождёт. Она ещё прежде соберёт улики, чтоб не дать ему возможности солгать, и тогда… тогда поговорит с этим человеком так, как он заслуживает… Она бросит ему в глаза такие обвинения, каких он и не ждёт!» Она теперь ненавидела «этого человека», оскорблённая им, как только может быть оскорблена женщина, и в то же время не пришла ещё ни к какому решению — как поступить ей. «Неужели он так-таки и будет наслаждаться своим счастьем, и она, оплёванная, брошенная, должна влачить одинокие дни? И хоть бы с ней поступили деликатно, пожалели бы её… Одно отвращение, и ни тени участия… Нет! Так с ней шутить нельзя… Он дорого заплатит за своё… отвращение… Он не воспользуется краденым счастьем!»

Она избегала встреч с мужем. Сходились они только за обедом, и оба молчали, если не обедал кто-нибудь из посторонних. Невежин обратил

внимание, что жена его за эти дни осунулась, постарела как-то сразу и не так, как обыкновенно, занималась своим туалетом.

«Что с ней? Здорова ли она?» — спросил он как-то раз за десертом.

«И он ещё смеет спрашивать о здоровье?!»

Злоба душила эту женщину, но она сдержала себя и с невольной дрожью в голосе проговорила:

— Разве это так интересно?

— Ты, кажется, больна, и, следовательно, надо лечиться…

— Например?

— Могла бы уехать куда-нибудь на воды… за границу… Посоветуйся с докторами! — заметил он, бросая на жену пристальный взгляд и тотчас же отводя его.

Она перехватила этот холодный, безучастный взгляд совсем чужого человека, и ей стоило большого труда справиться с собой. Но это было невозможно, и она медленно и тихо, невольно подчёркивая каждое слово, сказала глухим голосом:

— За границу я не поеду, и заботы о моём здоровье напрасны. Я чувствую себя отлично и… надеюсь прожить ещё долго, очень долго! — вдруг прибавила она и засмеялась нервным, болезнен-

ным смехом.

Невежин пожал плечами и больше не заговаривал о здоровье. Несколько смущённый и сконфуженный, вышел он из-за стола и прошёл к себе в кабинет. Этот иронический, многозначительный тон беспокоил его. Так прежде она никогда с ним не говорила, и он вдруг струсил. «Не проведала ли чего-нибудь жена?»

Надо сказать правду, струсил он не за себя. Он знал жену и понимал, что эта женщина в порыве ревности может решиться на всякий скандал, — вот почему он тщательно скрывал от супруги своё знакомство с девушкой, о которой он говорил в дневнике с благоговейным восторгом человека, в первый раз испытавшего чистое чувство без всякой надежды, что оно может быть когда-нибудь разделено — так велика была между ними пропасть. Да разве он смел на что-нибудь надеяться? Он был уже счастлив, что ему позволяли изредка приходить, читать, что его — пустого, негодного человека — не оттолкнули, а напротив, поддержали, вселив надежду, что и для него ещё возможно нравственное обновление. Раздумье о своей негодности, новые мысли, весь ужас брака — всё это ведь явилось именно благодаря этой случайной встрече с девушкой,

совсем не похожей на тех женщин, с которыми ему приходилось встречаться прежде, и одна мысль, что жена, узнавши об этом знакомстве, может оскорбить ни о чём не догадывавшуюся девушку какой-нибудь выходкой, каким-нибудь резким словом, приводила его в негодование.

«Надо быть осторожным!..» И он достал из письменного стола свой дневник и спрятал его в карман. «Так безопаснее!» — решил он, и вышел из дому.

Горе и страдания Невежиной не помешали, однако, ей собрать самые точные справки. Под густой вуалью отправилась она вечером по найденному адресу и основательно допросила дворника, посулив хорошую подачку за сведения. Оказалось, что квартиру занимает вдова-чиновница с пятью детьми.

— С пятью детьми?.. Молодая?..

— Не так, чтобы очень… Лет за сорок будет! — отвечал дворник и прибавил: — Не сродственница ли вам?

— Да, да… Так вы говорите, за сорок? — изумилась Невежина.

— А может, и больше, кто её знает. Вот… только средствами не то чтобы… Квартирка маленькая, и то одну комнату сдаёт… Жиличка одна живёт…

— Жиличка… Кто?.. как фамилия?

— Барышня одна, учительница, госпожа Степовая.

— Молодая?

— Эта молодая и из себя такая аккуратненькая… Смирная и ласковая барышня, это надо сказать, не то что как другие прочие… Сами изволите знать — всякого жильца есть! — прибавил дворник, махнув рукой. — Живёт тихо и благородно, как следовает… Утром на уроки ходит… Редко-редко когда к ней гости ходят… Вот один статный такой, чернявый ходит, всегда двугривенный даёт, как ты ему калитку отопрёшь. Настоящий барин, не то что голь какая из студентов… Вот бы женишок для барышни… Как есть бы парочка! — продолжал дворник, уже успевший несколько раз побывать в пивной и потому находившийся в болтливом настроении.

— Часто он сюда ходит? — нетерпеливо перебила его Невежина.

— Да вам, собственно, о чём же угодно узнать, барыня? — меняя вдруг тон, заговорил дворник. — Уж я и так по своей простоте болтаю вам… Как бы чего не вышло… Сами изволите знать…

Невежина поспешила достать портмоне и подала десять рублей. Хотя дворник и изумился такой

щедрой подачке, но вида не показал и, принимая деньги, заметил:

— Вы, значит, насчёт этого чернявенького барина?..

— Ну да… Говорите… Часто он бывает?

— Тэк-с… Тэк-с… — протянул дворник («Понимаем, мол», — говорило, казалось, его подвыпившее лицо с маслеными глазами). — Это я могу… Что ж, врать не буду, не то чтобы часто… Часто… этого я не замечал, а я у себя во дворе всё вижу… Вот сегодня, значит, этак с полчаса перед вами будет, как ушёл… Я у ворот был…

— Благодарю… Только вы смотрите, никому ни слова… Понимаете? — заметила она, собираясь уходить.

— Что вы, барыня! Не извольте сомневаться… Одно слово — могила!.. Я это довольно даже хорошо понимаю… Иной раз всякому справка нужна… Я и напредки, если угодно, со всем моим удовольствием. По нашему званию нам всё должно быть из вест но-с… — говорил он, отворяя дверь дворницкой и провожая за ворота.

«Должно, содержанка, — подумал он, следя глазами за быстро удалявшейся барыней. — А этому господину беспременно надо сказать… Небось, тоже отвалит!»

— И народ, подумаешь! — вдруг проговорил он, рассмеявшись, и, вероятно, по этому случаю отправился в пивную напротив.

Невежин сидел в кабинете у стола, когда часу в десятом вечера вошла к нему Людмила Андреевна.

Он поднял голову и в полутёмном конце кабинета увидал быстро приближавшуюся фигуру жены.

— Мне надо поговорить с тобой! — произнесла она глухим голосом, присаживаясь в кресло у другого конца стола.

И тон, которым она произнесла эти слова, и злое выражение её бледного, осунувшегося лица, с нервным подёргиванием одной щеки, не предвещали ничего хорошего.

Невежин отодвинул книгу и, стараясь скрыть невольное смущение, охватившее его, проговорил искусственно небрежным тоном, закуривая папиросу:

— В чём дело?

— Мне надо серьёзно поговорить с тобой! — повторила она, подчёркивая слово «серьёзно». — Ты, вероятно, сам догадываешься, о чём? — прибавила она, взглядывая на мужа.

— Лучше без торжественных предисловий… О

чём я должен догадываться?

— Зачем ты обманываешь меня? Зачем ты так подло лжёшь?

У Невежина ёкнуло сердце. Краска смущения и досады залила его щёки. «Началось», — подумал он и проговорил:

— Нельзя ли без этих выражений…

— Боже, какая требовательность! — усмехнулась Невежина. — Он же ещё и обижается! Этого я не ожидала… Да, ты лжёшь! Я ведь знаю, что тебя удерживает в Петербурге… Я знаю, какая служба. Вы изволили влюбиться в очаровательного ангела с Фурштадтской и забыли, что у вас есть нравственные обязательства к женщине, спасшей вас от позора. Но разве любовь не подсказала вам, что обманывать не честно? Разве совесть не шепнула вам об этом? Разве у вас не хватило даже настолько мужества, чтобы сказать правду, — и вы всё время лгали?

Невежин всё ниже и ниже опускал голову.

Каждое слово жены хлестало его, как удары бича. И что мог он сказать в своё оправдание? И ненависть к этой женщине росла всё более и более.

А она, словно обрадовавшись случаю освободиться от накипевшей злобы, продолжала:

— Вы знаете, я не обманывала себя… настолько я умна. Я знала, почему вы женились на мне. Вам нужны были деньги, и я дала вам эти деньги. Я любила вас, я не требовала от вас взамен любви, но я ждала по крайней мере уважения и правдивости. Я думала, что вы поймёте, что кроме денег у меня есть и сердце. Я ведь тоже человек. Хоть бы каплю сострадания. Раньше вы хоть были искренни со мной, но потом… потом вы храбро исполняли обязанности мужа, хотя и чувствовали… омерзение. Такой низости я даже и от вас не ждала…

Она продолжать более не могла. Рыдания душили её.

Краска давно отлила от щёк Невежина. Он побледнел и молча смотрел на жену. Теперь она казалась ему ещё отвратительнее, после этих жестоких упрёков.

— Послушайте, — сказал наконец Невежин, — я не стану оправдываться. Вы правы, я женился на вас из-за денег, но ведь вы это знали. Женитьба моя была непростительной виной, вы вправе клеймить меня, я сам презираю себя за это. Я вас никогда не любил даже настолько, чтобы забыть свой позор. Теперь вы знаете, почему мне невозможно более жить с вами. Ну да, я люблю, люблю

безнадежно, и всё-таки люблю.

Он любит…

«Люблю безнадежно, и всё-таки люблю»!

О, если б он сказал ей хоть что-нибудь подобное. Она бы всё забыла, она готова была бы жизнь отдать за него. Но он любит другую. Даже не жалеет её настолько, чтоб хоть не бросать ей в глаза эти слова любви к другой и чувство ненависти к ней.

Этого она не в силах была перенести. Она вскочила с кресла и, задыхаясь от гнева, произнесла:

— И вы думаете, что я вам позволю безнаказанно шутить чужой жизнью? Вы думаете, что я вас купила, — да, купила, — чтоб вы смеялись надо мной? Не беспокойтесь. Я пойду к вашей «святой» девчонке и скажу ей… что вы такое… Я познакомлю её с вами. А если поздно, если она, ваша святая, уж соблазнилась вашим лицом… Знаем мы этих святых учительниц…

— Замолчите, прошу вас, — глухо проговорил Невежин. — О ней ни слова!

— «О ней ни слова!» Так вот же…

И с уст жены сорвалось позорное слово о девушке.

В глазах у Невежина помутилось. На него нашёл один из тех припадков бешенства, когда люди не

помнят, что делают. Он взял со стола маленький револьвер и, вздрагивая от гнева, прошептал:

— Уйдите.

А она, как нарочно, не уходила, эта ненавистная женщина, и вдруг раздался выстрел.

Она бросилась в двери. Прибежал лакей и осторожно отнял револьвер из рук бледного, как мертвец, Невежина.

— Ах, что вы сделали, что вы сделали, барин! — сочувственно повторил слуга.

Наконец Невежин пришёл в себя и велел тотчас же позвать доктора. Оказалось, что за доктором уже послали. Тогда он уехал из дома, переночевал у приятеля и утром заявил в полиции, что стрелял в жену.

В тот же день он узнал, что она легко ранена, и просил приятеля передать ей, чтобы она простила ему его поступок, и умолял её, чтобы на следствии она не упоминала никакого имени.

Когда приятель вернулся с известием, что она обещает это, Невежин успокоился. На другой же день он был арестован. От порук жены он отказался.

VI
Два свидания

Волнуемый воспоминаниями о прошлом, Невежин провёл почти без сна ночь после судебного приговора и заснул только на рассвете. Он не слыхал, как в исходе седьмого часа надзиратель отворил форточку в дверях его камеры и бросил на койку дневную порцию чёрного хлеба, как затем в коридоре раздавались громкие возгласы: «Кипяток, кипяток!», предупреждавшие узников, имевших свой чай, о разноске кипятка, — и проснулся, против обыкновения, поздно.

Был двенадцатый час. Славный солнечный день врывался в окно камеры, заливая маленькую клетку снопами яркого, весёлого света. Невежин только что окончил свой туалет, приотворил окно, укреплённое цепями, жадно подышал свежим весенним воздухом и занялся варкой кофе на спиртовой лампочке, стараясь продлить это занятие, чтобы как-нибудь убить время.

Не успел он докончить стакана, как дверь камеры с шумом отворилась, и надзиратель произнёс громким голосом:

— Пожалуйте на свиданье!

Это была такая приятная неожиданность, что молодой человек сперва не поверил. Дни свиданий с матерью были у него по средам и воскресеньям, а сегодня была пятница.

«Неужели это она… так скоро!» — пронеслось у него в голове, и он переспросил надзирателя дрогнувшим от радостного волнения голосом:

— На свиданье… мне? Разве сегодня есть свидания?

— Верно, начальник разрешил не в очередь.

Невежин бросился из камеры. Он шёл так скоро, что старый надзиратель едва успевал за ним.

— Где свидание? Общее или звериное, за решёткой? — спрашивал Невежин, когда они спускались с лестницы…

— Разве забыли, что сегодня общих нет. Сегодня только для политических! Вам, выходит, экстренное.

— Ах да, я и забыл. Значит, и мне в камере! — обрадовался Невежин. — Вы будете присутствовать при свидании?

— Вам можно и без надзора! — снисходительно заметил пучеглазый, военной выправки старик, из бывших жандармов. «Ты, мол, не политический, что с тобой-то сидеть!» — подумал старик

и прибавил: — Вот провожу вас и сейчас пойду опять наверх за другим господином… С тем и сидеть буду… Сегодня просто пятки горят…

— А что, устали?

— Да как не устать… Каждый на свиданье лётом летит, словно угорелый, мне и не поспеть… Ноги мои уж старые.

Невежин умерил шаг и спросил:

— А кто пришёл ко мне… Вы не знаете?

Почему ему знать, кто там сидит в приёмной? Его дело одно: ходи с главного поста наверх и оттуда вниз.

Они спустились. В коридоре, недалеко от главного выхода, со списком в руках, стоял дежурный помощник, не «бестолковый», а добрый, пользовавшийся расположением и посетителей, и заключённых, высокий худощавый брюнет с добрым лицом, не успевшим ещё приобрести равнодушно-официального выражения тюремной крысы.

— Сейчас придут к вам! — мягко проговорил он, посматривая на часы, и, отмечая на бумажке время, указал на одну из камер.

В эту минуту какая-то молодая дама в глубоком трауре, с корзиной в руках, проходила мимо и взглянула на молодого человека тем необычайно

ласковым, сочувственным взглядом, которым умеют глядеть только женщины, испытавшие несчастье в жизни.

«Верно, принимает меня не за уголовного!» Невежин остановился, чтобы дать ей дорогу, и в свою очередь взглянул с невольным уважением на это милое, грустное лицо с заплаканными глазами. И этот глубокий траур, и выражение её бесконечно доброго лица, и самая походка… всё свидетельствовало о большом горе. Дама вдруг остановилась и подняла кверху голову. Счастливое, радостное выражение осветило её лицо.

Быстро спускаясь с лестницы и весело кивая кудрявой головой, шёл к ней молодой человек… Вот он спустился, протянул ей обе руки и на ходу проговорил, обращаясь к помощнику:

— Уж вы, пожалуйста, не оттяните ни одной минуты… Теперь ровно двенадцать!

И они оба скрылись в соседней камере, сопровождаемые надзирателем.

Невежин вошёл в свою и заходил в волнении взад и вперёд. Несколько минут, протекших в ожидании, показались ему чуть ли не вечностью.

«Скоро ли?»

Он смотрел нетерпеливо на часы, останав-

ливался у дверей, прислушиваясь к шагам в коридоре, несколько раз выглядывал из-за двери… никого не было. Он не сомневался, что придёт Зинаида Николаевна. Кому прийти другому? Целых семь месяцев он её не видал… Вчера только, в суде, но там было так темно. Он давно хотел просить этого свидания с ней и не решался. Теперь, перед разлукой навсегда, он должен её видеть, должен объясниться.

Наконец двери отворились именно в ту минуту, когда Невежин не ожидал этого и стоял в противоположном конце камеры. Невежин быстро обернулся и замер на месте от изумления.

Вместо девушки, которую он ждал, перед ним стояла его жена.

Она робко, точно виноватая, протянула ему руку и промолвила тихим голосом, полным мольбы:

— Прости… Простите, — поправилась она, — что я пришла. Я знаю, вы не хотели меня видеть раньше, но теперь… после приговора…

Невежин взглянул на жену. Боже мой, как осунулась, как постарела она в последнее время! Особенно поразило его выражение какого-то покорного страдания, смягчившее черты её лица, и кроткий, грустный взгляд её глаз.

Ему стало бесконечно жаль эту женщину, жизнь которой была разбита по его вине. Прежняя ненависть к ней давно улеглась в его сердце.

Почтительно и осторожно, как подходят к тяжелобольным, подошёл он к жене, поцеловал её руку и сказал:

— Нам обоим тяжело было видеть друг друга.

Она подняла на него взор, тот же кроткий, молящий, и ничего не сказала.

— Особенно мне, — прибавил Невежин.

— Почему? — проронила она чуть слышно.

— Я слишком виноват перед вами… Вы это знаете.

Он предупредительно предложил ей стул и сам сел на другой.

— Я пришла не для того, чтобы нам считаться, — наконец заговорила она. — Довольно было счетов. Я больше была виновата. Из-за меня случилось всё это несчастие… Я забыла, видите ли, что это мне не к лицу — ревновать… Я требовала невозможного…

Невежин молчал. Примолкла и Людмила Андреевна.

— Я пришла теперь, чтобы просить вас, умолять об одном…

— О чём?

— Позвольте мне ехать в Сибирь за вами…

Этой просьбы Невежин никак не ожидал. Она заметила выражение изумления на его лице и торопливо прибавила:

— Я поеду за вами не как жена… О, нет. Я прошу только права заботиться о вас, быть вашей сиделкой, нянькой, чем хотите. Я не буду иметь претензии ни на что. Если хотите, я не буду показываться вам на глаза, но только позвольте быть около вас.

Хотя такое самоотвержение и тронуло молодого человека, однако он решительно ответил:

— Это невозможно… Я никогда не соглашусь, чтобы вы ради меня ехали в Сибирь.

— А вы думаете, что здесь или где-нибудь мне будет лучше? — сказала она. — Не откажите. Не думайте, что я стесню вас… Вы будете свободны… Я буду скрывать от всех, что я ваша жена…

— Неужели вы думаете, что я могу принять такое предложение? — порывисто воскликнул Невежин.

— Ну, хорошо, не надо… Так вот что: я устрою вам возможность бежать в пути. Берите деньги и бегите за границу…

— Благодарю вас. И на это я не могу согласиться.

Она печально поникла головой.

— Послушайте… вы всё ещё сомневаетесь. Вы думаете, что я хлопочу для себя… Так хотите развода? Я готова взять всё на себя. Моя жизнь кончена, а ваша впереди… Верите вы теперь мне?

Глубоко взволнованный, Невежин горячо проговорил:

— Я верю вам, благодарю вас, и…

— Отказываетесь?

— Да, отказываюсь. Позвольте мне попробовать стать порядочным человеком! — добавил он с горькой усмешкой.

Снова наступило молчание. Наконец они заговорили о других вещах. Жена расспрашивала мужа о тюремной жизни, Невежин расспрашивал об общих знакомых. Они расстались несколько примирённые. Она выпросила позволение изредка навещать его до отъезда и проводить хоть до Нижнего.

Через час после ухода жены Невежина снова позвали на свидание.

На этот раз он не обманулся. Когда он вошёл в ту же самую комнату, в которой только что виделся с женой, там уже сидела Зинаида Николаевна.

При виде Зинаиды Николаевны Невежина

охватило такое волнение, что в первую минуту, растерянный и смущённый, он не находил слов. Казалось, он всё ещё не верил такому счастью.

— Вы пришли… пришли? — бессмысленно повторял он, не сознавая, что говорит, порывисто пожимал протянутую руку и глядел на Зинаиду Николаевну восторженно умилённым, благодарным взором.

Благодаря присутствию этой девушки, от которой словно веяло чем-то чистым и светлым, Невежин весь как-то внутренне умилился и просветлел. Эти славные синие глаза, кротко и грустно глядевшие из-под длинных ресниц, проникали в самую душу, очищая её своим чистым светом.

И маленькая полутёмная камера, казалось Невежину, вдруг просветлела.

А молодая девушка, видимо, не ждала такой встречи.

Смущённая таким проявлением чувства, безмолвно сидела она, склонив голову.

— Я не знаю, как и благодарить вас, — начал наконец Невежин, присаживаясь на стул, — за то, что вы не отказали в моей просьбе… пришли… Я до сих пор не верю, что вы здесь… Я думал… вы не захотите… А мне так хотелось… вас видеть,

сказать вам… просить прощения…

— В чём? — проронила Зинаида Николаевна.

— В чём? — переспросил Невежин. — Так выслушайте меня… Ведь скоро и конец этому свиданию… А мне хочется вам многое сказать!.. — продолжал Невежин, волнуясь и спеша поскорей излить свою душу после долгого молчания. — Вы знаете ли, чем я вам обязан?.. Благодаря этой счастливой случайной встрече с вами я понял всю пустоту, всю мерзость моей жизни… Вам, вашим тёплым словам обязан я, что прозрел, что иначе взглянул на окружающее и на самого себя… Я стал думать, стал читать, у вас я увидал честных, хороших людей, на которых прежде клеветал, повторяя ходячие фразы людей нашего общества… И вся прежняя жизнь стала мне отвратительной… Я искренно хотел с нею разделаться… Но я слаб, я бесхарактерен… сразу я не мог решиться… О, как благодарен я вам, Зинаида Николаевна, что вы тогда не оттолкнули меня, что вы позволили мне хоть изредка заходить к вам, говорить о себе и слушать вас. Вы поддерживали во мне надежду подняться, бодрили меня как добрая сестра, советовали не унывать и в минуты отчаяния освещали передо мной пропасть, в которой я был… Я хотел из неё выйти и в то же

время скрывал от вас… скрывал главное…

Невежин говорил взволнованным, задушевным голосом. Слёзы стояли у него на глазах… Он на секунду остановился.

— Напрасно вы так волнуетесь! — мягко заговорила Зинаида Николаевна. — Вы, кажется, ничего от меня не скрывали.

— Нет… не утешайте… Я скрыл от вас, как я женился… Об этом я никогда не говорил… У меня не хватало сил признаться в такой подлости вам, именно вам. Я несколько раз хотел говорить об этом и… и не решался… Я думал, что тогда вы будете совсем презирать меня, а этого я не мог перенести… Я хотел вам сказать только тогда, когда бы разорвал со всем прошлым… Теперь оно невольно разорвано… Вы были в суде… Вы слышали… Вы видели жену… Так знайте то, что я скрывал… Я женился ради денег… Я продал себя, не понимая, что гублю и свою, и чужую жизнь… Я не любил жену и раньше, а потом, когда я встретил вас, она мне сделалась ненавистна… Притворяться я более не мог… И без того было много притворства. Теперь вы знаете всё! — прибавил тихо Невежин, опуская свою кудрявую голову, словно подсудимый, ожидающий приговора.

Молодая девушка сама ещё ниже склонила голову, чувствуя, что этот голос, полный мольбы и страсти, невольно, как тать, закрадывается в её сердце и будит новые чувства. Давно ли этот человек был для неё просто случайным знакомым, которого она чуть-чуть пожалела, не подозревая, что он любит её… И если бы эта исповедь была сделана раньше, Зинаида Николаевна, наверно, отнеслась бы суровее, а теперь… теперь она ещё более жалела этого красивого молодого человека, слова которого звучали, казалось, таким искренним раскаянием и такой заразительной нежностью скрываемой любви…

И вместо сурового приговора она промолвила тихим голосом:

— Вы почти искупили свою вину… Вы слишком наказаны.

— И вы прощаете?.. Вы? — невольно воскликнул Невежин в радостном волнении.

Прощает ли она? Довольно было посмотреть на её лицо, ласковое и грустное, чтоб не спрашивать об этом.

— Какое же имею я право обвинять вас?.. — сказала она.

— О, благодарю вас… Теперь мне будет легче начать новую жизнь! — порывисто воскликнул

Невежин. — И вот ещё что. Вы не думайте, что я стрелял в жену из каких-нибудь побуждений… Я не смею сказать причины, но клянусь вам…

— Я всё знаю! — невольно сорвалось у неё.

— Знаете? То есть что же знаете? — испуганно переспросил Невежин.

— Почему вы стреляли! — прошептала Зинаида Николаевна, и на её лице появилось серьёзное, страдальческое выражение. — Вчера ваша жена была у меня…

— Жена… У вас? И она осмелилась? — вспылил вдруг Невежин.

— Не волнуйтесь… Она не винит вас, она во всём винит себя… Она глубоко к вам привязана и желает вам счастья…

— Она сейчас была у меня… Предлагала бежать за границу, предлагала ехать со мной в Сибирь…

— И что же? Вы отказались? — с живостью спросила Зинаида Николаевна.

— Конечно… Но что же она говорила вам?..

— Она всё мне сказала… но потом поняла, что я не виновата. Скажите сами, виновата ли я?

И, сказав эти слова, Зинаида Николаевна подняла на Невежина светлый, чистый взгляд своих прелестных глаз.

В этом взгляде были и вопрос, и сострадание. О,

как хороша была она в эту минуту, серьёзная и смущённая, без вины виноватая девушка, невольная участница семейной драмы, окончившейся ссылкой.

— Я виноват… что, недостойный, осмелился боготворить вас… Я понимаю, что я для вас чужой… Я ни на что не надеялся. Но это было выше моих сил. Ну да, я люблю безнадежно. Никого никогда я так не любил. С вашим чудным образом я уеду в Сибирь, и он поддержит меня! — вдруг воскликнул Невежин. — Простите, умоляю вас, эту дерзость… В первый и последний раз сорвалось это слово… Скажите, что вы прощаете.

Она давно ему простила и протянула ему руку. Слёзы брызнули из его глаз, и он припал к её руке, покрывая её поцелуями.

Зинаида Николаевна тихо освободила свою руку. Сама взволнованная этой сценой, она чувствовала не одну только жалость к Невежину.

— Успокойтесь… не волнуйтесь! — говорила она испуганным голосом, вся бледная и серьёзная. — Я не могу разделять вашего чувства, но я ценю его…

Он просветлел. Мог ли он надеяться на большее?

— И вы когда-нибудь напишете мне… хоть

строчку… одну строчку… Вы поддержите меня и там, в далёкой Сибири…

— Напишу… И теперь же напишу к своим родным, чтоб вас приютили. Ведь я сама сибирячка. Вы едете в мой родной город! — с улыбкой прибавила она. — Там не так скверно, как вы думаете. Быть может, ещё и увидимся.

— Неужели может быть такое большое счастие? — как ребёнок, воскликнул Невежин.

Минуты свидания пробежали быстро. Помощник заглянул в двери, и они расстались.

— Прощайте!.. — проговорил Невежин.

— До свидания! — ответила Зинаида Николаевна. — Я ещё навещу вас.

Счастливый поднимался в этот день Невежин на свою галерею.

VII
Деловое утро

Василий Андреевич Ржевский-Пряник или, как коротко называли его сибирские обыватели, «генерал», занимавший в старые времена, соответствующие нашему рассказу[24], видное место в отдалённой Жиганской губернии, в девять часов июньского утра был, по обыкновению, на своём посту — за письменным столом в небольшом щегольски убранном кабинете.

Вполне готовый начать многотрудное деловое утро и уже получивший за чаем обычную порцию внушений от своей супруги, дамы, как узнает читатель, весьма характерной, Василий Андреевич был рад, что долг службы призывал его в кабинет (супруга сегодня была не в духе), и первым делом занялся пересмотром только что полученной петербургской почты.

Это был кругленький, гладкий, невысокого роста, бодрый и живой старичок с манерами

---

[24] Примечания: 24

…в старые времена, соответствующие нашему рассказу… — Станюкович имел обыкновение для ослабления цензурных придирок относить свои произведения, которые затрагивали животрепещущие проблемы русской жизни, к отдалённому прошлому.

человека, бывавшего в свете, из породы мышиных жеребчиков. Свежий, чистенький, румяный, сохранившийся, несмотря на свои шестьдесят лет, с реденькими, тщательно приглаженными седенькими волосами на височках и оголённым черепом, с расплывшимися чертами когда-то красивого лица, Василий Андреевич не гляделкозырем: во всей его фигуре не было ни импонирующего юпитерского величия, ни специфической чиновничьей выправки, и если б не изящно сшитый форменный сюртук, обличавший его административную профессию, Василия Андреевича едва ли приняли бы за генерала.

И кабинет, в котором Василий Андреевич нёс, как он выражался, «тяготу своего положения», то есть суетился и волновался, рассказывал анекдоты и слушал их, писал резолюции и временами набрасывался петушком на подчинённых, совсем не имел той внушительной, деловой, солидной обстановки, которой обыкновенно щеголяют петербургские администраторы. Напротив, у Василия Андреевича всё было как-то по дамски, уютно и весело, и обстановка кабинета напоминала обстановку старого вивера[25], проведшего

[25] Примечания: 25
Прожигатель жизни (от *франц. le viveur*).

молодость не без приятных воспоминаний. И мебель, и масса безделок и сувениров, украшавших стол, — всё говорило, что хозяин имеет вкус не к одним только скучным делам, а обладает и эстетической жилкой. Среди фотографий, развешанных по стенам, было немало женских портретов, преимущественно известных актрис и певиц, и все с собственноручными надписями.

Василий Андреевич прочёл уже несколько бумаг, сделал соответствующие отметки, и лицо его сохраняло по-прежнему добродушное выражение — из Петербурга ни одного запроса, ни одного замечания. Вслед за тем он стал просматривать петербургские газеты, как вдруг лицо его побагровело, нижняя губа оттопырилась, и он швырнул одну злополучную газету от себя.

В те отдалённые времена, о которых идёт речь, в газетах ещё появлялись корреспонденции, приводившие в волнение не одних только господ заседателей, и корреспонденция из Жиганска была хоть и не особенно пикантной, но всё-таки взволновала Василия Андреевича.

Он был донельзя чувствителен ко всяким газетным сообщениям, и если в них не восхищались его деятельностью, то Василий Андреевич забывал и о любви к литературе, и о знакомстве

с известными писателями, портреты которых красовались у него в кабинете, и готов был бы запретить все газеты.

Ещё бы! Он, вечный житель столицы, привыкший к удовольствиям и сутолоке столичной жизни, не пропускавший ни одного первого представления, пожертвовал всем этим и приехал в эту трущобу, одушевлённый самыми благими намерениями просветить диких сибиряков, и вдруг деятельностью его не восхищаются, напротив…

— Опять! — прошептал он. — Опять эти негодяи пишут…

Он снова взял в руки газету и вновь перечёл, что пишут «эти негодяи», под собирательным именем которых Василий Андреевич разумел несколько лиц, особенно им не любимых, которых он подозревал в сочинении корреспонденций.

«Негодяи», однако, ничего ужасного не писали. В злополучной корреспонденции, сообщавшей обычные, всем известные факты из сибирской жизни, между прочим выражалось сожаление, что на Василия Андреевича имеют нехорошее влияние люди весьма сомнительные…

Это была не первая корреспонденция, и старика волновали не столько факты, сообщаемые в них, сколько предположение, что на него могут

иметь влияние… «Он всё сам… На него никто не может иметь влияния!»

— Я разыщу негодяя, который сообщает этому мерзавцу редактору пасквили… Я его… Я в двадцать четыре часа…

Василий Андреевич был в самом воинственном настроении и уж собрался было по обыкновению послать верхового за подозреваемым корреспондентом, как вдруг двери кабинета растворились, и в комнату вошла высокая, довольно полная барыня лет сорока, сохранившая ещё благодаря косметикам некоторую пикантность своей отцветающей красоты.

Хотя Василий Андреевич добродушно веровал в личное своё мужество и, вспоминая старые времена, когда он был военным и служил адъютантом, любил рассказывать, как благодаря его находчивости не было проиграно окончательно какое-то сражение в крымскую кампанию, тем не менее при виде строгого, недовольного лица с знакомой ему складочкой между густыми подведёнными бровями воинственный пыл Василия Андреевича как-то внезапно погас. Он забыл о корреспонденте, забыл о «мерзавце» петербургском редакторе и, присмиревший, смотрел на свою дебелую супругу в изящном утреннем ка-

поте, плотно облегавшем формы внушительных размеров, далеко не с тем бравым видом, который бы напоминал храброго, мужественного адъютанта, когда-то спасшего честь русской армии.

— Полюбуйся, что мне пишет Катрин! — заговорила её превосходительство резким контральтовым голосом, держа в своих выхоленных белых пальцах маленький исписанный листок почтовой бумаги.

— Разве что-нибудь неприятное? — слукавил Василий Андреевич.

— А ты думал — приятное?! Она пишет, что в Петербурге недовольны… что на тебя имеют влияние какие-то авантюристы… Я тебе говорила… Что тебе за охота связываться с этим Сикорским?

При этом имени Василий Андреевич вспыхнул.

— Катрин пишет вздор! — заговорил он своим тоненьким тенорком, представлявшим резкую противоположность с мужественным голосом его супруги. — Какие авантюристы?.. Это всё сплетни… Я никому не позволю водить себя за нос! Я, кажется…

— «Ты, кажется»! — передразнила Марья Петровна. — «Ты, кажется…» Ты простофиля, и больше ничего!.. — проговорила Марья Петровна

тоном, не допускающим никакого возражения. — И это всем кажется, кроме тебя!.. Я больше терпеть не намерена… Слышишь? Завёз меня в какую-то трущобу, где ни общества, ни людей, где я должна принимать каких-то чумазых чиновниц. Благодарю… Мне это надоело… Пяти лет довольно… Пиши и просись на другое место, пока тебя не отозвали помимо твоего желания.

Василий Андреевич слушал и только пожимал плечами. Пиши! Легко как рассуждают эти женщины! Точно он не писал и не просился отсюда. Точно ему весело жить в этой дыре, где ещё его не ценят как следует.

И интереснее всего, что Марья Петровна корит его за трущобу… А кто, как не она, заставила его ехать сюда? Если б не честолюбивый червяк, не дававший покоя Марье Петровне, жил бы теперь Василий Андреевич в Петербурге, занимал бы несколько мест в благотворительных учреждениях, рыскал бы с утра до вечера, что-то устраивая и о чём-то хлопоча, и жизнь текла бы весело… Утро с благотворительными дамами, вечера в театре — хорошо было… Все его любили, особенно женщины. Кокотки даже звали не иначе как «cher Basile». Эта жизнь была как раз по вкусу Василия Андреевича, но Марье Петровне хотелось выдви-

нуть Базиля. Она хлопотала и наконец добилась, что его назначили, и теперь она же винит его…

Всё это пролетало в голове Василия Андреевича, но сказать этого он не решился. Обиженный, он только рискнул заметить:

— Ты, кажется, сама советовала ехать сюда.

— Советовала! Разумеется, советовала. Я думала, что ты сумеешь воспользоваться положением… Зарекомендуешь себя, тебя переведут… ты выдвинешься, а вместо этого… ты даже и не умеешь держать себя как следует… Пойми, у нас дети, и, наконец, я ещё не старуха… чтобы закопать себя здесь…

— Но, мой друг…

— Ах, молчи, пожалуйста! — гневно перебила Марья Петровна. — Какова моя жизнь?.. Что ты мне даёшь?..

Василий Андреевич хорошо знал, что когда супруга касается этого щекотливого вопроса, то лучше всего молчать, подавая лишь по временам реплики, тем более что он ничего и не мог теперь давать ей, кроме платонической любви и безграничного подчинения, что Марье Петровне, по-видимому, казалось недостаточно. И он храбро молчал, умоляя только по временам говорить потише, пока разгневанная петербургским пись-

мом Марья Петровна не излила на лысую голову Василия Андреевича всю накопившуюся желчь скучающей барыни.

«Ну, теперь, кажется, кончено!» — подумал Василий Андреевич, но, на беду его, Марья Петровна увидала скомканный номер газеты… Увидала, прочла, и с насмешливой иронией проговорила:

— Доволен?.. Очень хорошо… Отлично… Теперь ты узнай, кто писал, пригласи к себе и либеральничай с ним… Убеждай, что ты добродетельный чиновник…

Это было уж слишком! Василий Андреевич не выдержал и отважно проговорил:

— Я его призову и… Ты увидишь, что я с ним сделаю!

— Ты-то… Старый дурак!..

И, проговорив эти слова с нескрываемым презрением и уверенностью, что в справедливости их не может быть ни малейшего сомнения, Марья Петровна величественно удалилась, шелестя треном a la Сара Бернар[26].

Василий Андреевич несколько времени отдувался, пока не почувствовал вновь воинственного настроения.

---

[26] Примечания: 26

…шелестя треном a la Сара Бернар. — Сара Бернар (1844–1923) — французская актриса. Трен — то же, что шлейф.

— Гм… Простофиля… Старый дурак… Она всегда увлечётся. Я покажу, какой я простофиля! Со мной шутки коротки! — проговорил Василий Андреевич и резко позвонил.

Через минуту вошёл курьер.

— Ты чего же копаешься, а? У меня — смотри! — вдруг крикнул Василий Андреевич, принимая начальнический вид.

Курьер вытянулся в струнку, и вид этого замершего курьера, вперившего глаза, в которых, казалось, сверкало рвение перервать горло кому потребуется, несколько смягчил старика.

— Сию минуту послать верхового за Подушкиным! Знаешь?

— Никак нет-с.

— Дурак! Узнай. Спроси там, в канцелярии, где живёт Подушкин. Чтобы сейчас господин Подушкин явился ко мне. Немедленно! По экстренному делу… Понял?

— Понял. Только, осмелюсь доложить, — верховой услан.

— Куда?

— Изволили послать в город…

— Так немедленно послать, когда вернётся. Никого там нет ко мне?

— Есть-с. Трущобинский заседатель Проща-

лыжников дожидается.

— Прощалыжников? Зачем? Пусть явится в приёмный день.

— Изволили приказать явиться сегодня.

— Ах, да… Прощалыжников! — вдруг вспомнил Василий Андреевич. — Прощалыжников! — повторил он суровым тоном. — Зови его. В приёмную зови.

Бедный господин Прощалыжников! Зачем судьба его кинула сюда, в эту злополучную минуту, как раз после бурной супружеской сцены и прочитанной корреспонденции.

Явись он часом-двумя позже, кто знает, может быть, день этот, яркий июньский день, глядящий так весело в высокие окна приёмной комнаты, не имел бы для господина Прощалыжникова такого рокового значения.

Быстрыми, мелкими шажками приближался Василий Андреевич к скромной фигурке, стоявшей у дверей, близ входа, и по мере приближения всё более и более закипал гневом. Когда он приблизился наконец и увидал маленького, коренастого замухрыгу, обросшего щетиной рыжих волос, среди которых сиял, во всём своём великолепии, красно-сизый большой нос и замирали в почтительно трепещущем взгляде серые,

заплывшие, лукавые глазки, Василий Андреевич уже окончательно олицетворял собою бога гнева… Он весь побагровел, обыкновенно оловянные глаза метали нечто вроде молний. В эту минуту в голове Василия Андреевича как-то смешались — и этот невзрачный Прощалыжников со всеми его грехами, вольными и невольными, и «эти негодяи», писавшие корреспонденцию, и «простофиля» Марьи Петровны…

И негодование на Прощалыжникова за все его служебные беззакония охватило вдруг с большей силой Василия Андреевича.

— Вы трущобинский заседатель… Прощалыжников? — выкрикнул, подлетая как-то бочком, Василий Андреевич.

— Точно так-с…

— Молчать! — вдруг взвизгнул своим тенорком Василий Андреевич. — Вы позорите мундир… слышите ли? — мундир, который вы носите… Взятки, вымогательства, грабёж… Мерзость… Мне всё известно…

— Позвольте доложить… — пролепетал заседатель.

— Молчать! Под суд… Разбойник… Для вас серой куртки мало… В остроге сгною!.. — продолжал Василий Андреевич, не помня уже себя от гнева,

и продолжал выкрикивать слова в упор, то отступая, то снова наскакивая, словно бы собираясь заклевать заседателя.

Господин Прощалыжников трепетал. Он трепетал отчасти искренно, отчасти и с некоторой, не лишённой виртуозности искусственностью, понимая, что в подобных случаях лишний трепет, как лишняя ложка масла в каше, дела не испортит.

И когда Василий Андреевич уже истощил весь свой заряд гнева и остановился, тяжко дыша и не зная, что ему теперь ещё сделать с господином Прощалыжниковым, господин Прощалыжников всё продолжал ещё трепетать и всей фигурой, и замирающим взглядом своих серых глаз.

Эта покорность несколько смутила Василия Андреевича.

— Что можете сказать в своё оправдание? Но помните… мне всё известно! — отрывисто прибавил он.

— Осмелюсь доложить… клевета… Интриги… Это всё корреспондент…

— Что? Какой корреспондент?

— Подучен другим человеком, желающим на моё место… Извольте приказать собрать сведения… Все обыватели меня одобряют…

— Что вы говорите… Какой корреспондент?.. Корреспондент! — вдруг озлился Василий Андреевич. — На вас жалобы со всех сторон.

— Ваше превосходительство… Не погубите!..

— Немедленно подавайте в отставку… Вы более не заседатель… Ступайте!

Прощалыжников ушёл, понурив голову, а Василий Андреевич ещё постоял секунду в зале и, заметив в полу-растворённой двери гостиной жену, привлечённую шумом, не без гордости взглянул на неё, как бы приглашая её убедиться, простофиля ли он, или нет, — и прошёл к себе в кабинет с видом победителя.

— Я покажу, как шутки шутить! — повторял расхорохорившийся старик, присаживаясь к столу. — Я их подтяну!.. Ужасно трудно с этими мерзавцами иначе вести дело…

«Ах, тяжела ты, шапка Мономаха!» — вздохнул Василий Андреевич и, случайно взглянув на портрет какой-то хорошенькой женщины, вспомнил о Петербурге и ещё раз пожалел, что судьба забросила его в этот отвратительный Жиганск.

— Господин Сикорский! — доложил ему вошедший курьер.

— Проси сюда! — проговорил Василий Андреевич и, уткнувшись в бумаги, лежавшие перед

ним, принял сосредоточенный, строгий вид погружённого в занятия человека.

Худой, как спичка, низенький и тщедушный на вид господин, лет под пятьдесят, с умным и серьёзным лицом, бесшумно, словно крадучись, вошёл в кабинет.

Он на секунду приостановился, бросил быстрый взгляд на склонившуюся над бумагами и всё ещё рдевшую лысину его превосходительства и, едва улыбнувшись своими тонкими бескровными губами, вместо того, чтобы идти к столу, тихими шагами отошёл к окну.

Несмотря на скромно-почтительную позу, в какой он стоял, выжидая, пока Василий Андреевич окончит свою невинную игру в занятия и обратит на него внимание, этого скромного господина никак нельзя было признать за одного из тех чиновников, которые искренно замирают в присутствии начальства. В его несколько аффектированной скромности не было ни раболепия, ни страха. В ней просто-напросто сказывался житейский такт хорошо дисциплинированного человека, понимающего людей и умеющего отойти, когда нужно, в сторону.

Всё в нём — и холодный взгляд тёмных глаз, глубоко засевших в тёмных впадинах, с резко

очерченными седыми бровями, и что-то угрюмое, озлобленное и в то же время приниженное в выражении худого и бледно-жёлтого лица, напоминавшего физиономию отца-иезуита, и глубокие морщины — свидетели бурь и невзгод — на гладко выбритых плоских щеках и на лбу, и саркастически подобранные губы, точно смеющиеся над человеческою несправедливостью, — всё, кончая мягкими, кошачьими манерами, поношенным, но хорошо сидящим костюмом и свежим бельём, показывало в нём человека, знавшего лучшие времена и если и стоявшего в сдержанно-почтительной позе, как теперь, то не в кабинете жиганского чиновника, а в приёмной гораздо более важных лиц и не в таком скромном костюме. Всё намекало, что перед вами человек, потерпевший серьёзное крушение в жизни и вынесший оттуда, кроме хороших манер, немало и озлобления.

Это был Михаил Яковлевич Сикорский, когда-то заметный деятель в Петербурге, обретший, после громкого и скандального процесса, тихую пристань в Жиганске. На счастье его, Василий Андреевич, знавший Сикорского ещё во время его блестящей карьеры, обласкал и пригрел «пострадавшего за своё доверие к людям человека»

(так, по крайней мере, объяснял Сикорский своё появление в Жиганске), устроил ему место, и скоро Сикорский сумел сделаться необходимым человеком у его превосходительства. Умевший работать хорошо и толково, он был и домашним секретарём, помогавшим Василию Андреевичу в затруднительных случаях, и интимным человеком, которому Василий Андреевич поверял свои служебные скорби и с которым вспоминал петербургскую жизнь и прежних общих знакомых.

Стоустая молва утверждала, будто господин Сикорский имеет на его превосходительство влияние, и влияние будто бы не особенно хорошее. Трудно сказать, каким образом возникла эта молва. Сам Сикорский не подавал к этому ни малейшего повода. Он не только не афишировал своих отношений к Василию Андреевичу, но, напротив, скрывал их и старался быть в тени, всегда понимая, что для человека в его положении скромность есть действительно необходимая добродетель.

И, однако, все жиганцы были уверены, что Сикорский играет роль злого гения при добром, но бесхарактерном Василии Андреевиче, и всё нехорошее в его деятельности приписывали влиянию этого Мефистофеля.

Самолюбивый старик раздражался этими слухами и, пока они не шли дальше Жиганска, не придавал им значения. Но письмо из Петербурга, сообщённое Марьей Петровной, произвело на старика сильное впечатление.

Вот почему он, обыкновенно ласково и радушно встречавший являвшегося каждое утро Сикорского, сегодня нарочно не замечал его несколько минут и даже испытывал к нему неприязненное чувство.

Наконец он поднял голову и, будто удивлённый, проговорил:

— А, вы уж здесь? Я и не заметил…

Сикорский почтительно поклонился.

— Я принёс бумагу, о которой вы изволили говорить вчера, — произнёс Сикорский официальным тоном, подходя к столу и пожимая протянутую ему руку.

— Дайте-ка.

Сикорский подал, и Василий Андреевич начал её читать.

На этот раз бумага показалась ему написанною не так, как следует, и карандаш Василия Андреевича разгуливал по ней. Сикорский посматривал, и только по временам чуть-чуть улыбался.

— Эту бумагу надо совсем исправить. Здесь не то, совсем не то, о чём я просил вас! — заметил брюзгливым тоном его превосходительство.

— Я переделаю, — скромно ответил Сикорский.

— Нет, уж лучше я сам напишу… Надеюсь, я ещё писать не разучился, а то, пожалуй, скажут, что без вас я и бумаги не могу составить! — усмехнулся Василий Андреевич.

Сикорский, отлично изучивший Ржевского-Пряника и уже успевший прочесть корреспонденцию, хорошо знал, «откуда идёт сие», и в ответ на его замечание только изумлённо взглянул на него, не проронив ни слова. По-прежнему невозмутимо серьёзный, он стал откланиваться.

— Куда вы? — остановил его Василий Андреевич.

— Я боюсь помешать вам.

— Всё равно, де́ла не переделаешь… Его по горло. Присядьте-ка, Михаил Яковлевич, да закуривайте сигару… Старки недурны. Кстати, мне нужно переговорить с вами… Читали вы эту мерзость? — указал старик на скомканный номер газеты…

— Читал…

— Узнаёте автора?

Сикорский скромно заметил, что не знает.

— Об этом мы после поговорим… Эти пасквили всё ещё бы ничего. Ну клевещи на порядочных людей, пиши кляузы, — сибиряки ведь недаром кляузники. Но вот что худо: эти нелепые слухи повторяются в Петербурге… Сегодня я получил два конфиденциальных письма! — прилгнул старик для большей убедительности. — И знаете ли, кого называют моим негласным советником?..

— Это любопытно… Кого?

— Вас!

— Меня?!

Сикорский воскликнул это «меня» с таким натуральным изумлением и затем так искренно рассмеялся своим тихим смехом, что у Василия Андреевича отлегло от сердца.

Он и сам почувствовал нелепость такого предположения и засмеялся в свою очередь.

— Знают же они вас! — прибавил Сикорский, с сокрушением пожимая плечами.

— То-то и есть, а между тем запрашивают: правда ли? Все эти мерзости идут, разумеется, отсюда. Вы ведь знаете, как здешние чиновники не любят меня?.. Не ко двору я им… Не даю воли…

— Патриотизм сибирский! — насмешливо вставил Сикорский. — Им всем хочется, чтобы плясали по их дудке…

— Именно… именно… патриотизм сибирский… — повторил Василий Андреевич. — В думе вот тоже… Вот они и кляузничают с этим Шайтановым во главе… Доберусь я до этого Шайтанова… Это всё он… Да… Их тут целая шайка…

— И, надо отдать справедливость, хорошо сплочённая… с газетой к их услугам…

— Нечего выдумывать, так давай пустим слух о влиянии… Прежний знакомый бывает у меня, и… поднимается целая история.

— А в Петербурге, конечно, не знают всей этой подкладки! — снова вставил Сикорский.

— Узнают! Я напишу… Мне уж надоело… Пусть поймут, каково бороться здесь порядочному человеку… Но пока, знаете ли, Михаил Яковлевич, надо быть осторожным…

Старик остановился, смущённый. Но Сикорский с своим обычным тактом пришёл к нему на помощь.

«Он давно замечал, что многие недовольны за то, что Василий Андреевич удостаивает его, несчастного страдальца, своим знакомством… Он глубоко ценит доброту Василия Андреевича и никогда в жизни не забудет, чем он ему обязан…»

У Сикорского дрогнул голос, и слеза повисла на реснице.

— Но если из-за меня, — продолжал он, — являются неприятности, то я не должен пользоваться вашей добротой… Увольте меня от обязанностей вашего секретаря, отнимите и место, которое даёт мне кусок хлеба… Он, видно, стоит другим поперёк горла… Быть может, они тогда перестанут клеветать на вас!

Произошла довольно трогательная сцена. Василий Андреевич, тронутый такою бескорыстною преданностью, прослезился и горячо обнял Михаила Яковлевича.

— Бедный страдалец! — шептал добрый старик, легко приходивший в умиление, и смахнул слезу.

Разумеется, он не согласится на такие жертвы. И ради кого? Ради каких-то интриганов, подкапывавшихся под него! Он, слава богу, не боится никого. Ему нужны хорошие работники; здесь, между сибиряками, их не найдёшь, и он требует, чтобы Михаил Яковлевич занимал прежнее место. И место домашнего секретаря пусть остаётся за ним, и прекращать посещений не следует. Он согласен только на одно: чтобы Михаил Яковлевич ходил к нему не каждый день, а раза два в неделю.

— Ради этих мерзавцев я не намерен лишать

себя полезного сотрудника и приятного общества! — прибавил старик.

Он повеселел и несколько раз повторил, что напишет в Петербург всю правду об «этих сибиряках». А с корреспондентом он разделается…

— Вероятно, писал Подушкин, но главная язва — это Шайтанов. Никто, как он мутит. Я ведь всё знаю… Знаете ли, составьте-ка записку… То, что я говорил… Именно об этом сибирском патриотизме… Вот вся подкладка… Им хочется, чтобы я плясал по их дудке!.. — повторял старик только что сказанные слова Сикорского. — Отсюда и систематическое обличение. Непременно набросайте записку и, если возможно, поскорей!.. — вдруг заволновался Василий Андреевич.

Сикорский обещал написать.

Вслед за тем совсем уж повеселевший Василий Андреевич, жалуясь, что забот у него по горло, что в первом часу надо на заседание, стал, по обыкновению, болтать. Он рассказал, как вчера начальник отделения Феомпестов напутал, подсмеялся над своим ближайшим помощником, передразнил одного начальника особой части и почему-то припомнил анекдот о каком-то князе Петре Николаевиче Троекурове.

— Знаете… Это тот самый Петька Троекуров, ко-

торый съел огромное состояние, получил другое и женился на Феньке-цыганке… Помните, какая красавица-то была? — И старик даже крякнул и поцеловал кончики пальцев. — А голос… голосто… Из-за неё ведь граф Борис Забиякин стрелялся с Петькой… Я у него секундантом был…

Василий Андреевич, питавший особенную слабость к воспоминаниям о титулованных лицах и знавший родословные чуть ли не всех княжеских и графских фамилий, припомнил и второго брата, Василия Троекурова, служившего в дипломатах, но забыл, как звали третьего, и досадовал, что не мог припомнить.

— Ещё на актрисе провинциальной женился… помните?

— Так это Фёдор Троекуров! — вспомнил Михаил Яковлевич.

— Ну да… Фёдор… Тоже добрый парень был… Только ретроград… Он у себя в губернии…

Дверь отворилась, и вошёл курьер.

— Господин Подушкин!

— Проси в приёмную… Так он у себя в губернии всех в страхе держал… И ведь любили! Да… Вот бы какого сюда! — рассмеялся старик. — Да, кстати, не знаете — пароход пришёл?

— Кажется, пришёл час тому назад…

— Так вот что… С партией должен прибыть один молодой человек, Невежин… Помните, ещё в газетах было о нём… стрелял в жену… О нём мне писала его мать… славная женщина, урождённая княжна Холмская, из бедных Холмских… Просила оставить здесь, принять в нём участие… У меня тут и деньги для него лежат… Так будьте так добры, поезжайте к полицеймейстеру и попросите, чтобы Невежина тотчас бы освободили и прислали ко мне… Вот опять, пожалуй, скажут, что пригреваю ссыльного…

Сикорский встал, чтобы идти.

— Так смотрите же, Михаил Яковлевич, насчёт записки… Сибирский патриотизм и все их шутки… Я, наконец, потерял терпение… Да вот ещё что… Не в службу, а в дружбу. Купите конфет для жены и пришлите. Она сегодня не в духе… Эти дурацкие письма взволновали и её…

Сикорский уехал не совсем довольный известием об этом Невежине, а Василий Андреевич приказал курьеру позвать к себе в кабинет господина Подушкина.

— Я ему покажу, как писать корреспонденции! — подбадривал себя старик, чувствуя, к сожалению, что весь гнев его уже выдохся, и Подушкин, пожалуй, может напакостить.

Вместо того чтобы встретить вошедшего грозным напоминанием о «двадцати четырёх часах» и нагнать на него страху, Василий Андреевич, напротив, принял господина Подушкина очень приветливо, с любезной, несколько фамильярной простотой, с какой добродушный и светский старик обыкновенно принимал всех, когда находился в хорошем расположении духа.

На этот раз, впрочем, и другие соображения играли роль. Василий Андреевич хотел позондировать господина Подушкина, а если сразу наброситься на человека, то, пожалуй, и запугаешь. Старик любил иногда притвориться необыкновенно тонким дипломатом.

Правда, он обещал своей воинственной супруге «посвоему» расправиться с корреспондентом, но ведь не будет же Марья Петровна знать, о чём они говорят! Кто помешает ему потом изобразить сцену свидания в том свете, который бы свидетельствовал о непреклонности его превосходительства? Она слышала, как он пушил Прощалыжникова, и, следовательно, не усомнится… Гарантировав себя таким образом на случай запросов жены. Василий Андреевич извинился, что побеспокоил «молодого человека», и, пригласив его присесть, таинственно и серьёзно

проговорил, приподнимая очки, спустившиеся на нос:

— Будьте осторожны, молодой человек!

Смуглый «молодой человек» с круглым, добродушным, румяным лицом, окаймлённым чёрными, как смоль, вьющимися волосами, скромный и смирный банковский чиновник, не знавший за собой никаких провинностей, которые бы напоминали ему об особой осторожности, остановил на его превосходительстве свои изумлённые большие чёрные глаза.

— Я дружески хотел вас предупредить… Будьте осторожны, молодой человек! — ещё таинственнее и серьёзнее, понижая голос, прибавил Василий Андреевич.

— В чём?.. Я, кажется… — промолвил господин Подушкин, невольно испытывая смущение от этого таинственного начала.

Василий Андреевич, заметив смущение на лице молодого человека, был очень доволен своим дипломатическим подходом и продолжал:

— То-то — «кажется», а мне всё известно… И не хочу знать, а знаю…

— Но что же именно, ваше превосходительство?

— Вы в переписке с редактором «Курьера»? — не

то вопросительно, не то утвердительно заметил Василий Андреевич.

— Как же, он мой знакомый! — простодушно отвечал господин Подушкин.

— Ну, вот видите! — с живостью подхватил старик. — Видите, что мне всё известно. Так слушайте внимательно, что я вам скажу, молодой человек. Из Петербурга мне пишут, что этот господин не на хорошем счету… Понимаете? Из-за какого-нибудь простого письма долго ли до беды… Я вам по-дружески всё это, чтобы осталось между нами… Как бы за корреспонденции того… не досталось вам… Конечно, я ничего не имею против них, хоть вы меня и не гладите по головке, но там они производят нехорошее впечатление. Так я дружески пригласил вас и снова повторяю: будьте осторожны, молодой человек!

Старик, внезапно сочинивший всю эту историю, не без торжествующего вида посмотрел на молодого человека, но был крайне удивлён, не заметив на его лице ни смущения, ни раскаяния. Его лицо улыбалось добродушнейшим образом, и он проговорил:

— Какие корреспонденции? Я никаких корреспонденций не писал, ваше превосходительство!

Василий Андреевич подмигнул глазом, будто

говоря: «Ладно, рассказывай — меня, брат, не проведёшь!».

— Ей-богу же, не писал, ваше превосходительство!

— Да что вы меня всё титулуете… Мы здесь с вами частные люди, сидим вот и беседуем. Напрасно вы скрываете. Мне отлично известно, что вы писали… Ну и скажите прямо: писал… В этом ничего нет предосудительного… Пишите с богом… Я, если хотите, дам вам отличный материал…

— Даю вам честное слово, что не я! — проговорил, весь вспыхивая, Подушкин. Василий Андреевич опешил.

— Не вы?

— Не я.

— Так кто же?

— Ну, уж это не моё дело! — обидчиво возразил господин Подушкин.

— Да вы не сердитесь, голубчик… Ну не вы… Я верю… Меня ввели в заблуждение, но, быть может, вы частным образом писали редактору что-нибудь, а он составил корреспонденцию… Ведь я не против… Пусть пишет, но пусть пишет правду… Я первый поклонюсь ему за это в ноги; но писать пасквили… говорить, что будто на меня

имеют влияние разные проходимцы…

— Ничего подобного я не писал…

— Верю… верю, и в доказательство попрошу вас об услуге. Сообщите редактору, что его самого вводят в заблуждение.

И Василий Андреевич стал рассказывать, кто и почему им здесь недоволен, пустился в откровенности, объяснял, как ему здесь трудно, и в конце концов заметил:

— Вот говорят, будто Сикорский имеет на меня влияние… Ведь говорят?

Господин Подушкин дипломатически молчал.

— Ну скажите правду… ведь говорят?

— Говорят…

— Так я вам скажу, молодой человек, что всё это вздор! — горячо начал старик. — Вздор-с. Пошлые сплетни и больше ничего… Я знал Сикорского раньше, ну и всё… Ну дал там ему местечко… Жаль человека… Хоть и замаран хвост у него, а всё-таки жаль… Но он у меня в струне ходит… Понимаете-с, — в струне! — строго заметил старик. — Всяк сверчок знай свой шесток… Я не позволю, чтобы там хоть и несчастный, но проворовавшийся барин смел даже и подумать о влиянии… И я уполномочиваю вас, если хотите, написать обо всём этом редактору… Для меня

правда дороже всего…

Василий Андреевич долго ещё говорил на эту тему и, признаться-таки, с довольно лёгким сердцем поругивал господина Сикорского. В заключение беседы он выразил удовольствие, что имел случай ближе познакомиться с господином Подушкиным, просил заходить к нему запросто и обещал ему дать много любопытного материала, если бы он захотел писать корреспонденции.

Господин Подушкин, несколько тронутый такою откровенностью, уклонялся, однако, от корреспонденции, но Василий Андреевич, прощаясь с ним, снова повторил:

— Непременно напишите… Доброе дело сделаете… Писать правду всегда можно, даже должно… И меня не щадите, если я того заслуживаю!.. — прибавил его превосходительство. — Но только чтобы была правда, и только одна правда… Ну, до свидания. Да смотрите, чтобы этот разговор был между нами…

«Кто же, однако, писал эту подлую корреспонденцию?» — недоумевал Василий Андреевич и, взглянув на часы, заметил, что уже двенадцать часов и пора завтракать.

Бойкой походкой вошёл он в столовую и, садясь за стол, проговорил:

— Ух… устал… Столько работы, столько работы… А этого Подушкина я распушил… будет помнить! — вдруг прибавил он, обращаясь к Марье Петровне, угрюмо сидевшей за самоваром. — Впрочем, оказывается, что это не он писал… Он только знаком с редактором.

— Так за что же ты распёк Подушкина, если это не он писал? — спросила придирчивая Марья Петровна.

— За что, за что!.. — смешался старик. — Вообще… Их необходимо подтянуть, ma chérie.

Марья Петровна пожала плечами и тяжко вздохнула, словно бы этим вздохом хотела пожаловаться, что у неё такой муж.

А Василий Андреевич занялся завтраком, шутил с детьми, бросал по временам тревожные взгляды на жену и, убедившись, что она сегодня окончательно не в духе, торопливо допил стакан чаю и пошёл в кабинет досиживать своё многотрудное служебное утро, проговорив на ходу:

— Ужасно много дел… ужасно много…

— Не забудь написать, о чём я просила! — подчеркнула Марья Петровна.

— Напишу… напишу… А знаешь, Невежин приехал…

— Ну так что ж?

— Ничего. Я велел ему прийти… Послать его к тебе?.. Ты ведь знавала его мать…

— Я и его знавала… Пожалуй, пришли! — кинула небрежно Марья Петровна. — Бедный молодой человек! — тихо прибавила она и снова вздохнула.

VIII
На новых местах

1

Во время дороги по этапу, в арестантской барже, при остановках в грязных клоповниках, Невежин до некоторой степени понял, что значит «ссыльный». Хоть по сравнению с другими арестантами он пользовался бóльшими удобствами в качестве привилегированного, тем не менее это невольное путешествие произвело на него глубокое впечатление. Он сознавал себя приниженным, находящимся в полной зависимости от произвола ка кого-нибудь грубого офицера, и мысль, что он на многие лета, если не навсегда, обречён на подобную жизнь, по временам доводила его до отчаяния. Он, мечтавший о новой жизни, искренно желавший покончить с прошлым, спасовал перед первым испытанием и, преувеличивая в испуганном своём воображении ужасы ссылки, не раз плакал как ребёнок, лёжа в своей узкой койке на барже. Утешительные слова нескольких спутников, что «и в Сибири люди живут, и живут недурно», плохо действовали на него, и он

приехал в Жиганск совсем павший духом.

Тем более подействовал на него приветливый приём Ржевского-Пряника, и в особенности ласковое участие, оказанное ему Марьей Петровной. Невежин был тронут этим вниманием, столь не похожим на холодное, безучастное отношение разных мелких начальствующих лиц, с которыми ему пришлось сталкиваться во время пути. Это его несколько подбодрило и утешило, представляя ссылку не в таком мрачном цвете.

Василий Андреевич тотчас же объявил Невежину, что отлично знал его отца («вместе, молодой человек, отличались под Балаклавой»[27]) и танцевал не раз мазурку с его maman, обещал пристроить молодого человека при первом удобном случае и, передавая письмо с двумя тысячами, с отеческой лаской посоветовал дома их не держать.

— Здесь ведь не Петербург, mon cher, живо обокрадут. И ещё дружеский совет: не играйте с незнакомыми в карты. Тут шулеров — пропасть…

Невежин был несколько изумлён при виде денег. Он отлично догадался, что это от жены, и

---

[27] Примечания: 27

«…вместе, молодой человек, отличались под Балаклавой». — Сражение 13 октября 1854 года под Балаклавой во время Крымской войны.

первой его мыслью было — не брать их. Но он вспомнил, что у него в кармане всего сто рублей, что пока ещё он найдёт место, и… взял.

«На всякий случай!» — утешил он себя, рассчитывая их вернуть.

Его превосходительство просил Невежина заходить, если что понадобится («по утрам он всегда принимает»), и затем повёл его в гостиную и сдал на руки Марье Петровне, ласково промолвив:

— Ну вот и приехал наш молодой человек… Посоветуй ему не особенно скучать… Утешь его…

Марья Петровна и без просьбы мужа готова была утешить этого дьявольски красивого молодого человека из хорошего общества, и притом ещё с такой романической таинственной историей, о которой она читала в газетах. Она встречалась с ним в Петербурге, когда ещё он был холостой, и теперь приняла его как старого знакомого, с тем фамильярно-нежным, покровительственным участием, которое так любят оказывать перезрелые сорокалетние барыни «из общества», имеющие пылкие сердца и старых мужей, «несчастным» молодым людям, конечно, «порядочным» и, само собой разумеется, не уродам.

— Кто мог бы ожидать, что нам придётся встретиться здесь, мосье Невежин! — заговорила

по-французски Марья Петровна, принимая подходящее к данному случаю грустное выражение и протягивая, в знак особого сочувствия, свои обе белые, пухлые, холёные руки молодому человеку. — О, боже, как вы похудели… Сколько должны вы были выстрадать, бедный! — продолжала Марья Петровна, любуясь красивым, несколько бледным и утомлённым лицом и всей стройной фигурой этого интересного молодого человека.

Тронутый Невежин крепко пожимал протянутые руки и благодарил за участие.

— Садитесь, садитесь сюда, поближе ко мне… Рассказывайте мне всё, всё, как другу, как матери, принимающей в вас самое горячее участие… Если б вы знали, как я была поражена… Здорова ли ваша maman? Воображаю, как на неё подействовало всё это…

Невежин, вместо того чтобы рассказать «всё», ещё раз поблагодарил за сочувствие и прибавил, что maman была здорова, когда он оставил Петербург.

— А она, эта женщина, разбившая вашу молодую жизнь? — продолжала допрашивать Марья Петровна в качестве сочувствующего друга и большой любительницы всяких романических историй.

Невежина немного смутило это слишком бесцеремонное выпытывание внезапно объявившегося «друга», с которым он встречался раза два в обществе, но он объяснил его добрым чувством и поспешил ответить:

— Моя жена не виновата во всей этой печальной истории.

— Я читала… Она забыла, что чувство свободно! — промолвила Марья Петровна и вздохнула, откинув чуть-чуть назад свою голову.

— Во всём виноват один я!

— О, понимаю, я вас понимаю… Вы джентльмен до конца ногтей… Вы не хотите обвинить жену. Это благородно… Это так благородно, так редко в наше прозаическое время, когда совсем нет рыцарского отношения к женщине… Увы! Мы этим не избалованы!

И, вероятно, в награду за такое благородство Марья Петровна подарила Невежина нежным томным взглядом и, кокетливо поправляя причёску, прибавила:

— Она приедет сюда?

— Нет, — коротко отвечал Невежин.

— Я так и думала… После всего, что случилось… Бедный!.. Так молоды, и… Однако что ж это я? — спохватилась вдруг Марья Петровна, заметив по

лицу Невежина, что ему не особенно приятны эти допросы. — Вы меня простите… Моя нескромность — не любопытство, а горячее участие… Мы, впрочем, после поговорим обо всём, когда покороче познакомимся… Надеюсь, вы не откажете мне в доверии, когда узнаете меня поближе?

Невежину оставалось только наклонить голову в знак согласия.

— Ведь у вас здесь никого нет знакомых?

— Ни одной души!.. — грустно промолвил Невежин.

— Так я вас возьму под своё крылышко и постараюсь, насколько возможно, облегчить вам жизнь в этой ужасной дыре, пока мы здесь, если только вам не будет скучно иногда заглянуть к такой старухе? — не без кокетства прибавила Марья Петровна, предвкушая заранее удовольствие интимных дружеских бесед с таким изящным молодым человеком. Своей красотой, манерами, полными скромности и изящества, и безукоризненностью французского выговора он совсем очаровал с первого же раза Марью Петровну, напрасно искавшую в Жиганске таких кавалеров, и заставил её живее почувствовать жажду жизни и вспомнить, что Василий Андреевич — совсем плюгавый старикашка, умеющий только её раз-

дражать и отравлять ей жизнь.

Невежин был слишком светский человек, чтобы не понять, что его вызывают на протест.

Он очень мило протестовал. И протест этот не был с его стороны банальным комплиментом.

Он успел оглядеть свою собеседницу и нашёл, что она просто рисуется, называя себя старухой.

Какая она старуха?

Она глядела совсем моложавой, эта выхоленная, благоухающая, очевидно, заботящаяся о себе, любезная светская барыня, в своём летнем изящно сшитом простеньком платье, полупрозрачная ткань которого, обливая перетянутый бюст, рельефно обрисовывала высокую полную грудь, оставляя открытой белую шею. Её румяное, дышавшее здоровьем лицо с крупными чертами и пышными чувственными губами, подёрнутыми пушком, не утратило ещё красоты и свежести, большие чёрные, слегка подведённые глаза метали ещё искорки неудовлетворённых желаний, а чёрные волосы, гладко зачёсанные назад, были пышны и густы. При внимательном взгляде можно было, правда, заметить веерообразные морщинки у глаз и ту пробивающуюся желтизну лица, которая свидетельствует об увядающей красоте, но это не мешало однако Марье Петровне

быть одною из тех женщин, которые нередко приводят в восторг юнцов и старичков.

— Вы заходите ко мне, если вам сделается скучно… Мы поскучаем вместе, поговорим… вы облегчите своё горе… Я понимаю чужие страдания… Я сама так много, так много испытала в жизни… Если, как вы говорите, я не кажусь совсем старухой, то единственно благодаря моему характеру… Я умею терпеть… Каково, подумайте, жить в этой трущобе, где нет людей? А мы живём в этой добровольной ссылке пять лет… Надеюсь, впрочем, что она скоро окончится; вероятно, мужу дадут другое назначение, а пока мы здесь поможем друг другу коротать её вместе… Хотите?.. Я надеюсь, мы будем друзьями — не правда ли?

И Марья Петровна протянула свою руку, которую Невежин поднёс к своим губам.

Марья Петровна стала вспоминать о Петербурге, расспрашивала об общих знакомых и, когда наконец Невежин поднялся с кресла, снова просила навещать её.

После ухода Невежина Марья Петровна несколько времени ещё сидела в каком-то томном раздумье на диване, потом поднялась, подошла к трюмо, взглянула на себя с особенной

внимательностью, вздохнула и пошла в кабинет к мужу.

— Непременно надо устроить этого несчастного молодого человека, cher Basile! — заговорила Марья Петровна таким мягким, кротким тоном, что cher Basile удивлённо вскинул на жену глаза из-под очков. — Он такой порядочный, этот Невежин…

— Я непременно его пристрою…

— Где?

— Да где-нибудь в канцелярии, или попрошу Артемия Васильевича взять молодого человека к себе… Он возьмёт с удовольствием, если только у него есть вакансия… Хоть наш почтенный Артемий Васильевич и глуп, как «сорок тысяч братьев», но зато добр, как ангел! — пошутил его превосходительство, почувствовавший добродушное настроение при виде жены в хорошем расположении духа.

«Ты-то — орёл!» — подумала Марья Петровна, но вслух этого сегодня не сказала, а только сделала недовольную гримаску.

— Нашёл куда запрятать Невежина… Хорошо для него общество этих чиновников твоего Артемия Васильевича… Ты бы лучше Невежина взял к себе… По крайней мере, порядочный человек

был бы около…

— Но куда же к себе, матушка?..

— Сделай его своим домашним секретарём… А то этот Сикорский!.. Из-за него одни неприятности… эти толки о влиянии… Про Невежина никто не посмеет этого сказать… И, наконец… он сослан за такое дело, которое не заставляет краснеть человека… Как ты об этом думаешь cher Basile? — прибавила Марья Петровна, присаживаясь около Базиля и ласково заглядывая ему в глаза. — Старуха Невежина будет очень благодарна, если молодой человек будет в хороших руках… Под твоим наблюдением он приучится к делу…

— А что ж, это недурная мысль… Я ведь сам об этом думал…

— Ну вот и отлично!.. — улыбнулась Марья Петровна.

— Только не сейчас… Сикорский мне пишет одну важную записку…

— Я не говорю, что сейчас… Пусть молодой человек оглядится…

— Ну да… да… В самом деле, это ты умно посоветовала, моя милая Marie… Очень умно, по обыкновению! — галантно прибавил старик, целуя у жены руку.

В эту самую минуту раздался стук в двери, и

после позволения войти в кабинет вошёл Сикорский с конфетами в руках.

По приветливой улыбке, сиявшей на его лице, никто бы и не догадался, что Сикорский, простоявший лишнюю минуту у дверей, слышал весь этот разговор.

Он передал коробку Василию Андреевичу, почтительно поклонился Марье Петровне и с самым невинным видом проговорил, обращаясь к его превосходительству:

— Господин Невежин был у вашего превосходительства?

— Как, же, был… Благодарю вас, Михаил Яковлевич, за исполнение моей просьбы. А вы видели Невежина?

— Видел. Я сам ездил в тюремный замок вместе с полицеймейстером… При мне его освободили… Он так был рад, пресимпатичный молодой человек. Он производит превосходное впечатление.

— Да, да! И на нас тоже он произвёл хорошее впечатление!

Сикорский вслед за тем откланялся, и Василий Андреевич, передавая жене конфеты, промолвил в раздумье:

— Услужливый этот Сикорский и, кажется, истинно предан нам!..

2

Невежин сперва поместился в гостинице, а через несколько дней переехал в одну из дальних улиц и поселился в двух небольших комнатах маленького домика, принадлежащего старушке, вдове чиновника.

Несмотря на ласковый приём в доме Ржевского-Пряника, Невежин продолжал хандрить и сиднем сидел у себя дома.

Мысль о том, что ему придётся вечно жить в этом захолустье, отравляла его существование. Он решительно не знал, что ему делать, как начать новую жизнь, как быть полезным, как он обещал той чудной девушке, образ которой жил в сердце, заставляя его сильнее биться при воспоминании о ней. Ах, если б она побыла здесь, поддержала его!

На что он способен? К чему приготовлен? — не раз спрашивал себя Невежин и с горьким чувством сознавал, что он ни к чему не приготовлен и едва ли сумеет заработать себе кусок хлеба.

Прошёл месяц, а он всё ещё ничего не делал в ожидании обещанного места у его превосходительства и по-прежнему скучал в своей квартирке, которую он убрал не без комфорта

и изящества, читал, катался верхом и изредка посещал Марью Петровну, но с ней держал себя осторожно, не пускаясь в откровенности, несмотря на видимое её желание быть другом молодого человека.

Прелести Марьи Петровны не смущали его, хоть он, взглядывая на неё, и находил, что для Жиганска она «бабец ничего себе».

Был седьмой час вечера на исходе. Томительный зной жаркого июльского дня начинал спадать.

Невежин сидел за письменным столом в небольшой уютной комнате, служившей ему кабинетом, приёмной и столовой, и писал. Лицо его было оживлённо; глаза горели восторженным блеском.

Он исписывал уже четвёртую страничку своего длинного послания к Зинаиде Николаевне Степовой, а всё не было конца письму. Он описывал дорогу, передавал свои первые впечатления, жаловался на скуку, на беспомощность и неумение работать, но главным образом благодарил, изливаясь в восторженных отступлениях, за память, за весточку, за доброе отношение.

Он получил это первое письмо от Зинаиды Николаевны сегодня утром и, радостный и умилён-

ный, снова почувствовавший прилив бодрости и добрых намерений, перечитывал несколько раз небольшое письмецо, полное искреннего расположения и доброй товарищеской ласки.

Она советовала ему не унывать, рекомендовала поближе познакомиться с сибиряками и отнестись к ним без предвзятой мысли и писала, между прочим, что в далёкой Сибири и ему найдётся, конечно, дело. Он может быть полезен, если захочет, в этом всеми забытом краю, где так мало образованных людей. О себе она вскользь сообщала, что была не так здорова, но теперь поправилась.

Квартирная хозяйка уже несколько раз заглядывала в полуотворённую дверь и всё не решалась беспокоить своего жильца. А самовар давно кипел на кухне, стряпка второй раз уж подливала воду, и Степанида Власьевна сокрушалась, что жилец так долго сидит, не разгибая спины, когда пора пить чай.

Это была низенькая, крепенькая и бодрая ещё старушка, несмотря на свои шестьдесят лет, которые она с честью вынесла на своих плечах, невзирая на заботы и лишения, выпавшие на её долю после того, как она осталась вдовой с тремя подростками и с очень незначительными

средствами, оставленными мужем, чиновником. Хотя муж её и занимал довольно хлебное место, состоя при крепостном столе, и мог бы оставить не один только маленький домишко и тысчонки три денег, а гораздо более, но он не принадлежал к числу бессовестных хапуг. Правда, он брал взятки, чтобы чем-нибудь пополнить мизерное жалованье, получаемое им, но брал «на совесть» и не томил просителей. Даст — ладно, а не даст — бог с тобой.

Когда Невежин явился к Степаниде Власьевне нанимать квартиру, она приняла его с бесхитростной лаской, как родного, благодаря письму своей племянницы, Зинаиды Николаевны, просившей приютить молодого человека.

Она недорого взяла с него за квартиру, кормила на убой, сокрушаясь, что молодому человеку, привыкшему, как она выражалась, к «петербургским тонкостям», не понравится её сытная свежая стряпня, непритворно ужасалась, когда узнавала, что Невежин переплачивал при покупках, и дивилась, что он бросает деньги зря.

Она жалела молодого человека и, замечая, что он хандрит, старалась чем-нибудь утешить его, выдумывала какое-нибудь новое печение, захаживала к нему под каким-нибудь деликатным

предлогом и советовала как-нибудь развлечься. Иногда, после настойчивых приглашений жильца, она выпивала у него чашку-другую чаю и любила расспрашивать про Петербург, охая и дивясь, когда ей Невежин говорил про тамошнюю дороговизну. Но более всего любила Степанида Власьевна слушать про разных высокопоставленных особ, как они живут, что делают и тому подобное; Невежин, случалось, коротал вечера с этой доброй простой старушкой. Прощаясь с ним, она всегда ласково говорила:

— А вы, Евгений Алексеич, не очень-то скучайте… Бог даст, привыкнете… Да с огнём осторожнее… Не дай бог — пожар! — неизменно прибавляла Степанида Власьевна, вечно боявшаяся пожара.

Постояв у дверей, старушка вышла на двор, прошла в маленький садишко с огородом, внимательно осмотрела всходы овощей и, вернувшись в дом, приказала подлить самовар и затем решительно вошла к Невежину.

— Да будет вам, Евгений Алексеич!.. Эка засиделись… К спеху, что ли?.. Пора чай пить.

Невежин поднял голову и взглянул на часы.

— А и в самом деле засиделся… Завтра окончу… Знаете ли, от кого я получил сегодня письмо?

От Зинаиды Николаевны! — весело проговорил Невежин вдогонку уходившей старушке.

— Ну, что она? Как там живёт? — спрашивала Степанида Власьевна, возвращаясь с подносом вслед за стряпкой, вносившей самовар. — Давно что-то мне Зиночка не писала! — продолжала старушка, расставляя на столе прибор, печенье и сливки. — Вот попробуйте… взварные крендельки. Уж я и не знаю, понравятся ли вам? Вы, чай, привыкли к разным там петербургским пирожным.

— Понравится, наверное понравится! — с улыбкой промолвил Невежин. — Зинаида Николаевна пишет, что была нездорова, но теперь поправилась. Да вы что ж это, милая Степанида Власьевна, всё сами беспокоитесь? Присаживайтесь-ка лучше да выпьем чайку вместе.

Степанида Власьевна присела, и в её добрых глазах засветилась радостная улыбка при виде весёлого и довольного Невежина.

— Вот вы сегодня не такой, как всегда. Так-то и лучше! Да прогуляться бы после чаю вышли. Ишь благодать-то какая! Ныне на редкость-то у нас лето; всего, говорят, господь уродил. Овощь дёшева будет. Так что же Зиночка-то хорошего пишет? Раньше писала, что приедет сюда, да, видно, так

только. Места-то здесь находить, батюшка, трудно. Да и после Питера, чай, соскучится у нас.

Степанида Власьевна выпила чашку, налила другую и проговорила, понижая голос:

— Ну, как… не беспокоит вас новый жилец? Комната-то его рядом с вашей спальной…

Невежин сказал, что не беспокоит.

— Не нравится он мне, уж скажу вам по правде, Евгений Алексеич… Да что поделаешь: очень разборчивой быть не приходится. По крайности, комната занята. Шесть рублей платит. Состояние моё, сами знаете, невелико, а сынков, пока в Москве учатся, надо поддержать. После же мать добром вспомнят! — с чувством прибавила старушка. — И деньжонки, что покойник оставил, целы будут.

— Чем же вам не нравится новый жилец?

— Да как вам сказать… Дурного про него я ничего не могу сказать… Человек, кажется, вежливый, но только странный какой-то…

Старушка выдержала паузу и прибавила, понизив голос:

— Дни спит, а по ночам сидит.

— Читает, верно.

— Бог уж его знает…

— Пожара, видно, боитесь? — улыбнулся Неве-

жин. — Кто он такой?

— Говорит — приезжий, из Красноярска. Из ссыльных тоже… Фамилию-то я запамятовала. Однако заболталась я с вами, а у меня тоже свои дела есть, — промолвила, вставая, Степанида Власьевна. — Благодарю за угощение, Евгений Алексеич!

В эту минуту в комнату вошла стряпка и, подавая Невежину письмо, сказала:

— Конный привёз.

— Верно, опять вас в гости к генералу зовут… Вы не отказывайтесь — поезжайте, Евгений Алексеич… Всё веселей, чем дома сидеть! — посоветовала старушка.

Записка в самом деле была от генерала. Он просил «милейшего Евгения Алексеевича» приехать, если можно, тотчас же к нему на дачу по весьма важному делу.

Невежин улыбнулся (он уже не раз получал такие записки), однако тотчас же стал собираться.

Через четверть часа Невежин уже ехал верхом на своём, недавно купленном «киргизе» по дороге в Ускоково — деревню верстах в десяти от Жиганска.

Сейчас же за городом дорога пошла лесом. Невежин полною грудью вдыхал славный, чистый

воздух, пропитанный вечернею свежестью, запахом скошенной травы и смолистым ароматом леса.

Приближались сумерки, и вечерние тени стали постепенно окутывать безмолвный зелёный лес, озарённый на западе багряным светом заходящего солнца. Кругом стояла тишина. Лишь изредка шарахались дрозды, постукивал запоздалый работник-дятел, да уныло выкуковывала кукушка.

Невежин пустил горячего коника рысью и, проехавши несколько вёрст, снова поехал шагом. Он опустил поводья и невольно задумался, переносясь мыслью далеко-далеко от этого леса, как совершенно для него неожиданно из-за кустов вышли два человека.

Они были плохо одеты, по-крестьянски, с котомками вроде ранцев за плечами и с дубинками в руках. На поясе у одного был котелок.

Невежин вздрогнул от их неожиданного появления, подобрал поводья и машинально взялся за револьвер.

— Подайте Христа ради бродяжкам! — проговорил, выступая вперёд, один из путников.

Невежин устыдился за свой страх и остановил коня.

— Издалека идёте? — спросил он, подавая се-

ребряную монету.

Старый, по-видимому, бродяга с большой тёмной бородой сперва перекрестился и, надевая шапку, проговорил:

— С каторги, родимый, с каторги. Христос тебя спаси! Из-под Кары! А вот товарищ мой свеженький. Не успел приехать из Расеи, как уже соскучился по ней! — весело прибавил бродяга.

Невежин взглянул на «свеженького» — рыжего высокого человека, и лицо его показалось ему знакомым.

— Вместе, господин Невежин, на барже плыли! — проговорил, подходя, рыжий. — Только я тогда с бородой был. Не понравилась Сибирь! Опять в Питер захотелось! Одолжите прежнему спутнику что-нибудь на дорогу!..

Невежин припомнил спутника. Это был один из обитателей петербургских трущоб, ночной рыцарь, судившийся не раз за кражи и наконец сосланный на поселение за грабёж. Он всем рассказывал свою историю и выпрашивал денег, хвастаясь, что прежде был чиновником и что у него дяденька генерал.

Невежин дал денег бывшему спутнику и пустил коня, несколько удивлённый этою лёгкостью встреч с бродягами.

Минут через десять он уже входил к генералу.

Василий Андреевич благодушествовал на балконе. Он тотчас же объявил Невежину, что он наконец может исполнить своё обещание и предлагает ему место своего секретаря.

Невежин с радостью согласился, надеясь, что в этой должности он может быть полезным. Дело было покончено с двух слов.

— Очень, очень рад, что всё так устроилось! — говорил старик, которому жена не давала покоя с этим Невежиным. — Ну, а теперь пойдёмте к жене… она на вас сердится, что вы нас совсем забыли… Оправдывайтесь! — пошутил старик.

Марья Петровна приняла Невежина любезно, но не с прежнею интимностью.

— Что вас не видать? Уж не нашли ли в Жиганске каких-нибудь развлечений? — иронически спросила она.

Невежин ответил, что сидел больше дома, а Василий Андреевич весело прибавил:

— Теперь он уж не будет букой… Обязанности службы заставят его бывать чаще у нас… Рекомендую — новый секретарь!

Невежин был особенно оживлён этот вечер. Он весело болтал за чаем с Василием Андреевичем, рассказывал о своём заграничном путешествии,

сообщил несколько анекдотов, заставивших от души смеяться старика, потом сел за фортепиано и очень мило сыграл несколько пиес Шопена.

А Марья Петровна слушала эту нервную музыку и сама немножко нервничала. Любуясь этим кудрявым, красивым молодым брюнетом, она мечтательно вздыхала не то от волнения, не то от досады, что Невежин, по-видимому, не замечает её искреннего участия и не откликается на её призыв к дружбе.

А ей бы так хотелось дружбы, чистой, святой дружбы, — мечтала сорокалетняя барыня, бросая украдкой далеко не «святые» взгляды на молодого человека.

Марья Петровна взяла с него слово, что он приедет на днях на целый день. Они погуляют вместе — она покажет ему прелестные места, если только он любитель природы.

Когда Невежин собрался домой, его не хотели отпускать в город без провожатого.

— Возьмите конного стражника. Одному ехать небезопасно, — предлагал ему Василий Андреевич.

— Не ездите один. Ни за что! — говорила Марья Петровна.

Но Невежин не соглашался.

— И луна светит, и револьвер есть у меня! — проговорил он, прощаясь.

Через час уж он подъезжал к своей квартире.

Калитка была, против обыкновения, отворена, и, когда он вошёл в неё, ведя за собой лошадь, из-за дома вышла какая-то фигура и быстро проскользнула мимо него.

Он не обратил на неё особенного внимания, но ему показалось, что эта фигура похожа на того рыжего, которого он встретил на дороге.

— Вздор! — проговорил он вслух. — Зачем ему быть здесь! — и, разбудив дворника, отдал ему лошадь и минут через десять бросился в постель.

Скоро он заснул, но под утро проснулся.

Какой-то странный шум раздавался в соседней комнате. Он стал прислушиваться. Снова тот же тихий шум, точно резали чем-то по твёрдому телу.

Невежин раздумывал, что бы это значило, и, решив, что сосед, быть может, от скуки занимается слесарным ремеслом, скоро заснул опять крепким сном молодости.

IX
Один из сибирских «чумазых»[28]

1

Исполнив желание Марьи Петровны, Василий Андреевич не имел пока причин жаловаться.

Молодой человек, не знавший, куда девать своё время, горячо принялся за новое дело, занимаясь им с усердием новичка, впервые увлёкшегося работой. Работал он скоро, умел схватывать на лету мысли, приходившие в голову его превосходительству, и излагал их не без некоторого стилистического изящества, быстро усвоив тот изысканно канцелярский слог, которым щеголяют чиновники, воспитавшиеся в петербургских канцеляриях. Бумаги Невежина читались легко и были всегда литературны, впрочем, настолько, насколько требовали бюрократические традиции, и Василий Андреевич, убедившись в способностях Невежина и пользуясь его усерди-

---

[28] Примечания: 28

Один из сибирских «чумазых». — *«Чумазый»* — так называл М. Е. Салтыков-Щедрин деревенских кулаков и денежных воротил, ставших опорой экономических и политических порядков жизни после реформы 1861 года.

ем, не оставлял его без дела, обрадованный, что есть кому обрабатывать детально всевозможные предначертания, неожиданно осенявшие его голову.

Тут надо заметить, что у его превосходительства, как и у многих администраторов, особенно приезжающих в не столь отдалённые места из Петербурга, был какой-то неудержимый зуд к составлению разных записок и проектов, свидетельствующих, разумеется, о добрых намерениях и вместе с тем о совершенном незнакомстве с краем и местными условиями. Каких только мыслей не являлось у Василия Андреевича в тиши кабинета, мыслей, направленных ко благу губернии, которую, кстати сказать, он так же мало знал в действительности, сколь превосходно знал по бумагам!

Но Василий Андреевич обладал изрядной ленцой и не всегда имел терпение поверять бумаге плоды своих административных дум. К тому же и Сикорский умел как-то сдерживать бумажные увлечения его превосходительства, зная очень хорошо, что ему же придётся разрабатывать детально, приискивая данные в разных местных канцеляриях, все эти записки и прожекты, и в конце концов узнать, что их в Петербурге про-

чтут, улыбнутся и положат под сукно…

Теперь же, при новом и ретивом секретаре, никакой сдерживающей узды не было, и его превосходительство с увлечением предался охватившему его бумажно-реформаторскому порыву.

Он покажет, чёрт возьми, свою прозорливость и дальновидность. Пусть там, в Петербурге, увидят, сколь трудно успешно работать в этом диком крае!

И Василий Андреевич со свойственной ему, как бывшему военному, решительностью бросался от одной темы к другой. То «набрасывал» своим крупным чётким почерком на полулисте почтовой бумаги мысли об улучшении низшей администрации, «связывающей самые лучшие предначертания», то вдруг увлекался инородцами, то бросался к санитарному вопросу, то трактовал о переселенческом деле, предоставляя честь разрабатывать все эти краткие и не всегда разборчивые наброски своему новому секретарю.

Дела было много, и притом Василий Андреевич умел как-то усложнять его своею суетливостью. Часто случалось, что Невежин едва лишь успевал собрать данные по какому-нибудь «вопросу», как уж Василий Андреевич задавал новую работу,

оказывавшуюся, по обыкновению, всегда спешной и крайне важной Невежин не протестовал и принимался за новую, стараясь по возможности ознакомиться с «вопросом» по бумажным источникам.

Целый месяц работал так наш молодой человек, не окончив ни одного «вопроса», как однажды Василий Андреевич сказал ему, подавая листок исписанной бумаги:

— Надо составить объяснительную записку к этому конфиденциальному письму. В канцелярии дадут справки, но ещё лучше, если вы обратитесь за ними к Сикорскому. Он знает, в чём дело. Кстати, вы знаете здешнего туза Толстобрюхова?

— Видел как-то раз.

— Не правда ли, типическое рыло? Ха-ха-ха… Из мужиков, батюшка, из мужиков, а теперь миллион у этой канальи… Плут отъявленный!

Невежин, успевший пробежать набросок конфиденциального письма, в котором его превосходительство ходатайствовал за этого «каналью» и «отъявленного плута», был несколько озадачен.

— Все они здесь такие… не удивляйтесь, но у этого «мосье Толстобрюхова» есть всё-таки, знаете ли, добрые чувства… я убедился в этом… Он

не сутяга и, au fond[29], добрый мужик… следует только не давать ему повадки. Ещё недавно, когда Marie собирала на свои благотворительные учреждения, он пожертвовал пять тысяч, и Marie не нахвалится им. Он обещал ей ещё целый приют устроить. Так вот этот самый мосье Толстобрюхов был у меня на днях и просил о помощи. Дело, видите ли, в том, что этот господин несколько лет тому назад был привлечён к делу и по суду оставлен в подозрении. Здесь немало таких «подозрительных»! — заключил его превосходительство. — Чёрт его знает, насколько он виноват, но, во-первых, это было давно, и, во-вторых, он уверяет, что невинен… Во всяком случае он искупил свою вину и заслуживает ходатайства… Так вы проштудируйте дело, поговорите с Сикорским и составьте записку. Пора простить старика…

— Он, право, заслуживает участия! — вставила Марья Петровна, входя в кабинет и вслушиваясь в разговор. — А пока пойдёмте, господа, пить кофе. Да ты, Basile, совсем замучил бедного Евгения Алексеевича. Я его совсем не вижу… Всё за работой да за работой! Смотрите, Невежин, я наконец рассержусь! — полушутя, полусерьёзно приба-

---

[29] Примечания: 29
В сущности (*франц.*).

вила Марья Петровна, бросая на этого Иосифа Прекрасного взор, полный немого красноречия Пентефриевой жены[30].

При этом она с грустью вспомнила и лесную прогулку, и катанье при лунном свете вдвоём, и многозначащие пожатия руки.

Но он точно ничего не понимал, этот каменный молодой человек, и словно избегал оставаться с ней вдвоём.

«Уж не боится ли он моего пентюха?» — нередко думала сорокалетняя красавица, ревниво выдёргивая редкие седые волоски в своих пышных волосах и вглядываясь всё чаще и печальнее в зеркало, словно оно могло дать ей ответ: почему Невежин при виде её сохранившихся прелестей не загорается страстью, — увы! — давно уже охватившей бедную женщину и всё сильнее и сильнее разгоравшейся под впечатлением холодного отпора.

---

[30] Примечания: 30

…бросая на этого Иосифа Прекрасного взор, полный немого красноречия Пентефриевой жены. — Выражение «Иосиф Прекрасный» в значении целомудренного юноши возникло из библейского рассказа о Прекрасном Иосифе, которого безуспешно пыталась соблазнить жена египетского царедворца Пентефрия.

2

Пока Невежин, к ужасу Степаниды Власьевны, не разгибая спины, штудировал громадное дело о купце второй гильдии Кире Пахомове Толстобрюхове, заглянем в тихую обитель Кира Пахомыча и поближе познакомимся с одним из сибирских «козырей», пользовавшимся репутацией весьма почтенного человека среди большинства таких же «почтенных» жиганских коммерсантов.

Девятый час утра.

Кир Пахомыч давно встал, напился чаю с мясными пирожками и теперь сидел в маленьком своём кабинете, одетый в длинополый потёртый сюртук наподобие кафтана и бойко действовал толстыми огрубелыми пальцами, щёлкая костяшками на больших счётах. Он проверял лежавший перед ним на письменном столе месячный красиво переписанный отчёт своих многочисленных операций.

Должно быть, результат оказался хорош, ибо Кир Пахомыч, окончив проверку и бережно спрятав очки в футляр, весело крякнул и проговорил:

— Баланец слава тебе господи! А у Антипа Васильевича, поди, не такой. Однако подъегорит его нонече ярманка!

И его широкое, угреватое, тупорылое лицо с крупным мясистым носом и толстыми губами перекосилось в злорадную усмешку, и в заплывших жирком небольших серых глазах блеснул недобрый огонёк. Что-то спокойно хищническое и самоуверенное сказывалось во всей этой широкой кряжистой фигуре и слышалось в том тихом смехе, который раздался вслед за произнесёнными им словами.

— То-то хвост подожмёт. А то, поди ты!

В это время дверь кабинета отворилась, и в комнату вошёл один из служащих конторы Кира Пахомыча. Осторожно и боязливо ступая по комнате, видимо, побаиваясь Кира Пахомыча, конторщик подал хозяину письмо и тихо удалился.

Кир Пахомыч не спеша надел очки и стал читать. И по мере того, как он читал, лицо его становилось угрюмее и злее.

А между тем в этом письме было всего несколько строк следующего содержания:

«Милостивый государь, Кир Пахомыч!

Неужто вы не пожалеете безвинно вами погубленного человека? Из-за вас я страдаю, потеряв и честь, и средства к

существованию. Сколько лет я втуне к вам обращаюсь, и нет ответа. Помогите, пришлите хоть денег за все злосчастия, мною испытуемые. Письмо посылаю с оказией, питая надежду, что вы наконец ответите и сжалитесь.

Известный вам

Антон Тимофеев».

Кир Пахомыч ещё раз перечёл не без труда эти крупно написанные строки и только потом заметил, что в конверте была ещё следующая записка:

«Милостивый государь, Кир Пахомыч!

Письмо г. Тимофеева доставляю вам в копии. Подлинник находится у меня. Соблаговолите известить с посланным, когда могу передать его вам, если только вам угодно его получить и иметь более подробные объяснения.

С почтением имею честь быть

Николай Келасури».

Кир Пахомыч спрятал оба письма в карман и позвонил.

Вошёл тот же тихий и робкий конторщик.

— Кто принёс письмо?

— Какой-то человек — еврей, должно быть.

— Пошли его сюда!

Через минуту вошёл худенький старичок-еврей.

Кир Пахомыч пытливо взглянул на него и сказал:

— Кто тебя послал?

— Господин Келасури.

— Из каких он? Я что-то такого не слыхал.

— Из ссыльных, Кир Пахомыч, но только, осмелюсь доложить вам, очень образованный господин. Очень…

— Скажи ему, пусть побывает у меня вечером, в девять часов.

Старик еврей исчез, а Кир Пахомыч несколько времени сидел погружённый в раздумье.

— Ишь, подлецы! — наконец злобно проговорил он.

И старая, давно забытая история невольно пронеслась перед Киром Пахомычем.

История, о которой теперь вспомнил Кир Пахомыч, сидя в своём стареньком жёстком кресле перед письменным столом, была, пожалуй, одной из самых невинных «историй» в тёмном, как тайга, прошлом сибирского туза и миллионера.

Не попади эта неприятная записка в руки какого-то подозрительного незнакомца, которого Кир Пахомыч сразу заподозрил в недобрых намерениях относительно своего кармана, он, конечно, не стал бы терять времени на такие пустяки, как воспоминания.

Как человек практический, не имевший дурной привычки считаться с совестью и приучившийся долгим опытом мерить всё и всех на деньги, он и вообще-то не любил вспоминать кое-какие эпизоды из своего прошлого, тем более, что они уже слишком пахли острогом, а с тех пор, как он постепенно из «Кирьки — варнацкой души» сделался почтенным и уважаемым Киром Пахомычем, и подавно все эти эпизоды как-то затерялись в памяти, прикрытые давностью и общим почётом и уважением.

Если Кир Пахомыч и вспоминал иногда о своём прошлом, то вспоминал всё хорошие вещи, рассказывая не без заносчивого, горделивого чувства, как он был прежде последним мужиком и как благодаря своим трудам и терпению сделался богачом, который за свои деньги может купить кого угодно.

Само собой разумеется, что, повествуя под пьяную руку о своих трудах, Кир Пахомыч, по

примеру некоторых автобиографов, о многом умалчивал, кое-что недосказывал, предоставляя слушателям обширное поле для догадок и, по-видимому, нисколько не заботясь о том, что посторонние люди не получат точных сведений о первоначальном источнике его богатства.

Так, например, рассказывая, что ему шибко повезло на ямщине (цены в те поры на перевозку клади стояли хорошие), Кир Пахомыч деликатно обходил молчанием один предшествующий эпизод в его жизни, бывший с ним в то время, когда он молодым парнем служил ямщиком на одной из станций сибирского почтового тракта и за вороватый и отчаянный нрав приобрёл кличку «варнацкой души». Хотя Кир Пахомыч и упоминал вскользь, что возил «кульеров» и был ничего себе ямщиком, но никогда не проговаривался, как одною тёмною осеннею ночью он остановил лошадей и, снявши у крепко заснувшего седока-доверенного, неумеренно выпившего на станции, сумку с деньгами, зарыл её под кедром и преспокойно отправился далее, не забыв по приезде попросить у ополоумевшего доверенного на водку.

Он высидел, правда, месяца четыре в остроге, но был отпущен на все четыре стороны, отку-

пившись небольшой сравнительно долей из украденных им денег. А денег в сумке оказалось до трёх тысяч, и эти-то три тысячи и послужили основанием дальнейшему преуспеянию, попавши в умелые руки.

Вскоре после этого он для отвода глаз отправился на прииски, там, между прочим, выгодно скупал краденое золото, и когда, года через два, действительно занялся ямщиной, то ему, как он выражался, «шибко повезло», особенно после того, как на обоз, который он вёл сам, напали разбойники и отбили на значительную сумму чаёв. Это дельце, устроенное не без участья Кира Пахомыча, дало ему хороший барыш от перевозки, и хотя возбудило было подозрения, но Кир Пахомыч этим не смущался, зная очень хорошо, что деньги всё прикроют.

Вскоре после этого он пошёл в гору. Ходили тёмные слухи, будто в те же времена Киру Пахомычу повезла не одна только ямщина, но и партия хорошо изготовленных лондонских кредитных билетов, но слухи эти не подтвердились. По крайней мере, исправник, производивший негласное дознание и ездивший на заимку Кира Пахомыча, где — по чьему-то доносу — будто бы хранилась партия, клятвенно уверял, что все эти слухи

вздор, и в доказательство мог бы представить куш самых подлинных кредитных знаков, полученных им от Кира Пахомыча. Но он, впрочем, так далеко не шёл, а ограничился официальным изложением дела. И когда вслед за тем на заимку Кира Пахомыча приехал следователь и сделал настоящий обыск, то уехал ни с чем.

С той поры счастье не переставало ему везти. Он шёл уверенными, твёрдыми шагами к цели и рвал, где только было можно. Безнаказанность только увеличивала его дерзость, развивая в этом энергичном мужике презрение к людям и уверенность, что всякого чиновника можно купить. Он оставил однако насиженные места, где про него ходила не особенно лестная молва, и перенёс свою деятельность в Жиганскую губернию. Он записался в купцы, и скоро Кира Пахомыча считали одним из самых богатых жиганских обывателей. Целый округ был в руках у Кира Пахомыча. Сеть кабаков была раскинута им, и сам исправник побаивался Толстобрюхова, так как от него зависело, карать или миловать. Один исправник, неугодный Киру Пахомычу, даже слетел с места благодаря неудовольствию Кира Пахомыча за придирки. Это была сила, с которой надо было считаться.

Несмотря на наружное спокойствие точно застывшего в своём кресле Кира Пахомыча, он испытывал неприятное, досадливое чувство, когда ровно в девять часов в кабинет к нему вошёл высокий, хорошо одетый брюнет с лицом, сразу выдающим принадлежность этого господина к восточным человекам.

Красивый, статный, обладавший мягкими манерами человека, бывавшего в обществе, он не без апломба отрекомендовался строго и пытливо глядевшему на него хозяину Николаем Саркисовичем Келасури и, протянув руку с большим перстнем на пальце, проговорил с заметным акцентом восточного человека, что крайне рад случаю, доставившему ему удовольствие лично познакомиться с таким почтенным и уважаемым человеком, как Кир Пахомыч.

Но Кир Пахомыч молча выслушал это приветствие и знаком своей жилистой здоровой руки указал на стул, стоявший поблизости.

Несколько секунд длилось молчание, во время которого и гость, и хозяин оглядывали друг друга.

И только когда и тот и другой сделали, казалось, один другому безмолвную оценку, Кир Пахомыч сухо спросил:

— Вы здесь постоянно проживаете или проездом?

— Теперь постоянно…

— Тэк-с, тэк-с!.. — протянул Кир Пахомыч и небрежно прибавил: — Какое там письмо у вас, что вам понудилось меня видеть? Признаться, я хорошо не понял, какое у вас ко мне дело.

— Собственно говоря, пустое дело, Кир Пахомыч! Самое незначительное дело! — отвечал, приятно улыбаясь и открывая ряд блестящих зубов, господин Келасури. — И если я позволил себе обеспокоить вас, то единственно в видах вашего же интереса… Ко мне, как вам известно, доставлено письмо господина Тимофеева к вам, с просьбой самого Тимофеева попросить вас помочь ему. Обстоятельства его в настоящее время довольно трудные, и вы, конечно, как добрый человек, не откажете в его просьбе… Посылать его письмо к вам я не решался… Письмо, изволите знать, могло попасть в другие руки, так я предпочёл предварительно послать копию.

— Однако по каким правам этот Тимофеев лезет ко мне? Какой такой этот Тимофеев?

— Чиновник бывший, Кир Пахомыч… чиновник… Судился, если изволите припомнить, за кражу дела из суда и был приговорён.

— Так мне-то какое дело? — резко перебил Кир Пахомыч, и в его глазах блеснул огонёк.

— А уж этого я не знаю, Кир Пахомыч, право, не знаю! — ещё мягче проговорил восточный человек. — Я, собственно, из участия к несчастному человеку, обратившемуся к моему посредству.

— Где же его письмо? Дайте-ка посмотреть…

Господин Келасури вынул из кармана какую-то бумажку, но, однако, не передал её Киру Пахомычу, протянутая рука которого опустилась на стол и стала медленно отбарабанивать трель по столу, а попросил позволения прочитать её.

— Уж я читал! — остановил его Кир Пахомыч.

— То-то что не всё изволили читать, Кир Пахомыч… Я, видите ли, не решился послать копию всего письма из осторожности… Так не угодно ли будет послушать?

Кир Пахомыч презрительно усмехнулся и промолвил:

— Что же, читайте… Что там пишет какой-то Тимофеев… Чудно что-то всё это!

Тогда господин Келасури, тихо и не спеша, понизив голос почти до шёпота, прочёл письмо с следующей прибавкой, которой не было в копии:

«Вы очень хорошо знаете, Кир Пахомыч, за что я попал под суд… Не напои вы меня тогда, когда я польстился на ваши пять рублей и принёс к вам на дом дело, я не был бы теперь несчастным человеком… Я никак не думал, что вы поступите так жестоко и, воспользовавшись доверчивостью, бросите в печку дело у меня на глазах… Тогда, когда я ползал в ногах ваших, вы обещали выгородить меня и, во всяком случае, обеспечить мою семью, но вы нарушили слово и от всего отреклись… Я был наказан, а вы оставлены в подозрении. Справедливо!.. И все думали, что я получил от вас большую сумму. Снова взываю теперь к вашей совести: я в нищете с семьёй…

Помогите мне, вознаградите за всё, что вы сделали… Если же вы останетесь глухи, я буду просить передать это письмо губернатору и постараюсь отомстить вам. Последний раз пишу».

По мере чтения лицо Кира Пахомыча делалось суровее и бесстрастнее, и, когда господин Келасури окончил чтение, только движение личных

мускулов широкого, корявого лица Толстобрюхова выдавало его волнение. Но у него уже готов был план.

— Ловко подведено, нечего сказать! — проговорил он. — Только знаешь ли, брат, чем это пахнет? Это — вымогательство… А что, если я сейчас за полицией пошлю, ась? — вдруг пригрозил Кир Пахомыч и со злой насмешкой взглянул на восточного человека. — Пусть полиция разберёт, каково это приходить к людям и застращивать их, чтобы вымогать деньги…

Но «восточный человек», по-видимому, знал, с кем имеет дело. Он хоть и побледнел, но не без иронии заметил:

— Напрасно будете посылать за полицией: ведь подлинное письмо я не принёс… Оно у меня припрятано в надёжном месте, Кир Пахомыч.

Кир Пахомыч только бессильно крякнул и хрипло проговорил:

— Сколько?

— Вот так оно лучше, Кир Пахомыч, а то горячиться… это к чему же? Совсем не нужно. И должен вам сказать, что это письмо было бы вам особенно неприятно теперь, когда пишут доклад о вас в Петербург… Я имел случай познакомиться с делом и знаю, что новый секретарь Невежин,

которому поручено написать доклад, не на вашей стороне. Так это письмо вместе с мнением господина Невежина, пожалуй, и поколеблют генерала. Как вы думаете, Кир Пахомыч?

Кир Пахомыч смутился и с меньшей сухостью стал относиться к господину Келасури.

А тот между тем продолжал:

— В этом деле есть, собственно говоря, одно компрометирующее показание против вас — показание Тимофеева. Так если б его устранить…

Кир Пахомыч вздрогнул, но не отвечал ни слова.

— Это показание, говорю я, если бы уничтожить, так господину Невежину не на что было бы опереться в объяснениях…

— А как вы можете сделать это?

— Очень просто: я живу рядом с Невежиным, и когда его не будет дома…

Кир Пахомыч всё не отвечал и, спустя минуту, сказал:

— Так за письмо сколько?..

— Дёшево, Кир Пахомыч… Самые пустяки… Одну тысчонку… Пятьсот пошлю Тимофееву, и пятьсот — себе за хлопоты… Затем Тимофеев, после того как пошлют в Петербург бумагу, будет вам уж не опасен.

— Тысячу? За такие пустяки? Это как же? Бери три сотни и неси письмо…

Но господин Келасури даже обиделся и поднялся с места. Он раскланялся и уж дошёл до дверей, как Кир Пахомыч вернул его.

Сторговались на пятистах рублях. Келасури обещал на другой же день передать письмо.

— Но только уж вы сами потрудитесь приехать за ним, Кир Пахомыч! Я за полицией не пошлю! — усмехнулся господин Келасури. — Можно тогда переговорить и насчёт другого дельца! — прибавил восточный человек, раскланиваясь.

Он весело шёл домой, довольный, что так ловко обработал Кира Пахомыча, поймав его на удочку. Письмо, составленное им от имени Тимофеева, было делом его собственных умелых рук, отличавшихся способностью подделываться под всякие почерки. А с почерком Тимофеева он хорошо познакомился из дела, которое небрежно валялось на столе Невежина, и Келасури, бывший до сего времени в более отдалённых странах и слышавший от Тимофеева его историю, воспользовался теперь случаем хорошего шантажа, надеясь при случае повторить его…

Что же касается до самого Тимофеева, то хотя он время от времени и обращался с просьбами о

помощи к Киру Пахомычу, но у него никогда и не являлось мысли застращивать погубившего его человека. Он был для этого слишком прост и слишком порядочен, этот бывший маленький пьяненький чиновник.

Оставшись один, Кир Пахомыч встряхнул головой и, прохрипев по адресу только что ушедшего гостя непечатное ругательство, задумался. Скоро, однако, лицо его просияло. Хорошая мысль блеснула в его голове, и он отправился спать, решившись назавтра поговорить с полицеймейстером: нельзя ли силой отобрать у Келасури компрометирующее его письмо и выпроводить его из Жиганска.

«Верно, этот мошенник недобрыми делами занимается!» — возмутился даже почтенный Кир Пахомыч, обдумывая свой план оплести шантажиста и за более дешёвую цену приобрести письмо.

X
Добрая старушка

В тот самый вечер, когда «восточный человек» имел свидание с Толстобрюховым, Степанида Власьевна торопливо взошла к Невежину и както таинственно проговорила, понижая голос:

— Вот что, Евгений Алексеич… Осмотрите-ка хорошенько, целы ли ваши вещи…

— Что случилось, Степанида Власьевна? Зачем мне осматривать вещи? — спросил Невежин, удивлённо взглядывая на озабоченное лицо доброй старушки.

— А то и случилось… Недаром не нравится мне этот черномазый… Завтра же откажу ему! — продолжала старушка, внимательно оглядываясь по сторонам. — Уж вы, пожалуйста, Евгений Алексеич, осмотрите-ка у себя в ящиках. Долго ли до греха… Уходите из дому — дверей не запираете; здесь, батюшка, всякого отчаянного народу много… На то и Сибирь!

— Да у меня и осматривать-то особенно нечего, Степанида Власьевна…

— Ну однако… На одном столе-то сколько

вещей!.. И зачем вы вот этот портсигар не спрячете? — упрекнула старушка, указывая на большой серебряный портсигар, лежавший на столе. — Всегда он у вас здесь валяется. Не носите его, так лучше спрятать. То-то, видно, вам, петербургским богачам, добра своего не жалко! — ворчала Степанида Власьевна, беспокойно следя, как Невежин осматривал ящики письменного стола и комода.

— Ну, вот видите — напрасная тревога. Всё цело! — объявил Невежин.

Но Степанида Власьевна тем не менее не успокоилась, а напротив, ещё таинственнее покачала головой.

— Странно, очень странно! — протянула она.

— Да вы успокойтесь, Степанида Власьевна. Присядьте-ка лучше да расскажите, в чём дело.

— Присесть-то я присяду, а только дело совсем щекотливое. Никогда не бывало у меня такого подозрительного жильца, как вот этот! — сердито сказала старушка, энергично махнув маленьким кулачком по направлению комнаты, в которой жил черномазый. — Пьяницы, признаться, живали… ну, шумливый, беспокойный народ — это правда, но чтобы какая-нибудь, можно сказать, низкость — этого, слава богу, не случалось. Да и Прасковья-то наша сдурела, ведь только вот

сейчас рассказала про его все таинственности… Однако и её ругать нельзя, если рассудить по совести, хотя, признаться, я и намылила ей голову! — вставила старушка. — Ей тоже не в догадку, видите ли, зачем это он усылает её именно тогда, когда ни меня, ни вас нет дома. Непременно завтра же велю ему убираться. Пусть он оставит нас в покое! — снова сердито прибавила Степанида Власьевна, поправляя сбившийся на затылок старенький, затасканный чепец. — Что ему нюхать по чужим комнатам!

— Да разве он нюхал, как вы говорите? — вставил, улыбаясь, Невежин, рассчитывая, что этот вопрос приведёт расходившуюся старушку к скорейшему изложению дела.

— То-то и есть, что нюхал, и, должно быть, не один раз… Нет ли у вас здесь каких-нибудь врагов, Евгений Алексеич? — совсем неожиданно спросила Степанида Власьевна, видимо, старавшаяся найти объяснение мучившей её загадки.

— Едва ли! — усмехнулся Невежин. — Я здесь почти никого не знаю.

— И я полагаю, что так. И с какой стати иметь вам врагов?.. Кому вы мешаете? Нет, тут, видно, что-нибудь другое… Покойник муж мой всегда говорил: со всех сторон, говорит, Стешенька,

вещь разгляди, и так и этак, тогда, говорит, найдёшь и причину. Так вот, ушла я, видите ли, часу в седьмом проведать одну знакомую. Утром на базаре стряпка её мне сказывала, что барыня заболела, — простыла, вернувшись с поля, — так я и пошла посидеть к ней. Тоже ведь больному человеку скучно одному, да ещё безо всякого призору. К бедному больному человеку кто пойдёт! — простодушно вставила старушка, словно бы оправдываясь, что она ушла со двора. — Вас дома не было, так я уж без вас вашу-то комнату своим замком заперла, а ключ отдала Прасковье. Хорошо-с. Как только я за ворота, черномазый-то этот к Прасковье: «Сходи, говорит, в булочную, на Большую улицу, сухариков сладких купить. Там, говорит, очень хорошие сухарики!» — и запер за ней двери. А этому, с позволения сказать, варнаку вовсе не сухарики нужны были.

Старушка перевела дух и, не замечая, по-видимому, нетерпения своего слушателя, с прежнею обстоятельностью продолжала:

— Прошло этак, должно быть, с четверть часа, как Прасковья ходила, вернулась домой, стучится, а он что-то долго не отворяет. И покажись Прасковье, будто в вашей комнате кто-то ходит. Думает: вы дома, и давай шибче стучать. И по-

слышалось ей, будто замок запирают; вслед за тем раздались шаги, и двери отворил ей черномазый. Принял это он сухарики, дал ей гривенник и ушёл к себе. Прасковья подошла к вашей комнате, глядит — на запоре; попробовала замок, а замок-то не замкнут — впопыхах-то забыл, верно, подлый человек, запереть. Тогда Прасковья — за ключом; видит — ключ не на том месте, куда она его положила… Ну, замкнула она комнату как следует, а у самой — сомнения… Как я пришла домой, она мне всё и рассказала. Оказывается, что не в первый раз это он её усылал. Наверное, он что-нибудь недоброе затевает! — заключила Степанида Власьевна свой рассказ.

Невежин вспомнил странные звуки по ночам, раздававшиеся прежде в комнате соседа, вспомнил ночную встречу с подозрительной фигурой, напомнившей ему того рыжего, которого он видел вместе с бродяжкой на дороге в Ускоково, и рассказ Степаниды Власьевны вместе с этими фактами приобретал в его глазах некоторое значение.

«Но если бы меня хотели обокрасть, то давно бы обокрали!» — подумал Невежин, недоумевая вместе со Степанидой Власьевной о цели этих непрошеных посещений соседа.

— Уж не дело ли интересует любопытного соседа? — проговорил смеясь Невежин, машинально переводя взгляд на толстое дело, лежавшее на столе. — Впрочем, к чему оно ему?

— Какое дело? — торопливо переспросила Степанида Власьевна.

— Да вот о Толстобрюхове.

— О Толстобрюхове, Кире Пахомыче? Что ж, видно, нехорошее это о нём дело?

— Не очень хорошее, Степанида Власьевна! — засмеялся Невежин.

— И вы держите его на столе и уходите со двора, не запирая даже комнаты?! — испуганно воскликнула Степанида Власьевна. — Что вы, что вы, Евгений Алексеич! Как можно, батюшка? Сохрани бог, вы ещё невинно в беду попадёте! Ведь этот самый Толстобрюхов первый богач здесь… Он на всё решится… Покойник мой говорил, что такого отчаянного человека и между разбойниками не скоро найдёшь… Из-за него уж погиб один пьянчужка-чиновник. Богачу-то ничего, а каково чиновнику-то с семьёй? Бог-то правду видит, да не скоро скажет! Кто их знает, быть может, и черномазый-то за сухариками из-за этого самого дела посылает!.. Ах, какой же вы неосторожный, Евгений Алексеич… Спрячьте, спрячьте его по-

скорей, — волновалась старушка чиновница, как видно, хорошо знавшая опасность хранения сибирских дел. — Сейчас же спрячьте!

Невежин, несколько изумлённый такой настойчивостью испуганной старушки, однако, послушался и запер в ящик дело.

— Так-то оно лучше, а и ещё того лучше — совсем не держать дел у себя.

— Завтра я его во всяком случае снесу.

— Кончили, значит?

— То-то нет… хочу посоветоваться…

— И не носите его домой лучше… А насчёт чего это дело? Оправить, что ли, хотят Кира Пахомыча? — полюбопытствовала старушка.

— Хотят-то хотят, но я хочу объяснить, что этого не следует…

Старушка любовно взглянула на молодого человека и, тихо покачивая головой, проговорила:

— Ох, Евгений Алексеич, как бы вы не напрасно хлопотали… Оправят его и без вас, если нужно…

В ответ на эти слова Невежин рассмеялся.

— Однако вы, Степанида Власьевна, мрачно на людей смотрите…

— Насмотрелась я, батюшка, здесь-то, насмотрелась… Вам-то снову оно, пожалуй, и не так видно. Не доводилось, как посмотрю, вам со вся-

кими людьми живать. Не то ещё увидите. Ну, да, впрочем, извините, батюшка, я старуха простая, мелю себе, что на ум взбредёт. Дай вам бог успеха. А уж завтра соседа у вас не будет… Довольно ему по чужим комнатам лазить. Только — знаете ли что — я этого ему прямо не скажу. Как вы думаете, ведь не следует говорить?

— Конечно, не следует.

— Ну вот, и я так думаю, как вы! — обрадовалась Степанида Власьевна. — Я ему скажу, что получила депешу, племянница, мол, едет. Хорошо будет так соврать?..

— Отлично.

— Бог даст, и в самом деле враньё-то в руку будет! Вот-то хорошо было бы!.. А уж очень-то хвалила вас Зиночка, — простодушно прибавила Степанида Власьевна, не замечая, какое хорошее впечатление произвели эти слова на молодого человека.

Старушка ушла, осмотрев предварительно со вниманием все болты в ставнях и посоветовав на ночь запирать изнутри дверь на задвижку, а Невежин долго ещё ходил по комнате, обрадованный, что эта девушка хвалила его недостойного, и какие-то смутные надежды невольно закрадывались, в его сердце.

Резкий звонок вывел его из задумчивости. Он заглянул за дверь и увидал телеграфиста.

— Не мне ли телеграмма?

— Нет, Степаниде Власьевне.

— Вот диковина. От кого бы это?.. Уж не случилось ли чего с сыновьями? — испуганно говорила Степанида Власьевна, принимая дрожащими руками депешу. — Страсть не люблю я этих депеш. Ну-ка, прочтите поскорей, Евгений Алексеич, а то без очков мне и не прочитать.

Невежин расписался в получении телеграммы и громко прочитал следующее:

> «Еду на „Ермаке“. Буду Жиганске субботу».

И ещё веселее и громче, голосом, полным волнения, прочёл подпись: «Зинаида Степовая».

— Ну вот и напророчила! — радостно воскликнула добрейшая старушка. — Ну вот и «суприз». Теперь и врать не надо. Прасковья, слышала? — обратилась она к Прасковье, которая, проводив телеграфиста, уже стояла в дверях с вытаращенными глазами по поводу такого неожиданного события, как получение её барыней телеграммы.

— А что? — испуганно отозвалась старая стряпка.

— Как что?.. Зиночка едет… вот что!

Едва ли сколько-нибудь привлекательное даже и в дни цветущей молодости, широкое, скуластое, с плоским носом, Прасковьино лицо, обыкновенно суровое и угрюмое, вдруг растянулось в самую добродушную улыбку. Казалось, всё лицо её улыбалось: и нос, и щёки, и подбородок, и большие, несколько напоминавшие тюленьи, глаза. И эта улыбка скрасила некрасивое лицо выражением любви и доброты.

— Зинаида Николаевна? — переспросила она и вдруг весело засмеялась. — Этого, значит, вон?

— Завтра же вон…

— Уж я ему сегодня скажу, как вернётся.

— И скажи… Однако извините, Евгений Алексеич, — спохватилась Степанида Власьевна, — мы тут-то у вас болтаем и только вам мешаем.

Но Невежин удержал старушку. Ему так хотелось поговорить о Зинаиде Николаевне. И они вдвоём долго ещё болтали о ней. Старуха тётка много рассказывала об этой доброй «славной Зиночке», вспоминая её гимназическую жизнь.

— Никогда не забывала она тётку-то свою! — прибавила, смахивая с глаз слёзы, растроганная старушка, заключая свои воспоминания. — И самой-то, должно быть, в Питере не сладко при-

ходилось, а она нет-нет да и пришлёт деньжонок либо мне, либо моим сыновьям. Редкая девушка Зиночка!..

Невежин долго не мог уснуть и всё расхаживал по комнате, мечтая о близком приезде Зинаиды Николаевны. Самые разнообразные планы сплетались в его голове, и будущая жизнь казалась ему полной смысла и значения, точно приезд этой девушки должен был совсем переделать его жизнь.

«А жена?» — пронеслась, как молния, мысль в его голове, и все эти смелые мечты о новом счастии разлетелись в прах. И мрачное настроение овладело молодым человеком.

Да, наконец, разве смеет он думать о счастии?.. Разве в ответ на его признание не ответила она, что не может разделить его чувства?..

Грустный, он лёг наконец спать, и долго ещё думал о своих отношениях к Зинаиде Николаевне. Как обыкновенно бывает с бесхарактерными людьми, быстро переходящими от впечатления к впечатлению, он скоро успокоился на мысли, что будет пользоваться дружбой молодой девушки.

«И это уж счастие!» — шептал он, засыпая с сладкими мечтами о таком счастии, которое, однако, рисовалось ему не в отвлечённой форме,

а воплощённое в красивом образе молодого, полного жизни, женского существа…

Он уже не различал, мечтал ли он, или в грёзах сна видит красивую, задумчивую девушку, как вдруг пронзительный лай на дворе разбудил его, рассеяв чудное виденье.

Собака вдруг смолкла. Невежин стал прислушиваться. Рядом раздавался храп соседа. Молодой человек собирался было снова заснуть, как вдруг до его слуха явственно донёсся тихий стук ставней в соседней комнате.

Невежин тихо приподнялся и стал слушать. Не было сомнения, что пробовали отворить окно.

Он ощупал под подушкой револьвер и, охваченный волнением, стал ждать, что будет дальше.

XI
«Сибирские» ощущения

Прошло несколько мгновений в напряжённом ожидании. После стуков, повторившихся несколько раз, вновь наступила мёртвая тишина. Но ненадолго. Через минуту Невежин, услыхав чьи-то осторожные шаги около дома, и вслед за тем тот же стук, но уже более смелый и громкий, повторился у следующего окна. Очевидно, нетерпеливая рука вора, рассчитывавшего на крепкий сон квартиранта, действовала уже слишком бесцеремонно.

Страстное желание новых ощущений, доселе никогда не испытанных, безотчётно охватило молодого человека, и в его уме быстро созрел план поймать вора.

Осторожно, стараясь не нашуметь, поднялся он с постели и перешёл в соседнюю комнату. Свет, проникавший сквозь щели ставней, позволил ему оглядеться в полумраке. Снова раздался стук у третьего окна. Тогда Невежин быстро подошёл к крайнему, четвёртому окну, выходившему на двор, чуть слышно вынул чеку из болта и, возбуж-

дённый, притаив дыхание, прижался в простенке между двумя окнами, испытывая ощущение, подобное тому, что испытывают страстные охотники, поджидая зверя.

Расчёт Невежина оказался верным. Через несколько мгновений раздались шаги и послышался стук. Ставень подался и полегоньку отворился с тихим скрипом. Бледный, слабый свет зачинающегося утра рассеял мрак комнаты, и снова наступила тишина.

Невежин чувствует, что сердце его бьётся чаще и что нервная дрожь пробегает по всему телу. Ему вдруг делается жутко. Разные рассказы об отчаянных сибирских грабителях, не останавливающихся перед убийством, невольно приходят в голову. Он упрекает себя в малодушии и крепче сжимает в руке маленький револьвер.

Струя сырого, холодного воздуха ворвалась в комнату через отворённое тихо окно. Невежин подобрался, повернул голову и ждёт, чувствуя, как закипает в нём злобное чувство к ближнему одновременно с волнением страха и какого-то странного любопытства.

Прошло несколько секунд томительного ожидания, пока из окна высунулась коротко остриженная, с маленькою плешью, рыжая го-

лова. Вслед за тем Невежин увидал безбородую, отвратительную рябую физиономию того самого рыжего, с которым Невежин вместе плыл на барже и потом встретился в лесу.

При виде этого героя петербургских трущоб молодой человек стал гораздо спокойнее и, не двигаясь, ждал момента, когда вор влезет в окно.

Не подозревая опасности, рыжий перелез в комнату и хотел уже двинуться далее, как вдруг, повернув голову, увидал перед собой Невежина с револьвером в руке, направленным в него.

Эта неожиданная встреча до того поразила рыжего, что он в первую минуту ошалел от изумления и глядел испуганным трусливым взглядом на молодого человека, словно бы спрашивая: что это значит?

— Если двинешься с места, пущу пулю в лоб! — внушительно проговорил Невежин, заметив движение рыжего броситься к окну.

Тот замер на месте, вздрагивая и беспомощно озираясь вокруг своими бегающими воровскими глазами.

— Ты один пришёл? — допрашивал Невежин.

— Один!

— Ты знал, что я здесь живу?

— Нет, не знал, ей-богу, не знал… Если б я знал,

то ни за что бы не полез к вам… Я тоже добро помню… А как же…

— Ты бывал здесь прежде?.. Помнишь, в ночь после того, как я тебя встретил в лесу? Я ведь узнал тебя…

— Это правда. Я заходил сюда…

— Зачем? Не к Келасури ли ты заходил?

Невежину показалось, что при этом имени лицо рыжего смутилось.

— Нет, я такого не знаю… Так заходил понаведаться — не лежит ли что плохо…

— Ты, брат, лжёшь, и я сейчас же выстрелом разбужу соседей!

— Не губите меня, господин Невежин, и я вам за это расскажу всю правду! — взмолился рыжий.

— То есть как это не губить?

— Дайте мне хорошую затрещину за мою неосторожность и отпустите меня… Клянусь богом, я сегодня же уберусь из Жиганска, будь он проклят!

Молодой человек, казалось, раздумывал.

— Какая вам польза, если вы меня задержите? — продолжал шёпотом рыжий. — Я ведь всё равно убегу… Только введёте меня в лишний расход на полицию да лишнего врага наживёте, а узнать — ничего не узнаете… Я ведь не вас

обкрадывать пришёл! — таинственно прибавил рыжий. — Дайте слово, что отпустите меня, и я вам услужу, а сам поскорей уйду из этого города. То ли дело в Питере?.. — заключил рыжий с циничесой усмешкой.

— Ну, чёрт с тобой, рассказывай! — проговорил Невежин, невольно заинтересованный.

— Я верю такому господину, как вы. Так слушайте: приходил я сюда за делом, которое лежит у вас на письменном столе.

— По поручению Келасури?

Рыжий утвердительно махнул головой и чуть слышно прошептал:

— Дело-то, господин Невежин, уберите поскорей. За выкрадку хорошие деньги дают… Да опасайтесь соседа… Я его ещё в Питере знавал. Он — отчаянный человек, даром что франтом одет. И очень ловок… Затем, с вашего позволения, я удалюсь! — униженно проговорил рыжий.

Невежин кивнул головой.

Рыжий быстро перелез через окно и, скрывшись в калитке, побежал по улице.

Молодой человек запер окно и, вздрагивая от холода, бросился в постель. Но заснуть уж он не мог от только что испытанного волнения. Наконец он зажёг свечку и стал читать.

Вскоре он убедился, что и его странный сосед не спит. За стеной раздавались его мерные и спокойные шаги по комнате.

Наступившее затем дождливое холодное утро, предвещавшее наступление осени, было полно неожиданностей.

Во-первых, как только Прасковья внесла самовар, явилась Степанида Власьевна и в смущении объявила, что сосед настоятельно просит отложить переезд до следующего дня, протестуя против такого внезапного предложения переменить квартиру.

— Как быть? Посоветуйте, голубчик! — спрашивала Невежина добрая старушка.

— Пригрозите ему, что вы обратитесь в полицию…

— Грозить-то я боюсь… Кто знает, как он отплатит за это.

— Так пусть до завтрашнего дня проживёт. Дело-то я сегодня же унесу.

— Скорее бы он убрался только! — вздохнула Степанида Власьевна. — А уж я без вас не выйду из дому — будьте спокойны! — внушительно промолвила она, уходя от Невежина.

Напившись чаю, Невежин достал из письменного стола объёмистое толстобрюховское дело,

внимательно пересмотрел в нём все страницы, затем перечитал свою памятную записку, составленную для Василия Андреевича, положил её в портфель и собирался было уходить, как в двери к нему тихо постучали.

— Войдите!

В дверях появился неожиданный гость — Сикорский.

Хотя Невежин и встречался с Михаилом Яковлевичем в доме у Василия Андреевича и хотя Сикорский был всегда необыкновенно ласков с Невежиным, тем не менее Невежин до сих пор не делал визита Сикорскому, и потому появление его, да ещё в такой ранний час, несколько удивило молодого человека.

Вкрадчивый и любезный, как всегда, Михаил Яковлевич извинился, что так рано побеспокоил милейшего Евгения Алексеевича, пожал руку с своей обычной сладкой улыбкой и, присаживаясь, шутливо прибавил:

— Я потревожил ваше одиночество в качестве чрезвычайного посланника. Старик наш послал меня просить вас сейчас принести к нему дело Толстобрюхова.

«Опять это дело! Все точно сговорились заботиться о нём!» — невольно усмехнулся про себя

Невежин и проговорил, придвигая Сикорскому ящик с папиросами:

— Я только что собирался нести его…

— И отлично. Если угодно, поедем вместе, у меня извозчик. А то наш старик рвёт и мечет…

— Это почему?

— Да сейчас ему доложили, будто это дело хотят похитить. Вы понимаете, какая могла бы быть неприятность для старика, если бы этот слух оказался справедливым…

Невежин изумился. Откуда могли узнать об этой истории?

— Вы удивляетесь? — усмехнулся Сикорский. — Вам непонятна цель, с которой хотели украсть дело?

— Признаюсь всё это не совсем для меня понятно…

— Поживёте здесь — просветитесь! Цель очень некрасивая — шантаж…

Невежин совсем был сбит с толку этим заявлением.

— Здесь немало негодяев, которые не прочь добывать себе средства таким путём! — проговорил с благородным негодованием Сикорский. — Вчера к Толстобрюхову явился некий артист, сосед ваш, требуя денег за какое-то письмо и

предлагая украсть дело. Но только, пожалуйста, чтобы всё это было между нами… Старик просил не разглашать об этой истории, — вставил Сикорский. — Здесь ведь нас, ссыльных, недолюбливают, особенно если нам дают возможность честно заработать кусок хлеба, — прибавил Сикорский и меланхолически вздохнул.

— И сам Толстобрюхов сказал об этом Василию Андреевичу? — спросил Невежин, не совсем довольный замечанием Сикорского о «нас, ссыльных».

Сикорский на это ответил как-то уклончиво, умолчав, однако, что сообщил об этой истории он сам и что намекнул при этом Василию Андреевичу на опасность давать дела «таким неопытным молодым людям, как милейший Евгений Алексеевич», к которому, кстати заметить, Сикорский питал не особенно дружелюбные чувства, особенно с тех пор, как Невежин заменил Сикорского в качестве домашнего секретаря.

Умолчал Михаил Яковлевич также и о том, что поехал он к Василию Андреевичу доложить об этой истории вслед за тем, как Толстобрюхов, ценя в Сикорском опытного советника, рано утром приезжал к Михаилу Яковлевичу посоветоваться и уехал от него к полицеймейстеру значительно

успокоенный.

— Тут, Евгений Алексеевич, надо быть очень, очень осторожным, — заметил Сикорский. — Уж вы извините, что я позволяю себе лезть с непрошеными советами, но поверьте…

Он не договорил, а только нежно взглянул на молодого человека и взялся за свой фетр.

— Так поедем вместе? — сказал он, подымаясь со стула.

— Поедемте.

Дорогой Сикорский, между прочим, полюбопытствовал узнать, написал ли Невежин доклад и какое впечатление произвело на него чтение толстобрюховского дела.

Невежин ответил что доклада не писал, но составил для Василия Андреевича памятную записку.

— А из чтения дела я вывел заключение, что этот Толстобрюхов большой мерзавец и что Василий Андреевич, вероятно, был ввёден в заблуждение, имея намерение просить за такого негодяя.

Сикорский выслушал эту горячо произнесённую тираду, не моргнув глазом, и только во взгляде его промелькнуло выражение не то насмешки, не то презрения, когда он проговорил:

— Однако вы из горяченьких, многоуважаемый Евгений Алексеич!..

И при этом засмеялся тихим, сдержанным смехом, открывая ряд своих белых зубов, что придавало его худому длинному лицу некоторое сходство с лисьей мордой.

Хотя Василий Андреевич и нахмурился, когда Невежин вместо доклада подал ему краткую памятную записку, но, прочитав её, он вполне согласился, что просить за Толстобрюхова невозможно.

— Спасибо вам, Евгений Алексеич, за работу. Я просмотрю дело ещё раз сам. Меня, кажется, с этим Толстобрюховым ввели в заблуждение! — вставил старик, бросая взгляд на безмолвно сидевшего у окна Сикорского.

И затем, прощаясь с Невежиным, старик проговорил:

— А об этом предполагаемом похищении дела, пожалуйста, никому ни слова. Этого мерзавца Келасури сегодня же вышлют из города. Ну, а теперь частная просьба. Жена нездорова и просит вас посидеть с ней вечер. Непременно приходите…

Невежин возвращался домой в хорошем расположении духа. Сознание, что и он на что-нибудь полезен, несколько приободрило его. По крайней

мере, есть хоть маленькое дело, о котором он может, не краснея, сообщить Зинаиде Николаевне. Он и в самом деле думал, что это первое дело, порученное ему, получит то направление, которое диктовала человеческая справедливость, не подозревая в эту минуту, что сегодня же будут пущены в ход все возможные пружины, чтобы изменить мнение Василия Андреевича.

Дома Невежина встретила Степанида Власьевна таинственным сообщением, что от жильца только что уехал частный пристав, о чём-то беседовавший с ним целых полчаса, и что жилец укладывается, собираясь сегодня же уезжать.

— И только злой он какой, если б вы знали! — прибавила Степанида Власьевна. — Прасковья слышала, как он кому-то грозился. «Я, говорит, им задам. Будут ещё меня помнить!» Уж не мне ли он собирается задать? Как вы думаете? — испуганно спрашивала старушка.

XII
Толстобрюховская «история»

— Надеюсь, вы к нам, Евгений Алексеевич? — любезно остановил Василий Андреевич в тот же вечер Невежина, встретив его на улице.

Невежин ответил утвердительно.

— И отлично, отлично… жена вас ждёт! — весело продолжал Ржевский-Пряник, пожимая руку Невежину. — Развлеките хоть вы её, молодой человек, а то у Marie опять нервы… Когда у неё шалят нервы, она хандрит, бедная… А уж меня извините — иду в собрание… Надо показаться в обществе…

Старик вдруг оборвал речь, весь как-то подтянулся, приосанился, выпячивая вперёд грудь, и, бросая умильный взгляд на проходившую мимо молодую миловидную женщину, проговорил, понижая голос, по-французски:

— Заметили? Очень недурна, а? И сложена как! — игриво продолжал он, слегка подталкивая молодого человека. — Должно быть, не здешняя… Одета со вкусом и прехорошенькая. Вы не знаете, кто такая?

Невежин невольно улыбнулся, глядя на петушившегося старика, и отвечал, что не знает.

— Верно, приезжая… Здешние туземки не очень-то часто ласкают глаз, — рассмеялся Василий Андреевич, провожая любопытным взглядом турнюр удалявшейся женщины. — На этот счёт вам здесь будет плохо, молодой человек! — прибавил старик, подмигивая глазом Невежину.

И затем, снова принимая степенный вид, Василий Андреевич спросил:

— Ну, а этот мерзавец, сосед ваш, уехал?

— Уехал.

— То-то… Я просил, чтобы его немедленно выпроводили… Кстати, ещё раз попрошу вас обо всей этой «истории» никому ни слова… Держите её в строжайшем секрете…

— Будьте спокойны, Василий Андреевич.

— И лучше жене ничего не говорите. Вы ведь знаете, дамы не умеют держать секретов! — конфиденциально прибавил старик, прощаясь с молодым человеком.

А между тем слухи об этой «истории» с утра облетели город и успели уже принять характер чудовищной сплетни, в которой крупица правды была окутана самыми фантастическими подробностями. И главным виновником этих слухов

был, разумеется, сам же Василий Андреевич, который не удержался, чтобы не рассказать «под строжайшим секретом» эту «историю» чуть ли не всем лицам, бывшим у него в тот же день, и таким образом, благодаря болтливости Ржевского-Пряника, весь город говорил о толстобрюховском деле. Рассказывали, будто Невежин прямо-таки за три тысячи привёз дело Толстобрюхову, который тут же его и сжёг в печке; ходили, впрочем, и другие варианты сплетни, а именно — будто Толстобрюхов подкупил какого-то человека, и тот ночью похитил дело, ранив при этом Невежина. На другой день уже передавали за верное, что Толстобрюхов сидит в остроге, но вслед за тем, когда многие видели Толстобрюхова на улице, «история» передавалась под другим соусом, и торжество Толстобрюхова не подвергалось никакому сомнению. Обыватели только рассчитывали, во что обойдётся Киру Пахомычу вся эта «музыка». Наконец, когда изо всех этих разнообразных вариантов выяснилась более или менее правдивая версия, обыватели не хотели верить, что дело Толстобрюхова цело и лежит на письменном столе Василия Андреевича. Редактор местной газеты хотел было сообщить «верное» известие об этом деле, но верное известие не могло по-

пасть в газету, словно бы для того, чтобы публика продолжала повторять неверные известия.

Виновник всех этих толков, всколыхавших на несколько дней стоячее провинциальное болото, Кир Пахомыч Толстобрюхов был крайне недоволен оборотом, какой вдруг приняло его дело, и находился в мрачном расположении духа.

В самом деле, разве не обидно?

Он пожертвовал целых пять тысяч на благотворительные дела в полной уверенности, что этой ценой он восстановит свои права, при следующих же выборах сделается городским головой и таким образом увенчает свою карьеру. Ему обещали, за него хлопотали разные влиятельные чиновники, связанные с ним более или менее крупными подачками; сам Василий Андреевич, которого нельзя было подкупить деньгами, но можно было задобрить лестью, намекнул ему, что всё, что от него зависит, будет сделано, и вдруг какой-то приезжий мальчишка становится на дороге этому искушённому во всяких тёмных делах миллионеру, привыкшему в течение долгой своей жизни деньгами оплачивать всякую мерзость и считать чуть ли не всякого человека за товар, продающийся по сходной цене.

Сикорский, первый сообщивший Киру Пахомы-

чу о новом обороте дела, явился вместе с тем на другой день и ангелом-утешителем. Он советовал не унывать, он надеялся, что «старик, прочитавши дело, убедится в совершенной невинности почтенного Кира Пахомыча» и поймёт, что суд, оставивши его в подозрении, совершил величайшую несправедливость. О, он знает, и, по несчастию, горьким опытом, как часто страдают невинные люди за свою доверчивость…

Михаил Яковлевич говорил так убедительно и при этом с таким трогательным смирением, что Кир Пахомыч, не привыкший к изысканному лицемерию и тонкой артистической игре столичных дельцов и действовавший всегда с грубой наглостью сибирского «чумазого», вытаращил ещё более свои пучеглазые глаза и, слушая эти речи, на минуту поверил в голубиную чистоту красноречивого оратора.

Но только на одну минуту, не более.

Этот матёрый сибирский волк, привыкший «рвать с нахрапу», был всё-таки настолько умён и настолько знал людей, что сквозь туман трогательных речей сейчас же почуял в своём собеседнике такого же матёрого волка, как и он сам, но только волка петербургского, умевшего заговаривать зубы и носить овечью шкуру.

И хотя Кир Пахомыч в ответ и промолвил из приличия, что «на свете много несправедливых делов бывает», и даже крякнул при этом, желая изобразить сочувственный вздох, но по всему было видно, что он не прочувствовал надлежащим образом невинности Михаила Яковлевича и в глубине души, вероятно, осудил Сикорского за то, что он, несмотря на своё образование и ум, тратит время на пустые разговоры, тогда как надо говорить дело.

— Так вы полагаете, Михаил Яковлевич, что дело повернётся по-старому? — спрашивал Кир Пахомыч, несколько успокоенный словами своего утешителя.

— Весьма вероятно! — промолвил Михаил Яковлевич, но уже более сухим тоном. — По крайней мере, я так полагаю, хотя, разумеется, уверить вас в этом не могу. Старик переменчив.

— Нельзя ли заплатить этому Невежину, язви его? — задал вопрос Кир Пахомыч с своей обычной грубостью.

Сикорский иронически улыбнулся.

— Пожалуй что и нельзя.

— Богат он, что ли?

— Нет, не богат.

— Так отчего же нельзя? — простодушно изу-

мился Толстобрюхов.

— Не возьмёт!

— Видно, глуп ещё, мальчишка? — переспросил Кир Пахомыч.

— Глуп не глуп, а нельзя! — нетерпеливо заметил Сикорский.

— Так как же быть?

— А вы вот лучше, Кир Пахомыч, отправляйтесь-ка сейчас по своим благоприятелям да их попросите как следует…

— К кому? — промолвил Толстобрюхов, почёсывая затылок.

— Да вот, например, Иван Петрович Пятиизбянский мог бы замолвить за вас доброе словечко Василию Андреевичу. Старик ценит его советы и, между нами сказать, побаивается Ивана Петровича. Ну, а затем прощайте. Желаю вам успеха! О моём участии ни слова!

— А уж я вас, Михаил Яковлевич, ужо поблагодарю за ваши добрые советы! — проговорил, понижая голос, Кир Пахомыч, с особенной нежностью пожимая руку Сикорского.

Сикорский отступил шаг назад, презрительно оглядел хозяина с ног до головы и, злобно усмехнувшись, строго проговорил:

— Вы всё глупости говорите. Не надо мне ника-

кой благодарности. Я ведь взяток не беру. Умейте вперёд лучше различать людей!

И с этими словами, гордо приподняв голову, он вышел из кабинета, оставив Кира Пахомыча с вытаращенными глазами.

«Из-за чего же он орудует?» — задавал себе вопрос и не мог его решить Толстобрюхов в то время, как славный кровный серый конь мчал Кира Пахомыча к господину Пятиизбянскому.

«Этот вот даром не станет хлопотать!» — вздохнул Толстобрюхов, поднимаясь минут через пять к своему благоприятелю и раздумывая, сколько придётся ему заплатить за «доброе словечко».

XIII
«Пентефриева жена»

В этот злополучный вечер, когда Василий Андреевич с такою легкомысленною настойчивостью упрашивал Невежина развлечь свою скучающую супругу, забывши, по примеру многих мужей, что во время «нервов» подобные развлечения для женщин в сорок лет, да ещё с таким увлекающимся темпераментом, как у Марьи Петровны, весьма и весьма опасны, — в этот вечер вслед за звонком Невежина в квартиру Ржевских вместо красноносого высокого лакея Филата двери отворила пожилая, худощавая, одетая с щегольской опрятностью петербургская горничная, которую Марья Петровна называла Пашей, а остальная прислуга и даже многие чиновники почтительно величали Прасковьей Никаноровной.

Её манеры, хорошо сидящее тёмное шерстяное платье, ловко надетый белый чепчик с распущенными по-французски сзади концами сразу обличали хорошо выдрессированную горничную, привыкшую жить в «хороших домах», — а

какой-то вид особой значительности, сказывающийся под скромно сдержанным выражением худого смуглого, «себе на уме» лица, напоминал Невежину знакомый тип любимиц-горничных, которые подолгу живут в доме, знают отлично привычки, слабости и любовные шашни своих барынь и умеют хранить в тайне их секреты, пользуясь за то особенным положением и делаясь незаменимыми.

— Барыня не так здорова и просит пожаловать к ней в кабинет! — приветливо промолвила Паша, снимая пальто с Невежина и взглядывая на молодого человека тем ласково-почтительным взором, каким смотрит прислуга на гостей, особенно приятных хозяевам.

— Вы, верно, не здешняя? — спросил её Невежин.

— Ещё бы! Мы — петербургские… — не без достоинства отвечала, улыбаясь, Паша. — Я у барыни уж пятнадцать лет живу, с тех пор как оне вышли замуж! — прибавила она, и вслед за тем бесшумно скрылась из прихожей.

Невежин вошёл в большую, пустынную залу, прошёл через слабо освещённую гостиную и, остановившись у запертых дверей с опущенными портьерами, тихо постучал.

— Entrez, entrez[31]! — глухо донёсся до него мягкий ласковый голос.

Он отворил двери и, приподняв портьеру, очутился в небольшой комнате, обитой «весёленьким» кретоном. Эту комнату хозяйка называла своим «маленьким кабинетом», куда допускались только близкие люди.

Этот маленький кабинет был уютным женским гнёздышком, убранным с кокетливым вкусом избалованной женщины, привыкшей к изящному комфорту и хорошо понимавшей, что в известные годы обстановка много значит.

Мягкая мебель — низенькие пуфы, диванчики и стульчики, обитые разноцветной материей, — цветы в красивых горшках и жардиньерках, крошечный письменный стол с несколькими фотографиями, изящная этажерка, два-три японских столика с массой дорогих безделок, пышный туалетный алтарь, весь в лентах и кружевах, и большое трюмо в углу — таково было убранство этого гнёздышка, освещённого томным светом матового голубого фонаря и небольшой лампы под нежным абажуром на небольшом столике перед диванчиком, на котором полулежала с

---

[31] Примечания: 31
Войдите, войдите (*франц.*).

книгой в руке Марья Петровна.

В комнате стоял тонкий, раздражающий аромат женского будуара; весёлый огонёк камина приветливо горел в нежном полусвете этого уютного уголка.

— Вы не можете себе представить, как я рада, что вы пришли наконец ко мне! — проговорила Марья Петровна, протягивая свою белую пышную руку, оголённую до локтя под широким рукавом капота. — Садитесь сюда поближе и рассказывайте, отчего вы меня совсем забыли? — продолжала она с тихим, нежным укором в голосе и во взгляде. — Я совсем расхворалась и расхандрилась и, как видите, сижу одна… Надеюсь, вы извините, что я принимаю вас запросто и в таком больничном наряде. Я сейчас брала ванну, — прибавила Марья Петровна.

Невежин между тем успел оглядеть хозяйку и нашёл, что она вовсе не похожа на страждущую. Напротив, сегодня она выглядела довольно интересной в своём шитом шелками белом кашемировом капоте, тонкая ткань которого, ниспадая по бёдрам красивыми складками, плотно облегала роскошный бюст, обрисовывая его пышные формы. Крошечный кружевной белоснежный чепец, кокетливо накинутый на подобранные

сзади блестящие чёрные волосы, моложавил её лицо, отливавшее здоровым румянцем. Чёрная бархатка на открытой шее оттеняла её белизну. Её большие чёрные глаза блестели, крупные чувственные губы складывались в улыбку, и вся она, оживлённая, возбуждённая и благоухающая, глядела совсем помолодевшей красавицей, полной свежести и жажды жизни.

— Что с вами? Давно вы расхворались? — спрашивал Невежин, опускаясь на низенький стул.

— Что со мной? — переспросила Марья Петровна. — Что бывает с женщинами в наши годы! — полушутя ответила она, пожимая плечами. — Доктора называют это нервами… Все смеются и не верят нервам, а между тем…

Она на секунду остановилась, подавила вздох и продолжала, опуская глаза:

— А между тем в этом нет ничего удивительного, а напротив, очень много грустного, по крайней мере, для нас, женщин! — проговорила она тихо и раздумчиво. — Ну, да что об этом говорить — это всё старо, как божий мир… Лучше рассказывайте о себе, ведь я вас сто лет не видела… Надеюсь, вы не на минутку? Вы не убежите от больной?

— По крайней мере, если вы не прогоните! — любезно отвечал Невежин.

— Ну, этого вы не скоро дождётесь!.. — улыбнулась Марья Петровна. — Вы думаете, приятно быть в одиночестве? Ведь я была бы одна, совсем одна, если б вы не пришли. Василий Андреевич ушёл, дети собираются спать… Даже Филат, и тот оставил меня, отправившись на какую-то свадьбу, — смеясь, вставила она будто вскользь. — Не приди вы, и я, признаться бы, трусила…

— Трусили? Чего? — удивился Невежин.

— Жиганских грабителей! — рассмеялась Марья Петровна.

— Я буду сегодня, если позволите, вашим рыцарем-благоухающая— шутя проговорил Невежин.

— С удовольствием позволяю. А пока грабители не пришли, будем пить чай! — весело заметила Марья Петровна, видимо, любуясь своим собеседником.

Она придавила пуговку; вошла Паша, поставила поднос и удалилась.

— Вам неудобно там пить чай?.. — спохватилась Марья Петровна. — Садитесь сюда ко мне на диван и рассказывайте, что вы делали всё это время? Кого видели? Почему не заходили ко мне?

— Я всё время работал, Марья Петровна! — оправдывался молодой человек, пересаживаясь на диван.

— Не отговаривайтесь… Лучше просто скажите, что вам не хотелось скучать с такой старухой, как я. Ведь правда? — прибавила она, наклонясь к нему совсем близко, так что он ощутил прикосновение её волнующейся груди.

— К чему вы на себя клевещете, Марья Петровна! — остановил её Невежин и деликатно отодвинулся, решившись, несмотря на охватившее его волнение, остаться Иосифом Прекрасным.

— То есть как клевещу? — прикинулась непонимающей Марья Петровна.

— Вы ведь очень хорошо знаете, что вы не старуха.

— Увы, старуха… Ведь мне, молодой человек, тридцать шесть лет! — проговорила она, утаив целых четыре года.

— И тем не менее…

— И тем не менее вы, кажется, собираетесь сегодня быть настоящим рыцарем и говорить комплименты! — перебила она его, смеясь. — Что ж, говорите… я здесь их не слыхала, а вы знаете, что женщины их любят… Так я, по-вашему, не старуха?..

— Далеко нет…

— И, пожалуй, ещё на старости лет могу нравиться? Не так ли?

— И даже очень! — отвечал Невежин.

— Уж не вам ли? — иронически шепнула опытная кокетка, оживляясь, как старый парадёр[32], заслышавший знакомые звуки музыки.

— Отчего ж бы и нет? — легкомысленно проронил в ответ молодой человек, благодаря чересчур близкому соседству Марьи Петровны.

Марья Петровна как-то грустно усмехнулась и, вся вспыхивая, тихо-тихо проговорила:

— Спасибо и за фразу… И, однако, я об этом не догадывалась… Напротив, вы точно избегаете меня! Тогда как я… — прибавила она чуть слышно — и оборвала речь.

Невежин поднял на неё глаза. Она глядела на него своими влажными глазами, полными страсти и мольбы, вся млеющая, с зардевшимися щеками и полуоткрытыми губами, — настоящая жрица Венеры.

И он — да простит ему благосклонная читательница — забыл в это время и благоразумное решение, и светлый, чистый образ Зинаиды Николаевны, и добродушного Василия Андреевича. Кровь стучала в виски, глаза застилались туманом, животное вступало в свои права, — и рука

---

[32] Примечания: 32
Верховая лошадь, выдрессированная для парадов.

его как-то нечаянно искала и нашла её горячую мягкую руку. И она, как нарочно, придвинулась к нему, обдавая его горячим дыханием и ожигая теплотой своего благоухающего тела, в то время как губы её страстно шептали:

— А я вас так долго ждала… Ведь я люблю вас, люблю, мой красавец!

И с этими словами, забросив руки, она с тихим воплем обвила шею Невежина, прильнула к его губам долгим, жгучим поцелуем и замерла на его груди. После этого бедный молодой человек совсем потерял голову и — к сожалению, должен сообщить — перестал быть Иосифом Прекрасным.

Невежин засиделся долго. Марья Петровна не хотела его отпустить без ужина. Всё та же Паша подала им холодную закуску. Они поужинали вдвоём, запивая шампанским. Марья Петровна уже не плакала, не жаловалась на нервы и, что ещё удивительнее, не разыгрывала роли оскорблённой невинности, не требовала клятв, а весело болтала, оживлённая и весёлая. Прощаясь с молодым человеком, она сияла счастьем, повторяя те глупые слова, которые говорят в таких случаях девяносто девять женщин из ста, уверенная, что они что-нибудь да значат, мечтавшая, что подоб-

ные счастливые свидания, способные укрепить её расстроенные нервы, будут часто повторяться.

«Tu l'a voulu, George Dandin![33]» — повторял несколько раз почему-то припомнившееся выражение Невежин, выходя из подъезда и как-то недоумевающе пожимая плечами. Признаться, он совсем не походил на влюблённого, возвращающегося со счастливого свидания; по крайней мере, он, по примеру влюблённых, ни разу не вспомнил нежных слов, которые только что слышал, и был очень рад, что с своей стороны не расточал никаких обещаний этой «пылкой бабе», считая её единственной виновницей (о неблагодарный молодой человек!) всего «инцидента» и обещая себе впредь не утешать больную без свидетелей и не поддаваться искушению.

Он прошёл несколько шагов, собираясь кликнуть извозчика, как вдруг с остановившихся на улице дрожек его окликнул визгливый тенорок Василия Андреевича.

— Ну, что, молодой человек, развлекли Marie? — добродушно спрашивал Василий Андреевич. —

---

[33] Примечания: 33

Ты этого хотел, Жорж Данден! (*франц.*).

Ты этого хотел, Жорж Данден! — Это выражение употребляется в значении: сам виноват, пеняй на себя. Вошло в обиход из комедии Мольера.

Что, она не хандрит теперь? Как вы её оставили? — продолжал допрашивать старик не без некоторого беспокойства в голосе, словно бы предчувствуя, в случае неблагоприятного ответа, неминуемость одной из тех сцен, которые чаще всего делала ему Марья Петровна перед отходом ко сну. Уж как он ни старался, бывало, именно в это время избегать их, но, как нарочно, случалось, что именно в эти поздние часы бедному Василию Андреевичу чаще, чем по утрам, приходилось получать самые оскорбительные прозвища, выслушивая ламентации[34] нервной супруги.

При этом вопросе Невежин, надо признаться, почувствовал некоторую неловкость, вроде того вора, у которого спросили, хорошо ли он сберёг порученную ему вещь.

Однако он, не покривив душой, отвечал, что Марья Петровна «кажется, в духе».

— И отлично… и превосходно… Вот за это спасибо! — восклицал Василий Андреевич, крепко потрясая руку Невежина. — А то она у меня, бедняжка, такая болезненная… Нервы… Это, знаете ли, такая штука… такая скверная штука! — повторял Василий Андреевич, хорошо знавший по

---

[34] Примечания: 34
Жалобы (от *франц. les lamentations*[illegible]).

опыту, какая это штука. — Тут, батюшка, никакие лекарства не берут! — рассмеялся Василий Андреевич. — Смотрите же, не забывайте нас, заходите чаще! — прибавил добродушный старик и, ещё раз поблагодарив молодого человека за то, что он развлёк больную, весёлым голосом приказал кучеру ехать домой.

XIV
Встреча

1

Публика, ожидавшая прибытия парохода, радостно встрепенулась, когда в седьмом часу тёплого августовского вечера раздались свистки и пароход, попыхивая чёрным дымком и плавно рассекая замершую гладь реки, отливавшую блеском закатывавшегося солнца, тихим ходом, осторожно минуя мелкие места, приближался к Жиганску.

— Ну вот и дождались наконец! — радостно проговорила Степанида Власьевна и, поднявшись со скамейки, направилась вместе с Невежиным вперёд, к перилам старой баржи. — Жаль только, что обед перестоит! — прибавила она с некоторою грустью.

Ещё несколько долгих минут напряжённого ожидания публики — и наконец пароход, застопоривши машину и гудя выпускаемыми парами, приставал к пристани.

— Но где же Зиночка? Где Зиночка? — вдруг заволновалась старушка.

Вся подавшись вперёд, она оглядывала пассажиров, стоявших на площадке, и взволнованно повторяла:

— Я не вижу Зиночки, Евгений Алексеич! Её нет… Вы видите, где она?

Невежин давно увидал эту красивую стройную девушку в тёмном ватерпруфе[35] и скромной чёрной шляпке, стоявшую у борта, против каюты второго класса, и, охваченный радостным волнением, с восторгом любовался милым лицом, полным знакомого выражения какой-то серьёзной вдумчивости и усталости.

— Да где же она? — спрашивала Степанида Власьевна.

— Вот она, вот Зинаида Николаевна! — воскликнул наконец Невежин, указывая на молодую девушку в тот самый момент, когда пароход остановился у пристани.

Зинаида Николаевна услыхала своё имя, произнесённое радостным голосом, который она тотчас узнала. Что-то дрогнуло в её лице при звуках этого голоса.

— Тётя, здравствуйте! — весело приветствовала она Степаниду Власьевну. — Здравствуйте,

---

[35] Примечания: 35

Летнее пальто (от *англ. water-proof* — водонепроницаемый).

Евгений Алексеевич! — прибавила она тише и сдержаннее и, как показалось в ту минуту Невежину, даже с заметною сухостью в голосе.

Едва положили сходни, как Степанида Власьевна и Невежин уже были на пароходе. Старушка тётка несколько раз принималась обнимать Зиночку. Радостные слёзы катились по её сморщенным щекам; не находя слов, она только улыбалась своей доброй улыбкой и шептала:

— Наконец-то дождались тебя!

— С приездом, Зинаида Николаевна! — проговорил дрогнувшим голосом Невежин, подходя к Зинаиде Николаевне, когда Степанида Власьевна выпустила из своих объятий племянницу.

Зинаида Николаевна протянула руку, хотела что-то сказать, но, взглянув на смущённое лицо Невежина, тотчас же отвела глаза, сама почему-то смутившись. И, словно бы недовольная этим смущением, она отвернулась и заговорила со Степанидой Власьевной.

«Хоть бы одно слово», — подумал Невежин, и его лицо затуманилось. Зинаида Николаевна заметила эту внезапную перемену и обратилась к нему:

— Надеюсь, вы недурно живёте в Жиганске, Евгений Алексеевич? Об этом, впрочем, после

переговорим, а теперь помогите мне с вещами. Вот вам билет. Пойдёмте, тётя!

Этот тихий, ласковый голос снова оживил молодого человека. Он взял из рук Зинаиды Николаевны саквояж, и они втроём пошли с парохода, пробираясь среди переселенцев.

— Прощай, барышня! Прощай, касатка! — раздавались восклицания баб, когда Зинаида Николаевна проходила между ними.

Оставив дам на пристани, Невежин снова вернулся на пароход за багажом Зинаиды Николаевны.

— А вы, Евгений Алексеич, нынче и поклонов не замечаете? — раздался над его ухом знакомый вкрадчивый голос Сикорского. — Я вам два раза кланялся, а вы — ноль внимания! — шутливо продолжал Сикорский, пожимая обеими руками протянутую руку. — Изволите встречать кого-нибудь или так приехали от скуки посмотреть на публику, как и я, грешный? — спрашивал Сикорский, успевший уже наблюсти встречу Невежина с приезжей девушкой и принять это к сведению.

— Племянница моей хозяйки приехала…

— Не красивая ли девушка в тёмном ватерпруфе, с чудными косами?

— А вас это очень интересует? — улыбнулся

Невежин.

— Ещё бы, — отвечал Сикорский, смеясь. — Ведь в Жиганске всё интересует, особенно такая интеллигентная барышня… Среди здешних обывательниц она невольно бросается в глаза… Сейчас видно, что не здешняя.

— Вы не ошиблись — эта барышня из Петербурга!

По тону, каким ответил Невежин, Сикорский сразу понял, что расспрашивать более не следует, и вдруг, словно бы спохватившись, заметил:

— А я-то хорош! Болтаю с вами и забыл вам передать, что Василий Андреевич сегодня три раза посылал за вами.

— Зачем?

— А не знаю. И Марья Петровна тоже горела желанием вас видеть… У бедной опять нервы! — неожиданно прибавил Михаил Яковлевич самым серьёзным тоном, взглядывая на Невежина своими маленькими зелёными глазками.

Невежин чуть-чуть смутился и сухо поблагодарил за извещение.

— Что же прикажете передать, если спросят? Я сейчас туда. Будете сегодня или нет?

— Нет, не буду! — резко отвечал Невежин и, приподняв шляпу, пошёл вслед за матросом, кото-

рый нёс на спине сундук Зинаиды Николаевны.

«Так и передадим!» — мысленно подчеркнул Сикорский, снимая свой фетр с самой любезной и милой улыбкой.

Затем, не спеша, он направился к выходу, выступая словно цапля и ласково кланяясь встречаемым знакомым. На пристани он нарочно прошёл мимо Зинаиды Николаевны и бросил на неё пытливый, внимательный взгляд.

— Кто этот старик с неприятной физиономией? — осведомилась Зинаида Николаевна, поймавшая пристальный взгляд Сикорского.

— Это, Зиночка, Сикорский. Может, слышала? Говорят, он у вас в Питере банк какой-то разорил! Не знаю, правда или нет…

— Так вот эта знаменитость! — заметила Зинаида Николаевна с чувством отвращения. — Ваш жилец с ним знаком? — спросила она, помолчав.

— Кажется, Евгений Алексеич у него не бывает, а встречаться приходится у генерала. Ведь Евгений Алексеевич место Сикорского у генерала занял. Только — несдобровать Евгению Алексеичу.

— Что? Почему несдобровать, тётя? — с живостью спросила Зинаида Николаевна.

— Да потому, что Евгений Алексеич… как бы это

сказать… и горяч, и доверчив, и не знает здешних порядков… Вот хоть бы с делом Толстобрюхова.

И Степанида Власьевна стала рассказывать, как Невежин думает помешать «оправить» Кира Пахомыча…

— Помнишь этого миллионера, про которого худая молва идёт?

— Всё готово… Можно и ехать! — проговорил Невежин, подходя к дамам.

Дамы уселись в сибирскую тележку, а Невежин поехал на извозчике сзади, снова просиявший после ласкового «спасибо» и милой улыбки, которыми наградила его Зинаида Николаевна не столько за хлопоты, сколько за те рекомендации, которыми наградила Невежина добрая Степанида Власьевна, сообщая племяннице свои соображения о деле Толстобрюхова.

2

Дома Невежин нашёл записку Василия Андреевича, приглашавшую его немедленно пожаловать по весьма экстренному делу. Невежин знал слабость старика к этим «экстренным делам», и решил не идти сегодня. Ещё бы! Ему так хотелось побыть с Зинаидой Николаевной, поговорить с ней, если только она захочет с ним говорить, как,

бывало, говаривала в Петербурге.

И он ходил теперь у себя, прислушиваясь к её голосу, раздававшемуся за стеной, и волнуясь, как юноша, при мысли: пригласят ли его сегодня обедать туда… вместе, или принесут обед к нему в комнату, как обыкновенно.

Наконец к нему вошла Степанида Власьевна.

— Что ж это вы, батюшка, спрятались у себя в комнате? — покорила она его. — Идёмте обедать вместе на радостях… И то щи перестояли…

— Да, может быть, Зинаида Николаевна хотела бы одна обедать… без посторонних…

— Эка ещё что выдумали! Без посторонних! Так я вам скажу, что вы для меня не посторонний! Идите-ка, идите… Зиночка сама велела вас звать! — говорила старушка весёлым тоном, сияя радостью и счастием и словно бы желая передать эту радость и другим. — И только похудела же она в вашем подлом Петербурге! Верно, кормят-то там небогатых людей скверно! Ну, да здесь мы её откормим!.. Не правда ли, Зиночка, мы тебя здесь откормим? — спрашивала Степанида Власьевна, входя с Невежиным в свою комнату, где стол был накрыт и дымились щи. — Ну, садитесь-ка, Евгений Алексеич, чай, и вы проголодались?

Весёлый и радостный сел Невежин около Зи-

наиды Николаевны и первое время не находил слов. Чем-то тихим, спокойным и свежим веяло на него в присутствии этой девушки, и он то и дело взглядывал на неё, словно бы удостоверяясь, — тут ли она? И эта скромная комнатка и скромный обед, которым так радушно угощала хозяйка, — всё казалось Невежину необыкновенно привлекательным и славным благодаря Зинаиде Николаевне.

— А ведь ваш генерал совсем обезумел! — заговорила Степанида Власьевна в конце обеда.

— Как так? — засмеялся Невежин.

— Да так же! Совсем не даёт человеку отдохнуть. Я и забыла давеча вам сказать, ведь он за вами трёх гонцов посылал. Прасковья сказывала, что так один за одним и летали… Вам бы пойти узнать, что такое? Может, и в самом деле что важное…

Невежин объяснил, что, наверное, ничего нет важного и что он сегодня не пойдёт.

— Как бы он не рассердился, Евгений Алексеич…

— Ну и пусть посердится! — весело заметил Невежин.

После обеда долго ещё не расходились. Зинаида Николаевна расспрашивала Невежина о его

занятиях, о людях, с которыми он познакомился, и Невежин рассказывал, набрасывая довольно живые характеристики.

— И вы не скучали здесь?

— Сперва очень…

— А теперь?

Невежину показался даже странным этот вопрос. Как мог он скучать теперь, когда Зинаида Николаевна здесь!

— Теперь?.. — переспросил он. — Теперь, напротив, я счастлив, как только может быть счастлив человек! — порывисто проговорил он.

Зинаида Николаевна вдруг притихла.

— А вы надолго сюда? — спросил Невежин. Этот вопрос привёл её в смущение.

— Не знаю ещё… Посмотрю, как занятия пойдут…

Самовар весело шумел на столе, и Зинаида Николаевна рассказывала о своей поездке в Крым, скрыв, впрочем, от слушателей, что эта поездка была вызвана серьёзной болезнью. Там она поправилась и решила ехать сюда.

— Родные места захотелось повидать и тётю! — прибавила она.

— И хорошо сделала, что так решила! — весело заметила Степанида Власьевна. — Только бы не

соскучилась по Петербургу.

— Не соскучусь, тётя, если будет дело. Уроки и здесь, верно, найду, как и в Питере.

В это время вошла Прасковья и сказала, что Евгения Алексеевича спрашивают.

— Опять от генерала! Ихняя горничная пришла: такая важная, что твоя барыня!.. — прибавила Прасковья.

Невежин вышел в прихожую. Там стояла Паша.

— Вот вам записочка! — таинственно прошептала она, передавая записку.

Невежин развернул маленькую раздушенную записочку и прочитал следующие слова:

«Мне необходимо вас видеть. Приходите, прошу вас.

М. Р.»

— Очень просили вас прийти, Евгений Алексеич! — промолвила Паша. — Марья Петровна нездоровы и совсем одне! — прибавила она, понижая голос.

И эта записка, и этот тон старой горничной показались Невежину отвратительными. Он разорвал записку и сухо ответил, что не может быть.

Паша молча раскланялась и ушла.

— Ну что, опять к генералу зовут? — спрашивала Степанида Власьевна.

— Опять…

— Так надо идти?

— Нет, не надо…

— Быть может, в самом деле что-нибудь важное, если так настойчиво зовут? — вставила Зинаида Николаевна.

— Пустяки! Просто генеральша скучает и потому просит пожаловать…

— Вы, видно, ей понравились, Евгений Алексеич? — смеясь, заметила Степанида Власьевна.

— Да она-то мне не нравится, — отвечал Невежин, чувствуя, что краснеет.

— Ну, уж это вы напрасно… Я не знаю, как она характером, а что из себя, так надо сказать… видная, красивая дама.

— И молодая? — вставила Зинаида Николаевна, поднимая глаза на Невежина.

Этот вопрос и этот внимательный взгляд ещё более смутили молодого человека. Теперь, рядом с Зинаидой Николаевной, он с чувством глубокого отвращения вспомнил о последнем свидании с Марьей Петровной и с каким-то озлоблением проговорил:

— Совсем не молодая и вообще неприятная женщина!

Зинаида Николаевна больше не расспрашивала, и разговор перешёл на другие темы. Степанида Власьевна вспомнила прошлые времена, когда Зиночка была гимназисткой. Зинаида Николаевна оживилась этими воспоминаниями, рассказывала про учителей, про товарок, о том, как впервые у неё явилась мысль ехать в Петербург учиться.

А Невежин слушал, глядя на Зинаиду Николаевну очарованным взором.

И когда они за полночь разошлись, он долго ещё припоминал и её слова, и её взгляд, серьёзный и ласковый.

Не спала и Зинаида Николаевна в соседней комнате. Лёжа в постели, она долго и мучительно думала и несколько раз спрашивала себя, зачем она приехала сюда, и не лучше ли тотчас же уехать.

И красивый образ молодого человека стоял перед ней, наполняя её сердце мучительным чувством сострадания и любви.

«Любви ли?» — спрашивала она снова теперь, как спрашивала и прежде, после памятного свидания в тюрьме.

XV
Зинаида Николаевна

1

«Зачем она приехала?»

Этот вопрос неотступно стоял теперь перед Зинаидой Николаевной, и совесть её требовала искреннего, добросовестного ответа. Отвечать уклончиво, обманывая самоё себя, как обыкновенно делают слабые натуры, боящиеся категорических ответов, Зинаида Николаевна не умела и не хотела. Вот почему она долго не могла заснуть, проверяя свои первые впечатления встречи и восстановляя в памяти своё знакомство с Невежиным и дальнейшие отношения, сблизившие столь неожиданно эти две совершенно противоположные натуры.

«Любила ли она его, когда ехала сюда?»

Она по совести могла ответить, что нет. По крайней мере, ей так казалось. Она жалела молодого человека, чувствуя перед ним как бы некоторую виноватость как перед человеком, пострадавшим за своё чувство к ней, но если бы ей сказали, что это чувство жалости и сострада-

ния незаметно перешло в другое, более сильное, она первая бы рассмеялась. «Не её романа такие пустые люди, как Невежин!»

Отчего ж теперь этот самый человек сделался ей вдруг так близок? Отчего она так интересуется им, отчего думает о нём? Отчего при первой встрече так радостно забилось её сердце, и она принуждена была употребить усилие, чтоб не выдать охватившего её волнения? Она нарочно так сухо обратилась к нему с первым вопросом, тогда как ей хотелось броситься к нему…

«Неужели… это самое?» — спрашивала себя Зинаида Николаевна, чувствуя, как жутко и сладко замирает её сердце. Неужели она, порешившая, что после неудачного романа её первой молодости, разбившего её сердце, безраздельно отданное неразделённой привязанности, она не в состоянии больше отдаться чувству, — неужели она сама заразилась страстью молодого человека и питает к нему нечто гораздо большее, чем сострадание и дружба?

«Да… да!..» — отвечали учащённое биение её сердца, оживившийся взгляд её прекрасных глаз, её стыдливо и страстно рдевшие щёки.

Она пробовала отнестись к Невежину критически, и не нашла в своём уме ни прежнего строгого

осуждения, ни прежней снисходительной жалости умной, серьёзной девушки к человеку, размотавшему свои лучшие годы так пошло, глупо и бесцельно, — всё это исчезло в теперешних её мыслях о Невежине. В эти минуты он представлялся ей совсем в другом виде — бедной жертвой обстоятельств, человеком, полным лучших качеств, понявшим весь ужас прежней жизни, как только его коснулось хорошее влияние и он увидал хороших людей, не похожих на тех, среди которых вращался.

И Зинаида Николаевна вспоминала, с какой охотой он просиживал, бывало, вечера в её скромной комнатке, слушая чтение книг, открывавших перед ним иные цели, иные задачи. А эти споры её с ним, в которых она оставалась победительницей, довольная, что заставила молодого человека сознать бесцельность прежней жизни… И как он искренно и горячо желал другой жизни, желал работать… А потом этот несчастный выстрел в защиту любимого человека, и, наконец, это деликатное молчание на суде, — молчание, из-за которого он был осуждён.

Чем больше думала Зинаида Николаевна о нём, вспоминая прошлое, тем более в розовом свете рисовался ей Невежин, являясь перед ней

в каком-то ореоле, созданном её воображением под впечатлением глубокого чувства, охватившего девушку с той неотразимой силой, которая присуща натурам сильным и глубоким.

Теперь уж она в свою очередь, спрашивала себя: любит ли он её, и имеет ли она право принять эту любовь?.. Быть может, в нём зародилось чувство под впечатлением несчастной личной жизни?..

И разве может она возбудить глубокую страсть? — спрашивала себя эта скромная девушка, не сознававшая своей красоты. Его страстное признание там, в тюрьме, могло быть вызвано нервным состоянием, исключительностью положения, благодарностью за нравственное возрождение… Ему могло казаться, что он любит, только казаться… И теперь, пожалуй, только кажется…

«А если в самом деле любит?»

Зинаида Николаевна даже вздрогнула от счастия и, закрыв глаза, мечтала об этом счастии. Любит! О, сколько счастия впереди для неё, не знавшей блаженства взаимной любви! Она сделает его счастливым! Она будет его другом, пестуном, товарищем! Она поддержит его в житейской борьбе, поддержит в минуты уныния и слабости, поможет ему сделаться человеком,

которым будет гордиться… Труд вдвоём, скрашенный привязанностью, днём — работа, а долгие вечера — вместе за чтением, за беседой… Она не будет более одинока… Она знает теперь, что без личного счастия жизнь не полна…

Но эти радужные мечты о реабилитации, составляющие обычное утешение женщин, любящих слабых и бесхарактерных мужчин, внезапно были рассеяны.

Перед ней стал образ несчастной, худой, некрасивой женщины, глядевшей, казалось, с насмешливым, обидным взором. Эта женщина — жена его, всё ещё любящая мужа и удалившаяся за границу, где она, больная, изнеможённая, до сих пор оплакивает свою разбитую жизнь… Она поступила честно, самоотверженно с ним. Она предлагала ему развод, сама приезжала тогда, после суда, к Зинаиде Николаевне и, глубоко несчастная и оскорблённая, всё-таки имела мужество простить… Она передала Зинаиде Николаевне историю этого рокового выстрела, она рассказывала, скрывая своё горе, как он любит Зинаиду Николаевну, она просила и умоляла Зинаиду Николаевну не оставлять его одного в Сибири… А это недавнее письмо, полученное Зинаидой Николаевной из-за границы, в котором

она опять спрашивает: неужели Зинаида Николаевна не сжалится и не поедет туда… к нему. «Обо мне не думайте… Я буду счастлива вашему счастию!» — прибавляла она, однако умолчав, что она совсем больна и чахнет, как слышала Зинаида Николаевна от видевших эту женщину за границей.

Так разве она доконает её? Имеет ли она право строить своё счастие на несчастии ближнего? Да и он, разбивший чужую жизнь, осмелится ли? Не она ли должна удержать его, если б он и решился?..

— Никогда он не узнает, что я его люблю, никогда, — твёрдо проговорила Зинаида Николаевна.

Но, приняв это геройское решение, она не выдержала. Слабая женская натура взяла своё, и глухие рыдания вырвались из её взволнованной груди.

Долго ещё она оплакивала свою похороненную любовь, и, когда под утро наконец заснула, страдальческое выражение светилось в её прекрасных чертах.

Воспользуемся же её тревожным сном и познакомим читателя с прошлым Зинаиды Николаевны.

2

Зинаида Николаевна в детстве лишилась родителей и рано принуждена была сама зарабатывать свой хлеб. Она смутно помнила высокого, широкоплечего, черноволосого отца, с большой красивой кудрявой головой, который был первым её учителем. Он каждый день по вечерам занимался с ней, часто ласкал свою любимицу, единственную дочь, и, усадив, бывало, девочку на свои могучие колени, после урока рассказывал ей разные интересные истории, пока девочка наконец не засыпала.

Они жили в тайге, на небольшом глухом прииске богатого золотопромышленника Баскакова, где отец был управляющим. Она хорошо помнила, что любила и побаивалась своего отца, особенно в те дни, когда он бывал почему-либо гневен. Тогда все боялись Николая Лукича Степового. Его большие чёрные глаза метали молнии из-под нависших густых бровей, и сухощавое побледневшее лицо с огромной чёрной бородой глядело сурово. Он не брал свою девочку на колени и долго просиживал один в своей небольшой комнате, служившей ему кабинетом. Никто из служащих не решался попадаться ему в такие

минуты на глаза.

Только впоследствии дочь узнала, что отец её был человек сильного характера и упорной воли. Он происходил из бедной семьи тюкалинских мещан, потомков ссыльного воронежского мужика, сосланного за поджог из мести. Отец Степового не пользовался доброй славой: про него ходила молва, будто бы он не гнушается добывать средства разными тёмными делами. Сыну грозила бы участь пойти по стопам отца, если бы его не послали на прииск искать счастия, благодаря вмешательству дяди, конторщика у Баскакова.

Бойкий, понятливый, начавший службу рабочим, он скоро огляделся и понял, что с одной физической силой ничего не достигнешь, и задумал учиться. В свободное время он выучился читать и писать, при помощи машиниста шутя прошёл четыре правила и научился обращаться с машинами. Смышлёный и усердный, он вёл воздержанную жизнь, и на него обратил внимание старик Баскаков, сам сделавшийся богатым золотопромышленником из приисковых конюхов. Степового взяли в контору, постепенно повышали его и наконец сделали управляющим одного вновь открытого прииска.

Степовому было тогда лет около сорока; он в

это-то время и женился на младшей сестре Степаниды Власьевны, миловидной молодой дочери жиганского чиновника. Познакомился он с ней бывши проездом в Жиганске. Девушка понравилась ему, он ей, — и дело сладилось.

Мать Зинаиды Николаевны была совершенная противоположность отцу по характеру. Тихая, слабого здоровья, застенчивая до робости, неуверенная в себе, она была олицетворённая кротость и доброта. Супруги жили хорошо. Степовой боготворил свою жену и глядел, что называется, в глаза своей «Гутеньки». Так они прожили восемь лет, как Степовой скоропостижно умер от разрыва сердца.

Молодая вдова переехала с Зиночкой в Жиганск. После смерти мужа у неё оказалось тысяч около десяти. Непрактичная, не знавшая людей, молодая женщина отдала пять тысяч взаймы одному знакомому жиганскому купцу, который самым бессовестным образом обманул доверчивую женщину.

Потеряв половину своих денег, молодая женщина стала усиленно работать, занимаясь шитьём, чтобы по возможности не тратить денег и оставить их на образование своей ненаглядной Зиночки и ей же на чёрный день. И без того

слабое, хрупкое здоровье надорвалось от непосильного труда и бессонных ночей. Молодая женщина с ужасом увидала, что работать не в состоянии; злой недуг постепенно подтачивал её силы, а средства уходили. Часто тихо плакала она но ночам, боясь разбудить спящую около Зиночку, и часто неслышно подходила к дочери, и скорбные слёзы лились обильнее из глаз матери. А жизнь с каждым днём уходила. Зиночка с тревогой глядела на мать, и ночью, бывало, когда мать начинала сильно кашлять, маленькая девочка в рубашонке являлась перед матерью и, глотая слёзы, подавала ей лекарство.

— Спи, спи, Зиночка… Милая… Мне ничего… Мне лучше… — говорила мать.

Но вдруг рыдания вырывались из худой, истерзанной недугом груди, и мать, предчувствуя близость вечной разлуки с этой милой девочкой, с какой-то порывистой страстностью прижимала к себе тихо плачущего ребёнка.

Прошло несколько лет, тяжёлых лет подтачивающей чахотки, и одним ранним весенним утром молодая женщина умерла, прижимая руку Зиночки к своим губам и глядя умоляющим взором на Степаниду Власьевну, давно уже обещавшую любить и беречь Зиночку, как родную дочь.

Смерть матери сильно подействовала на четырнадцатилетнюю Зиночку. Она захворала и, оправившись после нервной горячки, как-то вся притихла и стала серьёзной. Тяжёлая утрата и ранние заботы о будущем сделали её сосредоточенней, заставляя работать молодую головку. Эта бледная, исхудалая кроткая женщина с тоскливым взором, заглядывавшая, бывало, в глаза своей девочки, — эта любящая до самоотвержения мать осталась с тех пор на всю жизнь в сердце дочери светлым, чудным, поэтическим образом.

Зиночка была деликатным, кротким созданием. В ней счастливым образом соединились лучшие качества отца и матери. От первого она наследовала красивые черты лица, ум и упорство воли, от второй — чистый, ясный взгляд прелестных глаз и кротость души. Нечего и говорить, что добрая Степанида Власьевна ласкала сиротку не меньше, чем своих сыновей, и Зиночка, видевшая, как иногда тяжело приходится тётке, с шестого класса гимназии уже достала себе урок и, радостная и счастливая, приносила, бывало, несколько рублей растроганной Степаниде Власьевне.

Зиночка занималась прилежно и усидчиво. Нельзя сказать, чтоб занятия ей давались легко,

но зато всё, что она усваивала, она знала основательно. Отцовская энергия сказывалась и в ней, и она кончила курс одной из первых.

Но это, однако, не удовлетворило её. Ей хотелось учиться ещё, и она лелеяла мечты ехать в Петербург. Случайная встреча с одним из жильцов Степаниды Власьевны, немолодым невольным гостем Сибири, проведшим в ссылке лучшие годы молодости и, несмотря на многие испытания, сохранившим бодрость жизни и веру в идеал, ещё сильнее укрепила в молодой девушке желание учиться. Благодаря книгам жильца она впервые познакомилась с некоторыми из лучших произведений корифеев литературы и науки; перед её возбуждённым духовным взором открылся новый мир, мысль заработала.

Она поняла, как мало она ещё умственно развита, и благородная жажда знания, самоотверженная потребность быть полезной охватила юное, честное создание с неудержимой силой.

То был первый духовный кризис, пережитый молодой девушкой. Нечего и говорить, что она благоговела перед человеком, который первый разбудил её.

— Уезжайте, непременно уезжайте учиться, Зинаида Николаевна! На житейскую борьбу надо

выходить хорошо вооружённым! — говорил этот энтузиаст шестидесятых годов внимательно и благоговейно слушавшей его девушке.

Он говорил так, этот идеалист, несмотря на свои сорок лет, а сам с грустью думал, что эта милая девушка уедет… Да… Милая, хорошая девушка, на которую он украдкой взглядывал восторженным, любовным взглядом, в котором было нечто гораздо большее, чем дружеское расположение.

И в его голове невольно бродили заманчивые мечты о возможном счастии, которое бы тёплым лучом согрело его одинокую жизнь, если бы это молодое красивое создание осталось около него навсегда.

Но он недаром был идеалистом. Он гнал эти мысли, ругая себя эгоистом, готовым погубить молодое создание.

— Мерзость, мерзость! — говорил он, оставаясь один в своей комнате. — Человеку сорок, а он…

И, скрывая от ничего не подозревающей юницы свои горячие чувства, он подбивал её как можно скорее оставить это сонное болото — Жиганск.

Зиночка готова была хоть сейчас ехать, но на что ехать? И она решила набрать как можно более уроков и в течение года скопить себе на дорогу денег, а там, в Питере, она как-нибудь пробьётся.

Степанида Власьевна предлагала ей помощь, но Зиночка, зная, что у Степаниды Власьевны на руках сыновья-подростки, которых нужно было отправлять в университет, наотрез отказалась, решившись год усиленно работать.

Но в одно прекрасное утро жилец с весёлой улыбкой объявил ей, что неожиданно получил деньги, с которыми, мол, решительно не знает что делать, и просил Зиночку не обидеть его и взять по-товарищески на дорогу.

Тронутая и благодарная девушка, не подозревавшая, разумеется, с какими трудами были заняты эти «ненужные» деньги, согласилась, дав себе слово вернуть их из первых же уроков, и через несколько дней уехала в Петербург, провожаемая горячими пожеланиями Степаниды Власьевны и жильца. Занятая мечтами о занятиях, она и не догадывалась, что жилец, провожая её, хоронил свои последние мечты о личном счастии.

Не догадывалась об этом и Степанида Власьевна, к удивлению своему заметившая, что жилец вскоре после отъезда Зиночки стал «закучивать».

3

Трудненько было Зинаиде Николаевне в Питере, особенно в первое время, пока она не огляделась и не достала себе занятий. Приходилось живать в крошечных полутёмных комнатках, сырых и неприветных, питаться, иногда по неделям, одним чаем с ситником и щеголять зимней порой в летнем пальто и обуви, давно требовавшей обновления. Всего доводилось испытывать, рассчитывая каждый грош.

Но молодая девушка не унывала — недаром же в ней была упорная воля отца, — и все эти маленькие беды переносила шутя. Счастливая, что достигла заветной цели, она отдалась занятиям с энергиею и страстностью недюжинной натуры. Вся проникнутая важностью поставленной себе цели, гордая сознанием, что сама, без помощи, достигает её, она с каким-то суровым аскетизмом давила в себе невольные порывы молодой жизни, требующей не одних только занятий, не одних только книг, и не без внутреннего пренебрежения относилась к тем из товарок, которые, по её мнению, слишком увлекались жизнью со всеми её радостями, и если б тогда Зинаиде Николаевне сказали, что наука нисколько не мешает полю-

бить кого-нибудь, она ответила бы полнейшим отрицанием, с горделивой нетерпимостью фанатичной неофитки[36].

Она вела жизнь какой-то суровой подвижницы, эта студентка, избегая знакомств, чтобы не терять даром времени, сторонясь от всего, что отвлекло бы её от работы. День её был распределён со строгой аккуратностью, от которой она отступала в самых редких случаях. Утром она была на лекциях, затем шла домой, обедала, после отправлялась на уроки и вечера оканчивала за занятиями у себя дома.

Она отказалась от стипендии, которую ей предложили члены сибирского кружка в Петербурге, говоря, что есть девушки беднее её и более достойные стипендии, и никакие убеждения товарок, хорошо знавших положение Зинаиды Николаевны, не могли поколебать решения молодой девушки.

— Вы дурите, Степовая… Что за цель отказываться от стипендии? Или вы хотите всё время голодать? — уговаривали её землячки.

Зинаида Николаевна в ответ замечала, что пока она не голодает и что надеется скоро достать

---

[36] Примечания: 36

Неофит — человек, только что ставший приверженцем какого-либо учения.

уроки.

Уроки действительно были найдены, но какие уроки!.. За четыре часа в день она получала тридцать рублей в месяц и ухитрялась ещё из этого заработка ежемесячно отсылать по десяти рублей Степаниде Власьевне на уплату своего долга жильцу. При этом она всегда писала тётке, что живёт превосходно и ни в чём не нуждается.

Через год она выплатила долг, перебралась в лучшую комнату и стала обедать каждый день… Случайно подвернувшаяся работа по статистике, доставленная ей одной из товарок, улучшила её положение: она выкупила шубу, завела кое-какие вещи, подписалась в библиотеку и, посылая Степаниде Власьевне к Святой двадцать пять рублей, писала, что она теперь богачка и проживает целых тридцать рублей в месяц.

На математическом отделении Зинаида Николаевна была лучшей студенткой, и скоро её занятия обратили на себя внимание одного профессора, довольно известного учёного, талантливые и живые лекции которого приводили в восторг слушательниц.

Профессор заметил эту скромную, миловидную студентку, всегда слушавшую профессора с каким-то восторженным вниманием. Он как-то

заговорил с ней, желая пощупать её знания, и она, вспыхнувшая до ушей, отвечала так хорошо и толково, что профессор в скором времени предложил Зинаиде Николаевне приходить в лабораторию заниматься.

Она, разумеется, приняла предложение с глубочайшею благодарностью, не подозревая, что более близкое знакомство с профессором, столь ею чтимым и уважаемым, приведёт к большому разочарованию.

Счастливая, что допущена в святилище учёного, Зинаида Николаевна работала там с каким-то благоговейным трепетом и, разумеется, не замечала страстных взоров старого сатира, которыми нередко награждал её женолюбивый профессор, и не понимала его тонких, будто вскользь брошенных намёков на её красоту и изящество.

Благоговевшая перед профессором, она приписывала особенное внимание и любезность, оказываемые ей, высокой доброте его сердца и не догадывалась, зачем это он, окончив занятия, тратит своё драгоценное время на разговоры с ней. Она торопилась уходить, чтобы не мешать ему, а он нередко удерживал её, расспрашивал, прощаясь, сильно пожимал ей руку, задерживая её в своей руке. Что-то заставляло её тогда то-

ропиться ещё более, но она всё-таки ничего не понимала, пока однажды профессор совершенно для неё неожиданно не завёл интимного разговора о том, что он несчастлив в своей семье, что жена его старуха, но что он сам, несмотря на свои года, ещё юн сердцем.

Она слушала, опустив глаза, и сердце её почему-то упало, точно она ждала чего-нибудь тяжёлого.

И вдруг он взял её за руку. Она подняла детски испуганный взгляд и совсем растерялась при виде маленьких глазок, горевших каким-то плотоядным блеском, при виде взволнованного, раскрасневшегося старого лица, показавшегося ей теперь отвратительным, страшным.

А он продолжал говорить, что она может возродить его к какой-то новой жизни, и предлагал ей любовь, и снова говорил о её красоте и нелепости предрассудков…

Что говорил он ещё, девушка не слыхала. Она видела только это искажённое страстью, противное, поглупевшее лицо старика, она почувствовала прикосновение влажных губ к своей щеке, и чувство оскорбления, страха и отвращения охватило все фибры её чистого, целомудренного существа. Слёзы хлынули из её глаз, и она выбежала из кабинета.

Профессор имел настолько глупости, что бросился за ней, просил забыть «этот порыв чувства», никому о нём не рассказывать и приходить к нему по-прежнему.

Зинаида Николаевна ни слова не отвечала, торопясь уйти, убежать скорее… И когда она очутилась на улице, она не шла, а бежала, точно за ней гнались.

Только дома она несколько пришла в себя и дала волю жгучим слезам, почувствовав всю силу нанесённого ей оскорбления…

И на другой день Зинаида Николаевна в первый раз не пошла на курсы. Ей стыдно было идти туда, стыдно было встретиться с профессором. Страшное разочарование впервые стало знакомо молодой девушке.

На следующий день она, однако, пошла на курсы и на лекции женолюбивого профессора не смела поднять глаз на него. А он, по обыкновению, читал восхитительно, увлекая слушательниц… Талант так и бил ключом в его чтении, сверкая остроумием, неожиданно блестящими сравнениями, необыкновенною ясностью изложения. Зинаида Николаевна невольно взглянула на него, и лицо его теперь было совсем не то, что в тот день…

Лекция была окончена, и он как ни в чём не бывало пошёл через аудиторию. Но вот его взгляд кого-то ищет… Он останавливается.

— Отчего это вы, госпожа Степовая, пересели на другое место?

Зинаида Николаевна вспыхнула и отвечала, что ей так удобнее.

Он усмехнулся, пристально взглянул на неё и пошёл далее.

С тех пор Зинаида Николаевна уж не ходила больше заниматься к профессору и на вопросы товарок отвечала, что ей надоели эти занятия. На лекциях она сидела постоянно сзади и старалась не попадаться на глаза профессору. Зато на экзамене он её чуть не оборвал к общему изумлению всех курсисток. Он особенно долго её экзаменовал, и хоть она отвечала превосходно, профессор играл с нею как кошка с мышью, стараясь поставить её в тупик, что, разумеется, было ему не трудно. Отпуская её наконец и сделав одобрительный отзыв, он заметил, однако, что она гораздо бы лучше знала предмет, если б не бросила занятия в лаборатории.

Никто, разумеется, не понял скрытого смысла этого намёка и не догадался, почему в ответ на эти слова Зинаида Николаевна вспыхнула и

сурово сдвинула брови, почувствовав к этому профессору ещё большее отвращение.

Курс окончен. Степовая получила медаль; её работа по высшему математическому анализу напечатана и замечена специалистами. Но, к удивлению своему, Зинаида Николаевна вдруг увидала, что это её не удовлетворяет, что годы прошли один за другим в постоянных занятиях, а между тем она совсем отстала в смысле общего развития, и при массе разнородных знаний у неё нет определённого миросозерцания, которое бы обобщало и давало направление всем этим знаниям. И вот теперь она принялась читать, стараясь наверстать прошлое время. Новый мир открылся перед ней, тот мир, о котором когда-то намекал ей жилец, и ряд сомнений, ряд вопросов зароился в пытливой головке. И она отдалась теперь книгам, как прежде науке, по-прежнему сторонясь от жизни, по-прежнему подавляя в себе жажду жизни и ведя жизнь отшельницы в громадном городе. Уроки и книги, книги и уроки, изредка театр и тесный кружок знакомых.

Так прошло ещё два года до памятной встречи у одной из знакомых с оканчивающим курс медиком.

Это был весёлый, красивый, неглупый блондин

лет двадцати пяти, с саркастическим складом ума и наклонностью к ухаживанию. Он заспорил о чём-то с Зинаидой Николаевной, назвался проводить её домой и просил позволения зайти как-нибудь к ней «ещё поспорить». Дня через три он явился и стал затем ходить почти каждый день. Он подсмеивался над затворничеством Зинаиды Николаевны, над её увлечением одними книгами и незнанием жизни, кокетничал с ней своими радикальными взглядами, высказывал намерение по окончании курса не сделаться «врачом-буржуем», а посвятить себя служению народу и ехать в деревню, советуя и ей сделать то же, и в конце концов заговорил о любви… Зинаида Николаевна уже давно увлеклась им и полюбила его со всей страстью долго подавленного чувства. Решено было, что по окончании курса они повенчаются и уедут в деревню: он будет земским врачом, а она сельской учительницей.

Прошло несколько месяцев, счастливых месяцев, общих надежд, совместного чтения, споров, весёлых прогулок рука об руку и влюблённых поцелуев. Экзамен окончен, а о свадьбе нет разговора, и весёлый блондин стал реже посещать свою невесту, отговариваясь разными предлогами и откладывая своё намерение ехать на

служение народу…

Наконец летом Зинаида Николаевна получила письмо (она и до сих пор почему-то сохраняет это жестокое письмо), в котором молодой человек сообщил ей, что он принял порыв чувства за настоящее чувство и потому не смеет связывать и её, и себя, тем более, прибавил он, нельзя связывать себя браком человеку, которому, быть может, впереди предстоит «борьба».

Этот удар был жестоким ударом для молодой девушки; но он сделался ещё тяжелее, когда через несколько времени она узнала, что её герой женился на богатой девушке и завёл себе недурную практику, пристроившись к одному знаменитому врачу. Такого разочарования она не ждала.

И она ещё более замкнулась в самой себе, оскорблённая в своей привязанности, в своей вере в любимого человека.

Затем она уехала в деревню… Это время было одним из светлых воспоминаний Зинаиды Николаевны… Два года прошли как-то хорошо и спокойно среди крестьян… Учительница сделалась скоро общей любимицей, и разные шипы её деятельности не могли сломить её энергии. Но не в меру усердный становой, слишком проникнутый духом наступившего времени, сделал

то, чего не догадались сделать недоброжелатели Зинаиды Николаевны из сельской аристократии. [Он донёс на неё куда следует,] и Зинаида Николаевна должна была оставить место, [без права быть сельской учительницей.]

Она вернулась в Петербург и снова забегала по урокам…

А молодые годы один за одним уходили. А жить, как нарочно, хотелось.

В это-то время она и встретилась в Петербурге с Невежиным.

XVI
Объяснения

1

Когда, на следующий день после приезда Зинаиды Николаевны, Невежин рано утром пришёл к Василию Андреевичу, то сейчас же заметил, что его превосходительство не в духе. Молодой человек хотел было извиниться, что вчера не пришёл, но Ржевский-Пряник предупредил его и заметил раздражённым тоном:

— Я вчера за вами пять раз посылал… Вас искали и нигде не могли найти, а между тем было экстренное дело…

— Но Сикорский, вероятно, говорил вам, где я был…

— Что Сикорский, Сикорский! — вспылил старик, перебивая речь. — Сикорский всегда исполнял мои поручения с усердием… Сикорский?! Ну, да, он передал, что вы встречали на пароходе какую-то барышню и изволили сказать, что не будете… Но я после посылал записку; кажется, можно было бы догадаться, что я не из каприза беспокоил вас, а вы всё-таки…

Невежина начинал раздражать этот тон старика. Таким образом он никогда с ним не говорил, и Невежин недоумевал, что это значит. Он насупился и стоял молча, ожидая конца выговора.

— Вы хотя бы предупреждали, когда вам нужно исчезнуть на целый день, по крайней мере, я не гонял бы верхового даром… А то, согласитесь сами, экстренное дело, вы необходимы, я посылаю, и вам не угодно пожаловать…

Невежин и не подозревал, конечно, что раздражение его превосходительства было вызвано вовсе не тем, что Невежин не пришёл вчера, а совсем другим обстоятельством. Неприход Невежина был только предлогом излить раздражение и продолжать свои вариации на эту тему минут около пяти.

Невежин выслушал их до конца, закусив губы, и, когда его превосходительство наконец окончил, проговорил:

— Но ведь это дело поправимое, Василий Андреевич. Если моё первое непоявление по вашему зову так раздражает вас и вызывает такие длинные упрёки, то не лучше ли избавить и вас, и меня от повторения подобных сцен, — увольте меня от обязанностей вашего секретаря…

Старик совсем опешил.

— Ну вот… вы уж и обиделись!.. Точно и нельзя старику пожурить… Я и не думал… ей-богу, не думал обидеть вас… Ну… ну… не сердитесь, Евгений Алексеич, и не думайте говорить об увольнении! — упрашивал, внезапно смягчаясь, старик.

И с обычною своею экспансивностью Василий Андреевич встал, привлёк к себе Невежина и, целуя его, проговорил со слезами на глазах:

— Ведь я вашего отца знал, приятели были, — неужели вы старику всякое лыко в строку?.. Я понимаю, у вас были circonstances atténuantes[37]: вы встречали знакомую, и — говорят — хорошенькую, ну так бы и сказали…

Невежин чувствовал себя неловко пред стариком. Он вспомнил памятное свидание с его женой, окончившееся так неожиданно, и ещё раз пожалел о своей опрометчивости. Вместе с тем он и обрадовался, что старик, видимо, не догадывается, как молодой человек успокоил тогда нервы Марьи Петровны.

А его превосходительство между тем, почувствовав прилив откровенности, продолжал:

— Я сознаюсь, за что я на вас сердился… Мне передали, будто вы хвалились, что повернёте

---

[37] Примечания: 37
Смягчающие обстоятельства (*франц.*).

дело Толстобрюхова по-своему…

— Это вздор. Ничего подобного я никому не говорил.

— Честное слово?

— Честное слово!

— Ну, значит, меня ввели в заблуждение… Ещё раз извините меня! — проговорил Василий Андреевич, протягивая руку. — А теперь — об этом самом толстобрюховском деле… Я прочёл и нахожу, что вы несколько увлеклись…

— То есть как увлёкся?..

— Очень просто. Не зная здешних людей, вы заключили, что Толстобрюхов уж невесть какой злодей, а он, право, ещё лучше многих здешних тузов…

Невежин хотел было возразить, что ещё недавно сам Василий Андреевич согласился с мнением Невежина относительно оценки Толстобрюхова, но промолчал.

— Я вижу, вы не согласны со мной?..

— Не согласен…

— Поживёте здесь — согласитесь… Но, чтоб не насиловать ваших убеждений, я попрошу Сикорского составить доклад… Он неразборчивый, — улыбнулся его превосходительство, — и с удовольствием напишет, что ему прикажут…

Невежин горько улыбнулся. «Вот и первое его дело, в котором он мечтал быть полезным, пошло прахом!» — подумал он, не понимая, как это Василий Андреевич, человек, без сомнения, бескорыстный, мог совершить вопиющую несправедливость — хлопотать о заведомом мерзавце, который не прочь был вступать в сношения с такими господами, как Келасури.

А между тем дело было простое. Благодаря хлопотам Толстобрюхова и преимущественно его деньгам, Василия Андреевича со всех сторон осаждали просьбами, и даже сам Пятиизбянский, контрировавший с его превосходительством, вчера приезжал просить за Толстобрюхова, рассказав, между прочим, сплетню, сочинённую Сикорским, будто Невежин хвалится, что он повернёт дело по-своему, причём Пятиизбянский прибавил, что он, разумеется, не верит, чтобы вольнонаёмный секретарь из ссыльных мог иметь влияние на его превосходительство, который обещал уже давно ходатайствовать за Толстобрюхова.

Это окончательно взорвало Василия Андреевича, и он обещал ещё раз пересмотреть дело, и если найдёт возможным, то просить за Кира Пахомыча.

Таким образом, Кир Пахомыч, руководимый советами Сикорского, хоть и посеял ещё несколько тысчонок, но зато рассчитывал выйти победителем и в конце концов снять с себя клеймо подозрения, мешающее ему быть избираемым в общественные должности. Кира Пахомыча грыз честолюбивый червяк — ему хотелось сделаться городским головой.

Передав Невежину две-три бумаги и проект собственноручной записки для разработки, Василий Андреевич полюбопытствовал узнать: кто такая эта приезжая барышня? Откуда она приехала? Зачем приехала?

— О красоте её Сикорский вчера так много рассказывал, что заинтересовал и меня, и Marie… В особенности Marie заинтригована… В самом деле она так хороша?

Невежин удовлетворил любопытство старика и заметил, что действительно хороша.

— Значит, есть теперь за кем ухаживать, а? — шутливо спрашивал, подмигивая, его превосходительство.

Но Невежин так серьёзно ответил, что за такими девушками ухаживать нельзя, что Василий Андреевич, заметивший неудовольствие молодого человека, тотчас же прекратил свои шуточки.

Невежин собирался уже откланяться, как в кабинет вошла Паша и доложила, что барыня просит Евгения Алексеевича к себе на одну минуту.

— Идите, идите, Евгений Алексеич! Marie вчера целый день была не в духе и всё расспрашивала Сикорского о приезжей красавице… Вы ведь знаете женщин? Пока их любопытство не удовлетворено — они неспокойны… А у Marie вдобавок ещё эти нервы! — прибавил старик с кислой улыбкой.

2

Не с приятными чувствами входил и Невежин в будуар Марьи Петровны.

При виде этой женщины, сидевшей на низеньком диванчике в том самом костюме, в каком она была в памятный вечер, с распущенными волосами и оголёнными руками, эти неприятные чувства усилились до отвращения, и неблагодарный молодой человек, оглядев её быстрым холодным взглядом, нашёл сегодня Марью Петровну смешною в этом наряде вакханки. И морщинки вокруг подведённых глаз, и тёмные мешки под ними, и слой румян, покрывавший рыхлые щёки, и ожиревшие мясистые руки, и

желтизна открытой шеи… словом, все недочёты перезревшей красавицы бросились сегодня в глаза при дневном свете.

Томный, грустный вид, с каким Марья Петровна встретила молодого человека, молча указывая на кресло, нисколько не тронул Невежина.

«Неужели она станет упрекать и разыграет трогательную сцену? Не может быть… у неё всё-таки довольно такта!» — думал Невежин, присаживаясь в почтительном отдалении.

— Отчего вы вчера не пришли, Невежин? — заговорила она тихим голосом.

— Некогда было, Марья Петровна.

— А я вас так ждала, так ждала!.. — проронила она с упрёком.

«Начинается!» — подумал Невежин, решившись молча выдержать первый натиск.

— И хотя бы вы написали строчку, а то так резко ответили Паше на моё приглашение… Этого, признаться, я не ждала от вас… Не ждала!.. — проговорила она после паузы.

И Марья Петровна приложила батистовый платок к глазам, утирая слёзы и взглядывая одним глазом на Невежина.

Он сидел молча, не произнося ни одного слова утешения.

«Неужели всё кончено? — думала с тоскою в сердце Марья Петровна, чувствуя озлобление отвергнутой женщины, мечтавшей на склоне лет изведать счастливые минуты с этим красивым молодым человеком, возбуждавшим её желания. — Зачем же тогда, в тот вечер…»

И, чувствуя себя глубоко несчастной и обиженной, Марья Петровна нервно всхлипывала.

А Невежин вместо утешения по-прежнему упорно молчал.

Это молчание, этот безучастный взгляд, говорившие лучше слов, что мимолётный каприз молодого человека едва ли повторится, задели за живое уязвлённое самолюбие. Она торопливо утёрла слёзы и проговорила с неожиданной усмешкой:

— И я-то хороша. Разнервничалась. Я и забыла совсем, что вам вчера было не до приглашений. Вы встречали какую-то приезжую красавицу? — прибавила она, зорко всматриваясь в Невежина.

Он невольно покраснел, когда отвечал:

— Да, я встречал одну знакомую.

— Какая-то учительница, говорят? — с пренебрежением кинула Марья Петровна.

— Да, она приехала сюда давать уроки.

— Только для этого?

— А для чего же более?

— Вам об этом лучше знать, мосье Невежин! — усмехнулась Марья Петровна.

Невежин опять покраснел и резко проговорил:

— Кажется, уж вы знаете ещё лучше, чем я.

— Не знаю, а догадываюсь.

— О чём?

— Что эта барышня, похожая на монашенку, вероятно, ваша пассия.

— Вы правы. Я глубоко и искренно уважаю эту девушку.

— Вот как! — протянула она. — Я и не догадывалась, что вы можете так глубоко уважать женщину! — иронически прибавила Марья Петровна и, как бы спохватившись, заметила: — Однако что же я злоупотребляю вашим временем, когда вам нужно спешить домой? Простите великодушно.

И, протянув руку, Марья Петровна с улыбкой светской женщины простилась с Невежиным.

Но когда он ушёл, чувства злобы, ревности и оскорблённого самолюбия вырвались наружу.

— Я покажу, как оскорблять женщину! — бешено повторяла она сквозь слёзы, истерично рыдая. — Я покажу…

Рыдания делались всё сильнее и сильнее и

перешли в истерику.

— Что с тобой, Marie, что с тобой, милая? — испуганно спрашивал Василий Андреевич, прибежавший в будуар.

— Ничего, пройдёт… Не беспокойте барыню! — проговорила Паша, ухаживая за барыней.

Но в это время Марья Петровна открыла глаза.

— Что с тобой? Что тебя расстроило? — снова спрашивал Василий Андреевич.

— Уйди вон, старый дурак! — вдруг крикнула Марья Петровна, и истерика усилилась.

— Уйдите, барин! — шепнула Паша.

И Василий Андреевич, махнув безнадёжно рукой, ушёл в кабинет с видом поджавшей хвост провинившейся собаки, со страхом думая о нервах жены, которых даже и Невежин не мог сегодня успокоить.

XVII
Неожиданная экскурсия

1

Никак не ожидавший, что объяснение с сорокалетней Юноной окончится так благополучно и, главное, без тех «порций» мелодраматических сцен с переходами от нежнейшего piano к бурному fortissimo, сопровождаемому истерикой, до которых такие охотницы женщины перезрелого возраста, когда видят, что дело любовной интриги окончательно проиграно, Невежин спускался с лестницы в том счастливом расположении духа, в каком бывают школьники, неожиданно избежавшие длинного выговора за совершённую шалость.

Хотя, казалось бы, прежний опыт и должен был напомнить ему, что женщина — и особенно женщина, загоревшаяся поздней страстью, — всё прощает, кроме оскорблённого самолюбия, и не слишком-то радоваться этому кажущемуся хладнокровию Марьи Петровны, но, занятый своим чувством, счастливый, что Зинаида Николаевна здесь, что он её может видеть каждый день,

Невежин забыл о многом, о чём бы следовало помнить, и не сомневался, что весь этот «прискорбный эпизод» закончен. Разумеется, Зинаида Николаевна никогда не узнает об его «непростительно глупом легкомыслии», как называл про себя этот неблагодарный молодой человек своё поведение во время свидания, окончившегося столь неожиданно, по крайней мере, для самого Невежина.

Он и теперь, правда, готов был каяться задним числом по примеру всех слабохарактерных людей, что позволил увлечься мимолётным животным капризом и этим самым как бы осквернил своё чистое чувство к любимой девушке, но эти покаянные мысли пролетали быстро и нашли себе оправдание в тех ссылках на слабость человеческой природы, к которым обыкновенно прибегает в подобных случаях большинство мужчин, так что, выйдя на подъезд губернаторского дома, Невежин считал себя почти невиноватым.

Во всём, конечно, была, по его мнению, виновата она — эта «старая, опытная кокетка со своими подведёнными глазами и оголёнными рыхлыми руками — чёрт бы её побрал!».

Успокоив на чужом обвинении совесть, Невежин вышел на улицу, взглянул и остановился,

изумлённый странным зрелищем.

Толпы народа — мужчины, женщины, подростки и даже дети, — разбившись на кучки, бежали, обгоняя друг друга, стремясь по одному направлению. Толпа эта гудела сдержанным ропотом, взволнованная, возбуждённая, любопытная, спеша куда-то. По временам из кучек раздавались полные ненависти восклицания:

— Повесить их мало, подлецов!

— Среди бела дня и такой грех!

— И чего смотрит полиция?

— Полиция!.. Только название что полиция!

Невежин недоумевал, в чём дело. Он остановил какого-то мимо бегущего человека в поддёвке и спросил, куда бежит народ.

— Туда! — торопливо отвечала, не останавливаясь, «поддёвка», указывая куда-то рукой.

— Целую семью сейчас вырезали злодеи. Целую! — пояснила, останавливаясь и переводя дух, какая-то ветхая старушонка, слышавшая вопрос Невежина. — Ни одной живой души не оставили, батюшка! Вот оно что! Среди бела дня. Видано ли такое дело?!

И с последними словами старушка торопливо засеменила своими слабыми ногами, видимо, изнывая от нетерпения скорее попасть на место,

где было совершено преступление.

Охваченный чувством ужаса и вместе с тем любопытством, Невежин двинулся за толпой, невольно ускоряя шаги, и через несколько минут остановился вместе с другими перед небольшим одноэтажным деревянным домом почти в центре Большой улицы, где уже стояла громадная толпа, сдержанная и угрюмая. Полицейские сновали в толпе, упрашивая разойтись, но никто не обращал на них внимания, никто не думал уходить, и городовые притихали, чувствуя, что скажи они теперь грубое слово — толпа их разнесёт.

Прибывавшие жадно выслушивали подробности убийства, передаваемые в толпе, крестились, проклинали убийц и смотрели на этот маленький дом, серенький, покосившийся, где только что пролилась кровь. Ворота были заперты, и калитка охранялась городовыми, пропускавшими во двор только публику почище. Каждый раз, когда кто-нибудь возвращался оттуда, толпа волновалась, и новые подробности переходили из уст в уста.

Следователь и прокурор уже там… Девочка ещё жива. Деньги все похищены. Десять тысяч было… Вещи все целы… Не успели взять злодеи…

Прислушиваясь ко всем этим толкам, Невежин

случайно обернулся и среди массы голов увидел знакомое лицо того самого рыжего, которого он уж два раза встречал при исключительных обстоятельствах. Рыжий, очевидно, смутился и в ту же минуту исчез куда-то.

У Невежина невольно мелькнуло подозрение.

— Пропустите, господа, пропустите, пожалуйста!

Толпа расступилась, пропуская полицеймейстера, за которым молодцевато шёл Ржевский-Пряник, то и дело прикладывая пальцы к козырьку фуражки в ответ на поклоны и снимание шапок.

Старик был взволнован.

— Чтоб были разысканы эти зверюги! — вдруг крикнул он, видимо, для успокоения толпы, обращаясь к следовавшему за ним частному приставу.

Тот почтительно наклонил голову.

— Злодеи, мерзавцы!.. — сердито повторил он.

— Повесить их мало! — раздалось в толпе. Его превосходительство повернул голову и, увидав Невежина, приостановился.

— Пойдёмте вместе… Хотите?

Невежин охотно согласился.

Вслед за стариком он вошёл в калитку, оттуда

они подошли к раскрытому крыльцу, у которого стоял ещё кипевший самовар. Но перед входом на крыльцо все остановились. В сенях лежал ещё тёплый труп старого человека с окровавленной головой и с тусклым взглядом выкатившихся глаз, полных, казалось, застывшего ужаса. Около валялся окровавленный лом.

— Это сам хозяин!.. — проговорил полицеймейстер, невольно понижая голос.

Вошли в комнату, небольшую, чистенькую, среди которой стоял стол с приготовленным чайным прибором, и снова все остановились. У самого стола лежала полуодетая старая женщина, в капоте, залитом кровью. Рядом в маленькой тёмной комнатке, освещённой одним окном, зрелище ещё ужаснее: два детские трупа лежали среди комнаты, а в тёмном углу, за печкой, ещё труп — молодой женщины в сарафане… И среди тишины, царившей в детской, словно бы для контраста, весело заливалась канарейка в клетке.

У Невежина кружилась голова от этого вида трупов и крови, и он был доволен, когда все вошли в третью комнату, где были живые люди. Его превосходительство молча поздоровался с прокурором, следователем и врачами и приблизился к кровати, на которой лежала девочка лет

пятнадцати, издававшая по временам стоны.

— Будет ли она хоть жива? — тихо спросил, отходя, старик.

Доктор безнадёжно пожал плечами.

В эту минуту Невежин заметил, что девочка раскрыла глаза, уставилась на него и, припоминая, казалось, что-то, вдруг протянула вперёд руки и громко вскрикнула полным мольбы и ужаса голосом:

— Не убивайте… не убивайте меня!

Доктора подошли к ней. Подбежал и частный пристав, пришедший с генералом, всё время зорко и напряжённо всматривавшийся во всё и что-то записывавший в записную книжку.

— Кого вы боитесь? — спросил он.

— Этого… чёрного… с большой бородой… Ах!

И с этими словами девочка снова потеряла сознание.

— Напрасно вы беспокоите больную! — заметил с неудовольствием один из врачей.

Но молодой частный пристав в ответ значительно усмехнулся и передал следователю слова больной.

Следователь, толстый, приземистый господин, видимо растерянный, между тем вместе с другим полицейским чиновником составлял

протокол осмотра. Его сонное, одутловатое лицо, свидетельствовавшее о любви к кутежам, не вкушало особенного доверия к его способностям следователя. Растерянность и неумелость так и бросались в глаза. Невежин сразу догадался, что среди всех этих господ нет ни одного опытного в розысках человека, и только разве вот этот молодой, юркий частный пристав ещё может что-нибудь сделать. Недаром он пользовался репутацией хорошего сыщика.

Отдав приказание перевезти сильно израненную девочку в больницу, его превосходительство вышел на двор, сопровождаемый всеми чинами.

— Срам… срам! — проговорил старик. — Полиция совсем распущена… Среди бела дня, и такое ужасное преступление!

Полицеймейстер угрюмо молчал.

— Непременно надо найти убийц… Непременно… господин Спасский! — обратился его превосходительство к молодому частному приставу. — Я на вас надеюсь… Если вы отыщете мне убийц… я сумею наградить вас! — прибавил, понижая голос, старик. — Надобно немедленно начать розыски. Сделано распоряжение?

— Сейчас будет сделано! — ответил полицеймейстер.

— Сейчас будет сделано! — передразнил его превосходительство. — Это чёрт знает что такое… Немедленно же начните!.. Поручите это господину Спасскому.

— В таком случае я попрошу позволения через два часа уехать…

— Уехать? Вы думаете — убийцы уже бежали?

— Точно так-с.

— Что ж, с богом… И помните, что я вам сказал… Если поиски ваши увенчаются успехом, то… — Он не докончил речи и, обратившись к Невежину, тихо заметил по-французски: — Вот интересное путешествие… Хотите ехать с Спасским?

— С большим удовольствием.

— Хотите взять господина Невежина? Он вам не помешает?

— Очень буду рад! — промолвил Спасский и прибавил: — Через два часа я заеду за господином Невежиным.

В одиннадцать часов утра к квартире Невежина подъехала телега, и в ней сидел одетый в штатское платье человек, в котором Невежин только после объяснения узнал частного пристава Спасского.

2

— Надолго мы едем? — спросил Невежин, когда телега покатилась.

Спутник его неопределённо пожал плечами.

— Кто знает? Иногда эти поездки затягиваются… В прошлом году, например, я гнался за одним артистом целых две недели…

— И поймали?

— Поймал! — самодовольно отвечал Спасский. — Теперь, впрочем, всё будет зависеть от того, верны ли мои подозрения, или нет… Если верны — сегодня же к ночи нагоним молодца, который легко мог орудовать этим убийством…

— Но почему вы думаете, что убийца непременно бежал из города? — спрашивал Невежин.

— Показание девочки навело меня на мысль об одном очень ловком негодяе, который уж несколько раз вывёртывался из разных дел… Ну а затем эти два часа не прошли даром. Я навёл справки по всем дворам, откуда можно достать лошадей, и оказалось, что примерно через четверть часа после убийства выехал человек, очень похожий по признакам на того самого, кого я подозреваю.

— И вы имеете сведения, куда он поехал?

— Если бы имел, дело было бы очень просто! — усмехнулся пристав. — То-то нет…

— Почему же мы едем в эту сторону, а не в противоположную, например? — спрашивал Невежин, заинтересованный рассказом.

— Так, по некоторым соображениям предполагаю, куда он должен направиться… Впрочем, и по другим дорогам послана погоня…

— И вы надеетесь на успех?

— Это, батюшка, трудно сказать. В этих делах, как и во всяких, счастие много значит… Только зверь, за которым мы едем, очень крупный и опасный… Врасплох его не поймаешь… Того и гляди след заметёт, и во всяком случае легко в руки не дастся… Револьвер, конечно, вы взяли с собой?

— Взял, а что? Разве может понадобиться?

— Так, на всякий случай… Всяко бывает! — загадочно проговорил пристав.

Телега между тем выехала за город.

— Ну, теперь валяй вовсю! — крикнул Спасский ямщику. — А вы хорошенько держитесь, Евгений Алексеевич, а то и вывалиться легко.

Ямщик гикнул, и лошади, прижав уши и вытянувшись, понеслись во всю прыть по широкой почтовой дороге.

Через час, отмахавши двадцать две версты, тройка, еле дыша, остановилась у станции.

— Что, не случалось так езжать? — спрашивал Спасский. — Устали?

— Нет, ничего.

Они вошли на станцию. Спасский о чём-то стал шептаться с смотрителем. Через пять минут лошади были готовы.

— Ну, что… какие вести? — спросил Невежин.

— Проехал! — отвечал Спасский.

И на его лице играла та радостная улыбка, которая бывает у охотников, напавших на след зверя.

— Он был, значит, здесь, на станции?

— Нашли дурака! Он переменил лошадей в деревне, в трёх верстах, и очень торопился, как сообщают агенты.

— Какие агенты?

— Да полицейские, двое здоровенных парней. Они впереди нас едут. А вы думали, что мы только вдвоём с вами отправились на охоту? Благодарю покорно! Я ещё пожить в своё удовольствие желаю! — засмеялся Спасский.

Телега опять понеслась. Ещё станция, другая. Везде сведения были одни и те же — «проехал».

На третьей станции путешественники сделали передышку — закусили.

— А скверная ваша служба! — заметил Невежин, поглядывая на своего спутника, торопливо закусывавшего после рюмки водки.

— Д-д-д-а… Нельзя сказать, чтобы приятная!.. — философски заметил частный пристав. — Угодно будет по второй? — промолвил он, наливая рюмки. — Водка порядочная!

— И главное, за эту каторгу гроши платят! — заговорил он, прожёвывая кусок сыра. — Все это знают, и все нас ругают за то, что мы изыскиваем дополнительные средства для приличного существования… Прикажете ещё?

Невежин, однако, от третьей рюмки отказался.

— Мы здесь, в Сибири, имеем репутацию, так сказать, классических воров! — с весёлым смехом прибавил Спасский.

— Но эта репутация, конечно, преувеличенная? — деликатно подал реплику Невежин.

— Ну… лгать не стану. Где можно благородно взять, берём… Понимаете ли: благородно… Этак сорвать с какого-нибудь толстомордого купчины… Ведь и они рвут?.. Или, например, приобрести какой-нибудь предмет необходимости или роскоши за пятерню… Это мы любим…

— Что это значит, «за пятерню»?

— А это значит на чиновническом жаргоне — за

пожатие руки. Ха-ха-ха!.. Но опять-таки повторяю: благородно… Однако время-то не терпит… Едем, Евгений Алексеевич… Надеюсь, разговор наш имеет чисто конфиденциальный характер? — прибавил неожиданно Спасский.

— В этом могли бы не сомневаться!..

— То-то я и говорю с вами откровенно, как с порядочным человеком… Спроси меня, впрочем, сам его превосходительство, я бы и ему то же сказал… Да и кто этого не знает! — прибавил Спасский. — Беда только в том, что многие неблагородно берут…

— То есть как это неблагородно?

— Вымогает, пристаёт или сорвёт, да ничего не сделает… По-моему, это вовсе уж неблагородно!.. — пояснил, садясь в телегу, Спасский.

Стемнело, когда телега подъехала к четвёртой станции. Едва наши путешественники выскочили из телеги, как к Спасскому подошёл один из «агентов», высокий, молодцеватый парень, и стал о чём-то докладывать.

Невежин увидел, что лицо пристава озарилось улыбкой. Он отдал полицейскому какое-то распоряжение и, когда тот ушёл, сказал Невежину:

— Ну, кажется, накроем голубчика. Он должен ночевать в заимке, верстах в пятнадцати отсюда.

Глухое место… Там один старый поселюга живёт. Притон настоящий содержит. Я велел ещё двух мужиков на подмогу взять, и затем отправимся.

— А разве опасно, что вы принимаете такие предосторожности?

— А чёрт их знает, на кого там нарвёмся!

Через четверть часа, после того как напились чаю, три тройки одна за другой тронулись в путь и, проехав версты три по большой дороге, свернули в сторону. Дорога шла лесом. Ночь выдалась, что называется, воробьиная, ни зги не видать, и лошади тихо подвигались вперёд среди безмолвия непроницаемого мрака. Колокольчики были подвязаны.

Все хранили молчание. Так проехали час. Время, казалось Невежину, тянулось необыкновенно долго.

— Что, скоро заимка? — спросил он.

— Теперь, верно, скоро! — тихо и нервно ответил Спасский и стал закуривать папироску.

При свете спички Невежин заметил, что спутник его взволнован. И сам он был в нервном, напряжённом состоянии.

Наконец впереди мелькнул слабый огонёк. По приказанию Спасского тройки остановились.

— Это и есть заимка, — вполголоса сказал один

из мужиков.

Все вышли из телег и тихо один за другим пошли по направлению мигавшего огонька в глубоком молчании. Телеги остались сзади.

Когда среди безмолвия ночи вдруг невдалеке тявкнула собака, затем другая, третья, и огонёк вдруг исчез, Невежина охватило то безотчётное чувство страха и волнения, которое испытывают люди в ожидании неизвестной опасности.

XVIII
Старый знакомый

Собаки стали заливаться сильней. Слышно было, что вблизи фыркают лошади, но как ни напрягал Невежин зрение, а жилья не видал.

— Стучаться, что ли, ваше благородие? — раздался тихий голос передового.

— Подожди… Вы здесь, Евгений Алексеевич? — спросил Спасский.

— Здесь…

— А задние?

— Все здесь! — отвечал чей-то голос сзади Невежина.

— Стучись! — разрешил Спасский. — Имейте револьвер наготове, — шепнул он.

Невежин и без предупреждения нервно сжимал в кармане пальто ручку револьвера.

Раздался стук в ворота. Никто не выходил. Только собаки бешено лаяли. Наконец послышались шаги, и чей-то голос беспокойно спросил:

— Кто тут?

— Прохожие… Пусти переночевать, Макарыч! — отвечал Спасский изменённым голосом.

— Сколько вас?

— Двое, двое, Макарыч… Из Вяткиной пробираемся.

Ворота открылись. У ворот с фонарём в руках стоял какой-то человек. Невежин успел разглядеть в нём высокого старика.

— Здорово, Макарыч! — заговорил Спасский своим голосом, быстро подходя к старику. — Принимай, брат, гостей… Много их.

И все шесть человек очутились на дворе.

— Да вы кто такие будете? — тревожно спросил старик.

— Не узнал, что ли?.. Ну-ка посмотри хорошенько.

Невежин видел, как сразу передёрнулось лицо старика, когда он, подняв фонарь, увидал Спасского… Но, видимо, стараясь казаться спокойным, он поклонился и с напускным спокойствием проговорил:

— Чуть было не обознался, ваше благородие… Милости просим…

— Ну, Макарыч, теперь, брат, сказывай: кто да кто у тебя?..

— Да проезжий один, ваше благородие…

— Проезжий… Заблудился, видно? Мы за ним-то и приехали к тебе в гости… Веди-ка к нему!..

Да смотри, Макарыч, без баловства!.. — строго прибавил Спасский. — Нас видишь ли сколько.

Макарыч бросил беспокойный взгляд из-под седых нависших бровей на своих, видимо, нежданных, гостей и, не говоря ни слова, пошёл вперёд.

Через минуту все вошли в небольшую комнату.

— Здесь, — прошептал Макарыч, указывая на дверь.

— Один?..

— Один! Спит, должно быть…

— А вот мы его побудим!.. Иди-ка вперёд, Макарыч!

И с этими словами вслед за стариком в двери вошли Спасский и Невежин. На кровати, в углу комнаты, лежала чья-то мужская фигура. При свете огня Невежин, к удивлению своему, увидал знакомое лицо Келасури.

— Его-то нам и нужно! — весело проговорил Спасский.

В эту минуту Келасури проснулся и сонным, недоумевающим взглядом глядел на стоявших перед ним людей. Но вдруг его лицо, смуглое, заросшее бородой, с загнутым, как у хищной птицы, армянским носом, исказилось выражением

ужаса. Зрачки глаз расширились, губы вздрагивали. Ещё секунда, и он, полуодетый, присел на кровати, озираясь вокруг с видом зверя, застигнутого врасплох. Ловким движением руки он незаметно достал из-под подушки револьвер и нервно сжимал его в своей волосатой руке.

Невежин наблюдал за ним. Он видел, как мрачно блистали его большие тёмные глаза, острые и горячие, как быстро ощущения страха, злобы и отчаяния отражались на этом сухом, мускулистом, напряжённом и сосредоточенном лице, как напрягались жилы на его низком, сморщенном лбе, покрытом каплями пота… Казалось, этот человек не пришёл ни к какому решению. Так прошла ещё секунда-другая — и решение, очевидно, было принято. Лицо Келасури застыло в выражении спокойного изумления.

— Чуть было не напугали меня! — проговорил он сдержанным спокойным тоном, пряча револьвер и вопросительно глядя на Спасского.

Тот ещё накануне снова преобразился в полицейского чиновника, и Келасури отлично его узнал.

— Совершенно напрасно, господин Келасури! — отвечал самым добродушным тоном Спасский и неожиданным движением достал из-под подуш-

ки револьвер. — Долго ли до греха с перепугу! Лучше его спрячем! — прибавил он, опуская револьвер в карман.

Келасури ещё с большим удивлением взглянул на Спасского, по-видимому недоумевая.

— А я вот к вам маленькое дельце имею! — продолжал Спасский.

— Ко мне? — переспросил, всё ещё удивляясь, Келасури.

— Да, так, кое-какие сведения нужно собрать… Так уж вы соблаговолите одеться… Не стесняйтесь, пожалуйста…

Когда Келасури одевался, Спасский не спускал с него глаз, следя за каждым его движением.

— Я к вашим услугам… Что вам угодно? — спросил, одевшись, Келасури.

На нём был хорошо сшитый городской костюм.

— Ты бы, Макарыч, вышел пока… Эй! Степанов… займи-ка Макарыча!.. Да чтобы он как-нибудь того… грехом, не убежал…Понимаешь?.. — прибавил Спасский, отдавая приказание вошедшему полицейскому. — Садитесь-ка, господин Келасури, и не будьте, пожалуйста, на нас в претензии, что мы вас побеспокоили… Сами понимаете, служба уж такая…

Келасури пожал плечами и не проронил слова.

— Ну-с, так вот дельце какое… Скажите, пожалуй, давно ли вы из Жиганска?..

— Вчера…

— Так-с… В котором часу изволили выехать?..

— А право, не помню хорошо… Знаю, что рано… часу этак в шестом… А почему вас это так интересует?..

— Сейчас скажу… Прежде только объясните: сюда как вы попали?

— Да, полагаю, так же, как и вы… Сбился с дороги…

— Сбились с дороги?.. Так, так-с… А выехали в шестом часу?.. — как бы в раздумье протянул Спасский, видимо, доставляя себе удовольствие тянуть эту прелюдию допроса. — Значит, об убийстве в Жиганске не слыхали?

— А разве случилось убийство? — так спокойно переспросил Келасури, что Невежин готов был в эту минуту думать, что Спасский ошибается, подозревая этого человека.

— Как же, пять человек убито… Но только девочка-то жива, господин Келасури! — неожиданно прибавил Спасский, глядя прямо в глаза Келасури.

Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он только презрительно поджал губы и, усмехнув-

шись, промолвил:

— Уж не меня ли вы подозреваете?..

— То-то вас, господин Келасури. Нечего перед вами играть комедию… Вы, слава богу, человек умный и сами, я думаю, догадались… Кстати, что это у вас за шрам?.. — вновь неожиданно спросил Спасский, указывая пальцем на свежую довольно большую царапину под самым глазом. — Верно, ушиблись?..

— Ушибся! — смеясь, ответил Келасури. — А ведь вы, господин Спасский, напрасно прикатили за мной, ей-богу, напрасно… Конечно, это ваше дело, а всё-таки… напрасно… Я ещё убийцей не бывал! — проговорил он сухо и сдержанно, точно скрывая про себя обиду. — Руки для этого слишком чисты! — брезгливо прибавил он, показывая свои небольшие мускулистые руки.

— А всё-таки я вас арестую.

— Вижу, что так…

— И, уж извините, обыщу вас.

— Сделайте одолжение…

Спасский позвал полицейского и что-то шепнул ему, Невежин в это время перехватил полный ненависти взгляд Келасури, брошенный на Спасского.

— Не лучше ли, господин Келасури, без всяких

этих миндальностей, — снова сказал Спасский.

— То есть как?

— Да так… Сознавайтесь… ведь это дьявольски смелое убийство — дело ваших рук?..

— Охота вам вздор говорить, господин Спасский… А впрочем… — Какая-то мысль, очевидно, пробежала у него в голове, и он вдруг сказал: — Попросите-ка этого господина выйти на минутку…

Невежин ушёл в соседнюю комнату, где Макарыч и ямщик находились уже связанными.

Через минуту Спасский позвал Невежина.

— Сделка не состоялась!.. Сейчас Келасури предлагал мне пять тысяч, если я его выпущу отсюда! — весело говорил Спасский.

— И не думал… Лжёте вы! Предложи вам и тысячу, вы, наверное бы, выпустили! — проговорил Келасури.

Вошли двое полицейских и стали обыскивать Келасури. Ничего подозрительного не найдено было ни на нём, ни в его чемодане. Спасский, видимо, начинал беспокоиться. Тем не менее он приказал связать Келасури, и когда это было сделано, сам Спасский начал обыскивать комнату. Обыскали весь дом — ничего не нашли. Тогда кто-то подал мысль осмотреть телегу. Келасури

вздрогнул.

Через десять минут Спасский возвратился сияющий. В руках у него была большая пачка денег и билетов.

— А ведь остроумно придумано… Как вы полагаете, где были деньги? — обратился он к Невежину.

— Где?

— Врублены в бок телеги… Откуда это у вас столько денег, господин Келасури?

— А почему вы думаете, что это мои деньги? — нагло переспросил тот.

— У следователя вы, наверно, будете разговорчивее… Смотри в оба за ним! — строго проговорил Спасский, и, приставив к Келасури двух полицейских, он вышел в соседнюю комнату и снял допрос с Макарыча и ямщика.

С рассветом три тройки ехали обратно, везя арестованных. На одной из них между двух полицейских сидел Келасури с наручниками. Спасский был необыкновенно весел и всю дорогу болтал без умолку, вспоминая прежние свои подвиги.

К вечеру приехали в Жиганск, и три арестанта были тотчас же заключены в острог.

XIX
В театре

1

Вечером следующего дня назначен был дебют только что приехавшей актрисы Панютиной, о таланте которой шла хвалебная молва. Говорили, что такой замечательной артистки в Жиганске ещё не было, и приезд её в Сибирь после триумфов на разных сценах объясняли какой-то романической историей. В местном «Листке» была напечатана её биография с целым букетом хвалебных отзывов других провинциальных газет, и репортёр, собиравший эти сведения и одарённый южной впечатлительностью, на всех перекрёстках кричал о необыкновенной красоте и не менее необыкновенном уме «божественной примадонны», жалуясь, что редакция «Листка» значительно исказила доставленную им биографию, исключив самые «горячие места» из его впечатлений при знакомстве с артисткой. Наконец, сам Ржевский-Пряник, старый театрал, проведший свою молодость среди актрис и понимавший толк в сценическом искусстве,

усердно пропагандировал Панютину, которую раньше видел на клубных сценах Петербурга, и с обычной своей экспансивностью всем рекомендовал идти посмотреть замечательную актрису, причём многим конфиденциально прибавлял, щуря свои маленькие глазки, как кот, которому чешут за ухом, что Панютина прехорошенькая, препикантная женщина…

К восьми часам вечера маленький жиганский театр, обыкновенно пустой, был полон. Представители более видного чиновничества, богатого купечества, инженеры, военные, учителя и, наконец, знаменитости разных уголовных процессов — «бубновые тузы» на покое[38] — словом, «весь Жиганск» был налицо. Дамы, наполнявшие ложи, особенно щеголяли сегодня своими костюмами, а купеческие жёны и брильянтами. Мужчины принарядились и имели праздничный вид, восторженный репортёр поминутно выбегал из залы

---

[38] Примечания: 38

…знаменитости разных уголовных процессов — «бубновые тузы» на покое… — «Восточное обозрение», газета сибирских областников, выходившая в Петербурге (1882–1887 гг.), писала о слишком терпимом отношении к уголовным преступникам в Томске.

> «Бубновые тузы в Томске продолжают свою отважную деятельность. Кроме посещения гостиниц, они проникли, как пишут, везде — и особенно в дома богачей. Не редкость встретить какого-нибудь туза в собрании. Что этим разным Полянским ссылка — блаженство».

и озабоченно сиял, точно сам он до некоторой степени был виновником торжества.

У рампы толпилась кучка молодых людей из местных франтов, среди которых обращал на себя внимание высокий белокурый господин, принимавший различные позы с напускным видом небрежного равнодушия. Он то вытягивался, то наклонялся вперёд, напоминая собой дрессированного жеребца, выведенного для гонки на корде. Тут же, серьёзный и сосредоточенный, с внушительным видом человека, сознающего бремя предстоящих обязанностей, стоял и рецензент «Листка» — гроза бедных артистов, давно уже собиравшихся «проучить» строгого зоила[39], не дававшего пощады.

Оркестр, способный привести в бешенство даже самого нетребовательного слушателя, только что окончил какое-то «морсо»[40] и собирался вновь терзать уши, когда в крайней ложе, минут за пять до восьми часов, появилась представительная фигура её превосходительства, сопровождаемая

---

[39] Примечания: 39

Зоил — древнегреческий философ, злобно и мелочно придиравшийся к поэмам Гомера. В переносном смысле — несправедливо-придирчивый критик.

[40] Примечания: 40

Отрывок (от *франц. le* [illegible] *morceau*).

бодрящимся и, видимо, весёлым стариком супругом. Вслед за тем в залу вошёл, молодцевато потряхивая бёдрами и приветливо пожимая знакомым руки, полицеймейстер. Он был в духе и, весело улыбаясь, тотчас же сообщил новость, что только что пойман и другой подозреваемый участник убийства. «Теперь Келасури заговорит!» — таинственно прибавлял он, подмигивая глазом и поглядывая по временам на губернаторскую ложу.

Марья Петровна сегодня была особенно эффектна в своём тёмно-вишнёвом бархатном платье, отделанном кружевами, с букетиком белых роз у груди. Испанская кружевная косынка, наброшенная на голову, не закрывала её блестящих чёрных волос, гладко зачёсанных назад, что значительно моложавило её красивое, свежее, горевшее парижскими румянами лицо, а прелестно подведённые глаза искрились огоньком. Презрительно щурясь, она лениво обводила глазами публику лож и партера, отвечая чуть заметными кивками на почтительные поклоны, как вдруг с лица её исчезла улыбка, и она быстрым движением взяла с барьера бинокль и навела его в задние ряды кресел.

— Однако я ожидала, что у твоего Невежина

лучший вкус! — проговорила Марья Петровна слегка вибрирующим от волнения голосом, обращаясь к мужу.

— А что?.. Чем ты, Marie, недовольна Невежиным? — засуетился старик, несколько удивлённый, что жена, которая, казалось, так расположена была к молодому человеку, теперь употребила выражение: «твой Невежин».

— Эта его пассия… приехавшая курсистка, совсем не привлекательна, — протянула Марья Петровна, презрительно сжав губы. — Верно, это она рядом с ним, в костюме кающейся грешницы? — насмешливо прибавила она, кивнув головой на партер.

Василий Андреевич навёл бинокль и смотрел на Зинаиду Николаевну едва ли не долее, чем бы следовало для подачи своего мнения, на этот раз положительно несогласного с мнением супруги. Он, напротив, нашёл, что эта девушка необыкновенно привлекательна и изящна в своём скромном чёрном костюме, но, не желая портить себе вечера, обещающего удовольствие, дипломатически проговорил, окончив осмотр:

— Ничего особенного, конечно, но…

— Но что?

— Но всё-таки… недурна! — прибавил он, не

решаясь слишком погрешить против истины.

— Удивляюсь, как ты, знаток красоты, — подчеркнула она ядовито, — не видишь в этой девушке чего-то вульгарного…

А этот нос, губы!.. И, наконец, она и не молода… Впрочем, теперь для тебя, кажется, всякая юбка недурна! — прибавила Марья Петровна с презрительной усмешкой, стараясь подавить закипавшее раздражение…

— Ты, верно, Marie, её худо рассмотрела! — оправдывался Василий Андреевич. — Конечно, в ней есть что-то вульгарное — не спорю, ты права, — но черты лица…

Но Марья Петровна не слушала и снова навела бинокль, терзаемая неодолимым желанием ещё раз взглянуть на девушку, благодаря которой она была жестоко оскорблена Невежиным.

«Так вот она, эта виновница!» — думала Марья Петровна, жадно впиваясь глазами в Зинаиду Николаевну.

И глухая ненависть всё более и более разгоралась в сердце отставной красавицы при виде Зинаиды Николаевны, которая сидела рядом с этим красивым Невежиным, видимо счастливым и сияющим, не переставшим о чём-то разговаривать с своей соседкой и, казалось, забывшим

обо всём на свете.

— Ну, что… Остаёшься ты при прежнем мнении, Marie? — добродушно спросил ничего не подозревавший супруг.

— Пожалуй, ты прав, Basile. Теперь я лучше рассмотрела… Эта… особа не так дурна! — тихо, совсем тихо, едва сдерживая волнение, проговорила Марья Петровна самым ласковым тоном.

И Василий Андреевич, давно не помнивший, чтобы жена в чём-нибудь с ним соглашалась, не без радостного удивления услышал её ласковый, даже нежный голос и, взглянув на жену, слегка побледневшую, но улыбающуюся, с блестящими глазами и горделиво поднятой головой, сказал с рыцарской любезностью:

— Зато ты, Marie, сегодня необыкновенно авантажна.

— Ты находишь? — усмехнулась Марья Петровна. — Однако сейчас начинают! Посмотрим, какова твоя хвалёная Панютина! — любезно прибавила эта актриса-зрительница и повернулась к сцене, когда среди внезапно наступившей тишины взвился занавес.

2

Шла пьеса малоизвестного драматурга, пьеса, не отличающаяся большими достоинствами, но с недурно намеченными двумя-тремя характерами, дающими благодарный материал для игры. Особенно удачна была главная женская роль, исполнявшаяся дебютанткой.

Панютина показала себя незаурядной актрисой. Высокая, статная, с выразительными чертами лица, с чудным голосом, способным выражать разнообразные оттенки, она с первого же акта приковала внимание зрителя. И, глядя на эту властную, энергичную молодую женщину, каждое слово которой выдавало скрытую ненависть к старому, суровому богачу-мужу, зритель чувствовал, что с подобной женщиной шутить нельзя, что, раз ею овладеет страсть, она охватывает её всю, и горе тем, кто стоит на пути. С первого же действия было видно, что бесхарактерный, слабый молодой человек, влюбившийся в неё, станет её жертвой, если только и она полюбит его. Но она ещё словно в раздумье и как бы сама боится рокового чувства. Ей, видимо, и нравится этот красивый, слащавый, восторженный юноша, и в то же время она его слегка презирает,

понимая всю слабость и ординарность его натуры. Но страсть заразительна, и когда в конце первого акта юноша в пламенных речах говорит ей о своей любви, во всём лице её, во всей фигуре чувствуется внутренняя борьба, и наконец она так холодно и жёстко смеётся, стараясь этим смехом скрыть овладевшее ею волнение, что зрители притаили дыхание, с тяжёлым чувством, точно в ожидании надвигавшейся грозы.

«Уйдёт ли этот влюблённый юноша после такого оскорбительного смеха подобру-поздорову?» — невольно проносилось в голове у каждого.

Но юноша, по примеру всех слащавых юношей, не только не понял опасности и не ушёл после этого презрительного смеха, но в новом монологе стал изливать свои чувства и просить как милости — не гнать его, позволить ему хоть изредка её видеть… словом, повторил всё то, что неизменно повторяется в таких случаях с сотворения мира.

И она слушала, слушала, и эта любовная музыка речей опьяняла её.

Зритель чувствовал, что гроза надвигается ближе и ближе, когда артистка вдруг проговорила шёпотом, суровым и в то же время полным страсти: «Любить меня не забава… Можете ли вы так любить?».

Юноша, конечно, обещает, не понимая, что он обещает, и когда артистка со словами, полными рокового значения: «Смотри же, я тебя предупредила!» — вся трепещущая, счастливая, замирающая от страсти, бросается к нему на шею, — весь театр дрогнул от рукоплесканий, и вызовам после первого акта не было конца.

— Что, какова… какова Панютина? — восторженно говорил Ржевский-Пряник, обращаясь к жене.

Но Марья Петровна даже не удостоила ответом мужа, который, искоса взглянув на жену, немедленно исчез из ложи, чтобы пойти за кулисы и поздравить артистку с огромным успехом.

Марье Петровне было не до разговоров. Она вся находилась под обаянием игры и невольно отождествляла себя с героиней пьесы. Ей хотелось по крайней мере походить на неё и думать, что положение её сходно. И она несчастлива с мужем — правда, он не суровый тиран пьесы, но от этого ведь не легче! И она хочет любви и счастья, которое уже было началось, если б не эта… Злоба и жажда страсти душили её. Она в эту минуту ненавидела Зинаиду Николаевну и Невежина со всей силой оскорблённого самолюбия и неудовлетворённого желания. И обида принимала более

острый характер после того, как она видела их вдвоём, счастливых и радостных, после того, как она вновь вспоминала оскорбительное пренебрежение, с каким этот обласканный ею Невежин разорвал отношения… И это в благодарность за то, что она принесла ему в жертву супружеский долг!.. — думала Марья Петровна, доставляя себе удовольствие иллюзии — быть в виде жертвы… Ничего подобного ещё не случалось с ней раньше… Она, положим, и прежде увлекалась и даже не раз приносила в жертву любви супружеский долг, но всегда она бросала любовников, а не они её! — подумала Марья Петровна, припоминая длинный ряд прежних своих увлечений.

Невольно взглянула она в партер, но тех, кого она искала, не было. Вместо них она встретила пристальный взгляд Сикорского, давно уже незаметно наблюдавшего за ней. В ответ на его низкий почтительный поклон она лёгким движением головы подозвала его и, поднявшись с места, вышла в коридор.

— Извините, Михаил Яковлевич, что беспокою вас… Василий Андреевич, верно, за кулисами, и мне не к кому обратиться. Принесите, пожалуйста, стакан воды… Здесь сегодня такая жара…

Чуткое ухо Сикорского уловило особенную

любезность в тоне голоса, а взгляд его увидал самую милую и ласковую улыбку, какой давно не дарила Михаила Яковлевича недолюбливавшая его Марья Петровна.

«Не за водой ты меня, матушка, позвала!» — подумал он, и в то же время спросил:

— Не позволите ли принести вам лимонаду?

— Нет, нет… воды.

Через минуту он уже подавал воду и спрашивал:

— Как вам понравилась Панютина?

— Хороша…

— Все от неё в восторге… Вот только Евгений Алексеич недостаточно ею восхищён…

— Ему она не нравится? — с самым равнодушным видом усмехнулась Марья Петровна.

— То-то, не особенно… Да он и не смотрел на сцену!.. — засмеялся Сикорский. — Он больше занят был своей соседкой… Прехорошенькая барышня! — как бы невзначай кинул Сикорский, глядя с самой невинной улыбкой на Марью Петровну.

— В самом деле?.. Признаться, я не обратила особенного внимания… Так, мельком взглянула!.. — ответила Марья Петровна всё тем же спокойным тоном.

Но голос её слегка дрогнул, и гримаска пробежала по лицу.

— Сдаётся мне, что наш молодой человек от этой барышни без ума…

— А она? — вырвался нетерпеливый вопрос у Марьи Петровны.

— Она… О, тут целая романическая история… Если позволите, я вам когда-нибудь расскажу, а теперь не смею беспокоить вас рассказом… Сейчас начинают!.. — прибавил Сикорский, наклоняя голову.

— Так приезжайте после спектакля рассказать эту историю!.. Я люблю романические истории! — проговорила она с искусственным смехом.

— Это про какую историю? — подхватил Василий Андреевич, подходя к ним весёлый и сияющий после четверти часа, проведённой за кулисами за комплиментами Панютиной.

— Про одну пикантную историйку, ваше превосходительство! — проговорил Сикорский, удаляясь с почтительным поклоном.

Начался второй акт. С появлением Панютиной театр затих. Все взоры были устремлены на артистку, теперь счастливую женщину, наслаждающуюся взаимной любовью, мягкую и нежную, пока муж не узнаёт о неверности жены

и не грозит выгнать её из дома, лишив наследства. И только что началась сцена объяснения с мужем, в которой жена высказывает, что она его никогда не любила и что любит другого, причём, в свою очередь, грозит мужу местью, если он посмеет исполнить свои угрозы, как в двери боковой ложи вошёл полицеймейстер и доложил, что только что получено известие о побеге Келасури из острога.

«Чёрт бы его побрал!» — подумал Василий Андреевич, выходя недовольный в коридор, чтоб сделать нужные распоряжения.

XX
Любопытная «историйка»

После спектакля Сикорский поехал к Ржевским-Пряникам и за чайным столом рассказал обещанную романическую «историйку», ожидание которой заставило Марью Петровну волноваться во всё продолжение спектакля. Рассказ Сикорского, полный пикантных подробностей, частью сообщённых ему, частью вымышленных им самим, произвёл на влюблённую барыню сильное впечатление и окончательно убедил её в невозможности вернуть Невежина. Несмотря на уменье скрывать свои ощущения, Марья Петровна всё-таки не могла скрыть от проницательных взоров такого опытного сердцеведа, как Сикорский, волнения, возбуждённого в ней рассказом. Сикорский и раньше подозревал, что потерей места частного секретаря при Василии Андреевиче он обязан его супруге и что особенное покровительство, оказываемое «стариком» Невежину, было делом рук Марьи Петровны и, главным образом, её любовных вожделений и расстроенных нервов. Теперь он вполне убедился, что «баба

влюблена, как кошка», и втайне ликовал, что Невежин оказался дураком, уклонившись, по-видимому, от чести успокаивать нервы опытной в амурах перезрелой красавицы.

Она не простит этого Прекрасному Иосифу, лишившему её такого удобного случая. Его шансы упадут, и влюблённая супруга теперь сама подаст мужу мысль удалить молодого человека, — надо только взвинтить её хорошенько!

Так думал Сикорский и продолжал «взвинчивать», рассказывая не без патетического одушевления перипетии романической истории, окончившейся для Невежина ссылкой в места не столь отдалённые.

— Не правда ли, любопытная историйка? — обратился он с вопросом, взглядывая на Марью Петровну с самым невинным видом.

— Да… любопытная! — проговорила задумчиво Марья Петровна.

— Как же, Михаил Яковлевич, вы раньше нам не рассказали? — упрекнул старик, очень любивший слушать всякие пикантные рассказы.

— Я и сам только что сегодня о ней узнал.

— Откуда? — с живостью спросила Марья Петровна.

— О, из самых достоверных источников! — от-

вечал с улыбкой Сикорский. — Я получил письмо из Петербурга от брата, и он между прочим сообщил мне то, что я имел честь рассказать вам.

Сикорский умолчал только о том, что сообщение это было ответом на его просьбу навести подробные справки о деле Невежина, и брат его, присяжный поверенный, написал ему о слухах, ходивших о деле Невежина среди адвокатов.

— Во всяком случае, Невежин поступил по-рыцарски, скрыв от суда имя девушки… Не правда ли, Marie?

Но «Marie» на этот раз не только не приняла стороны молодого человека, а напротив, резко отнеслась к нему. И жена Невежина, которую прежде она готова была считать виновницей семейной драмы, теперь нашла в Марье Петровне неожиданную горячую защитницу!

«Несчастная страдалица! Сколько она перенесла из-за этого человека! Его поведение относительно жены возмутительно, бесчеловечно! Жениться из-за денег… какая гадость! Не пощадить её чувств!.. Признаться, она никак не ожидала, чтобы этот молодой человек… был так испорчен!»

— Но, послушай, Marie, ведь ты сама же не раз говорила, что чувство свободно и что его купить

нельзя!.. — пробовал было возразить Василий Андреевич, удивляясь такой внезапной перемене в отношении к Невежину. — Ты прежде сама защищала молодого человека.

— Ну так что же?.. Я прежде не знала подробностей всей этой истории. Я думала, что жена подала повод к разрыву…

— Она, говорят, была ревнива, как только может быть ревнива отвергнутая женщина! — вставил Сикорский.

— И вдобавок дурна, как смертный грех, — прибавил Василий Андреевич, как бы в доказательство, что эти две причины вполне уважительны для того, чтобы отнестись снисходительно к Невежину.

— А кто ж его заставил в таком случае жениться? — резко остановила мужа Марья Петровна.

— Мало ли какие бывают причины…

— Он запутался в долгах! — заметил Сикорский.

— Раз женился — неси свой крест! — не без торжественности промолвила Марья Петровна и вздохнула. — Браком шутить нельзя… Брак — это… это… таинство… Из-за какой-то студентки стрелять в жену!.. Вот к чему приводят все эти нынешние идеи! — совершенно неожиданно

выпалила генеральша, закипая всё большим и большим раздражением. — Нет, я положительно разочаровалась в Невежине… Сделай это какой-нибудь нигилист, а то человек из хорошего круга, с хорошим воспитанием… Несчастная жена брошена, а эта героиня не довольствуется тем, что осквернила семью, а ещё едет сюда за героем (подчеркнула она), чтобы открыто жить по их правилам, в гражданском браке! После этого разве можно удивляться, что открытый разврат вводится в догму этими барышнями с высшим образованием! — негодующе прибавила добродетельная жрица адюльтера.

— Но почему ты знаешь об их отношениях? — робко заметил Василий Андреевич, возмущённый, что жена клевещет на совершенно незнакомую девушку.

Марья Петровна сверкнула глазами и спросила:

— А зачем же она сюда пожаловала?

— Невежин говорил, что повидаться с тёткой…

— Повидаться с тёткой? И ты поверил? Очень умно придумано, но только совсем неубедительно… Она приехала, чтобы броситься на шею этому великодушному молодому человеку и сделать из него такого же адепта нигилизма, как и она

сама… Недаром она курсистка!..

— А ведь вы угадали, Марья Петровна! — снова вставил Сикорский, с интересом наблюдавший за результатом своей «историйки». — Я кое-что слышал о госпоже Степовой, и знаю, что она из красных барышень… Она уж удостоилась быть выгнанной из одной деревни, где после окончания курса была учительницей и где, конечно, пропагандировала идеи всеобщего благополучия… Вероятно, и здесь, на родине, она, как горячая патриотка, будет пропагандировать идеи сибирского патриотизма и, чего доброго, обратит милейшего Евгения Алексеевича в местного патриота… «Америка для американцев»… «Сибирь для сибиряков!»

И Сикорский, этот старый Яго, засмеялся своим беззвучным смехом, посматривая на Василия Андреевича.

— Вот видишь ли? — воскликнула Марья Петровна, довольная, что нашла союзника. — А ты… ты…

— Что я? — оторопел бедняга Василий Андреевич, почувствовавший, что готовится бурная сцена.

— А ты, по обыкновению, готов защищать всякую смазливую рожицу и не видишь, что у тебя

делается! — со злостью, хотя и без всякой последовательности, прибавила Марья Петровна.

Сикорский благоразумно откланялся, предоставив Василию Андреевичу одному выдержать продолжение семейного шторма, неминуемость которого Сикорский предвидел.

И он не ошибся. Только что он вышел за двери, как Марья Петровна, дав волю своему гневу, обрушилась на супруга.

XXI
Ревность

Последствия ловко и вовремя рассказанной Сикорским любовной историйки, украшенной узорами «сибирского патриотизма» и намёками на неблагонадёжность приезжей курсистки, не замедлили обнаружиться.

Взвинченная как следует, Марья Петровна кипела гневом и преследовала мужа разными зловещими предостережениями, пугая его, по обыкновению, «Петербургом», которого так боялся Василий Андреевич. Как ни жаль молодого человека, а его следовало бы удалить! Если, благодаря этой «сибирской патриотке», Невежин впутается в какую-нибудь глупую историю и в Петербурге узнают, что Невежин — секретарь Василия Андреевича, нечего сказать, хорошо будет его положение!.. И за этой госпожой надо зорко смотреть… Нынче сам знаешь какие времена!

Так донимала Марья Петровна бедного старика, повторяя внушения Сикорского.

Не терял, разумеется, времени и сам вдохновитель всей этой интриги — Сикорский, передавая

Василию Андреевичу сплетни своего же сочинения, циркулирующие будто бы в городе насчёт этого «милого, но несколько легкомысленного молодого человека».

«Конечно, это глупые сплетни, но всё-таки нет дыма без огня…»

И, с видом глубочайшего сожаления, что ходят такие «глупые сплетни», Михаил Яковлевич тем не менее рассказывал их с подробностями, отлично зная, что именно следует подчеркнуть в них для вящего уязвления его превосходительства. Разумеется, сильнее всего подчёркивалась «невероятная чепуха», что Невежин будто бы хвастает своим влиянием на Василия Андреевича через Марью Петровну и везде рассказывает, что с его поступлением в секретари дела пошли лучше…

Одно только дело Толстобрюхова направлено, по мнению господина Невежина, не так, как следует, но молодой человек не теряет надежды убедить его превосходительство, что Толстобрюхов негодяй, за которого не следует хлопотать… Кроме того, ходят слухи, что Евгений Алексеевич болтлив и не умеет держать в секрете бумаг, ему порученных.

Весь этот вздор преподносился Василию Андреевичу не сразу, а в небольших дозах, с хорошо

рассчитанной постепенностью, благодаря которой всякая чепуха может у некоторых людей принимать вид правдоподобия, и, конечно, с мастерством опытного сплетника, который передаёт подобные слухи не потому, что они заслуживают веры, а единственно как образчик тех «невероятных нелепостей», которые могут распространяться в таком «провинциальном болоте», как Жиганск.

И, разумеется, Сикорский первый же защищал Невежина.

— На бедного Евгения Алексеевича клевещут так же, как клеветали и на меня! — прибавлял обыкновенно Сикорский, заключая порцию собственных сплетен. — Невежин не настолько глуп, чтобы говорить чепуху вроде той, о которой толкуют в городе. Если он и выражает неудовольствие, что дело Толстобрюхова приняло, по его мнению, неправильный оборот, то согласитесь, ваше превосходительство, что от этого ещё далеко до нелепостей, о которых рассказывают…

— А разве Невежин рассказывал об этом деле? — спросил недовольным тоном старик. — Ведь я просил его ни слова о нём не говорить, и он мне дал слово!

— Молод Евгений Алексеевич… А ведь мо-

лодость болтлива, Василий Андреевич! — с улыбкой, полной сочувствия к «болтливой молодости», прибавлял Сикорский. — Мы, старики, понимаем цену молчания, а они…

И он тихо смеялся и умолкал.

Вначале Ржевский-Пряник вместе с Сикорским решительно не верил всем этим сплетням, распускаемым про Невежина, и не раз защищал его перед Марьей Петровной, требовавшей удаления Невежина с упорным постоянством Катона[41] и постоянно пугавшей бедного старика Петербургом. Но мало-по-малу и он стал думать, что нет дыма без огня. Когда же и до Марьи Петровны, при посредстве Сикорского, дошли слухи о том, что Невежин будто бы хвалился своим влиянием на самую Марью Петровну, она так напала на мужа, что он обещал наконец удалить Невежина.

Но доброта Василия Андреевича всё-таки несколько возмущалась. Он чувствовал некоторую неловкость при мысли, что ему приходится лишить человека места без всякого видимого повода. Невежин ему нравился. Он был так при-

---

[41] Примечания: 41

…с упорным постоянством Катона… — *Катон* — политический деятель и писатель Древнего Рима, непримиримый враг Карфагена, заканчивавший каждое своё выступление фразой: «Кроме того, полагаю, что Карфаген должен быть разрушен».

личен, так быстро умел схватывать мысли его превосходительства и облекать их в изящную форму… Бумаги, составленные им, положительно были хороши, а Василий Андреевич любил хорошо составленные донесения, без того лапидарного подъяческого слога, которым пропитаны были все произведения сибирского чиновничества. Наконец, Невежин был из хорошего общества, с ним можно было поговорить; если он и «пострадал», то всё-таки не за позорное деяние вроде растраты, подлога или мошенничества, а за «сердечные дела», к которым сам Василий Андреевич чувствовал некоторую склонность, припоминая те прошедшие времена, когда он ещё не был «старым колпаком», по брезгливому выражению его супруги. Не мог он забыть и того, что Невежин был сын заслуженного генерала и что с матерью его он когда-то танцевал мазурку…

Всё это заставляло Василия Андреевича, по обыкновению всех бесхарактерных людей, «тянуть» дело и на вопросы Марьи Петровны, скоро ли будет уволен Невежин, дипломатически отвечать, что он его уволит, как только Невежин окончит большую работу, порученную ему.

— А Сикорский разве не может?

— Сикорский и без того, бедный, завален ра-

ботой…

Приходилось довольствоваться этими объяснениями, тем более, что настаивать было и неловко. Не сама ли Марья Петровна упрашивала мужа сделать Невежина секретарём, не она ли так расхваливала его?!

И Василий Андреевич недоумевал такой перемене во взглядах супруги и однажды добродушно спросил:

— Отчего ты, Marie, так невзлюбила Невежина?

Пойманная врасплох, Марья Петровна смутилась, но, взглянув на Василия Андреевича, быстро оправилась и проговорила:

— Ты глупости говоришь! С чего мне невзлюбить твоего Невежина?

— Но ты веришь глупым сплетням. Ну, посуди, разве возможно, чтобы он мог сочинить нелепость, будто имел на тебя влияние?

Марья Петровна ещё пристальнее взглянула на мужа и, усмехнувшись, заметила:

— Этому я не верила… Надеюсь, Невежин достаточно умён для того, чтобы не сочинять таких пустяков… Если я и советую удалить его, то оберегаю тебя… Не довольно ли разве и без того доносов на тебя?.. Ах, Basile, Basile, как это всё

надоело… И этот скверный Жиганск… Скорей бы отсюда уехать. Просись непременно… Я уже писала Катрин…

К удивлению Василия Андреевича, супруга его была на этот раз необыкновенно ласкова и любезна и, заканчивая разговор, даже поцеловала в плешивый лоб супруга и снова повторила, что Жиганск ей до смерти надоел…

Таким образом, Невежин продолжал ещё работать у его превосходительства, пока над мирным Жиганском совершенно неожиданно не разорвалась бомба в виде обширной и необыкновенно воинственной корреспонденции, напечатанной в одной столичной газете.

Корреспонденция эта всколыхала сонное болото и перепугала бедного старика…

XXII
«Бомба»

Кто не живал в глухих провинциальных захолустьях, тот, разумеется, не представит себе впечатления, произведённого в сонном Жиганске этой обширной корреспонденцией, напечатанной вдобавок в газете, хорошо известной своим воинственным направлением. Это, собственно говоря, была не корреспонденция, а грозный донос, облечённый в литературную форму, — донос, в котором крупицы правды терялись в море самой фантастической *лжи*. Прочитывая это произведение, человек, хорошо не знакомый с русской жизнью и с литературными приёмами известных газет, в самом деле мог бы подумать, что Жиганск находится в состоянии полнейшей анархии и что всевозможные неблагонадёжные элементы, благодаря необъяснимому попустительству местных властей, держат чуть ли не в руках весь город и ждут только благоприятной минуты, чтобы открыто объявить Жиганскую республику.

Нечего и прибавлять, что автор грозно взывал:

«Кавеант консулес!»[42] и серьёзно предостерегал против открытия высшего учебного заведения, если только правительство не имеет в виду создать правильные кадры «сибирских патриотов» и «сделать из Сибири будущую Польшу»[43].

«Больше грозной власти, пока ещё есть время!» — эффектно заканчивалась передовая статья, написанная, несомненно, опытной рукой, по поводу этой корреспонденции.

И странное дело! Несмотря на очевидную нелепость этих предостережений, Василий Андреевич, прочитав корреспонденцию, пришёл в неописанное смущение. Он сознавал, что всё в ней лживо, с начала до конца, и всё-таки перетрусил до того, что в первую минуту решительно потерял голову и не знал, как ему быть и что предпринять.

Только через полчаса он несколько пришёл в себя и задал вопрос: кто бы мог написать эту корреспонденцию и какая цель была у издателя не только печатать её, но ещё и подчеркнуть, предпослав ей передовую статью.

---

[42] Примечания: 42

Берегитесь! (*лат.*). Буквально: «Пусть консулы будут бдительны».

[43] Примечания: 43

«*…сделать из Сибири будущую Польшу*» — то есть устроить в Сибири восстание, подобное Польскому восстанию 1863 года.

«Ведь не мог же он не понимать, что печатает заведомую ложь!..»

Так рассуждал старик, и всё-таки трусил, ожидая вслед за этой громоносной статьёй какой-нибудь неприятности.

«Но кто, однако, написал такую мерзость?» — ломал голову его превосходительство, сгорая от любопытства узнать автора.

Он перебирал разных лиц и не мог остановиться ни на ком. Он снова перечитал корреспонденцию. По некоторым местам её видно было, что автор, очевидно, пользовался официальными бумагами — перепиской его превосходительства, — и вообще был знаком со многими канцелярскими тайнами, — и это ещё более волновало доброго старика.

«Не догадается ли Сикорский?» — решил его превосходительство и тотчас же послал за ним верхового.

Через четверть часа Сикорский входил в кабинет Ржевского-Пряника, смущённый и взволнованный.

— Читали? — проговорил Василий Андреевич, указывая на номер газеты.

— Читал… Вернее: имел несчастие прочесть.

— Каково?

Михаил Яковлевич только пожал плечами и вздохнул, возведя очи к небу, как человек, желавший выразить безмолвное сочувствие к положению его превосходительства.

— Кто бы это мог написать? Как вы думаете? Уж не Аркадий ли Аркадиевич? Он ведь терпеть меня не может и человек очень лукавый… на все руки… Когда нужно — либеральничает, когда нужно — первый рекомендует энергию. Не хочет ли он на моё место сесть? Но ведь ошибается. Его всё равно никогда не назначат. Никогда! И он это должен понимать, этот интриган. Я знаю: он науськивал писать на меня доносы… было дело!

— Едва ли это Аркадий Аркадиевич! — внушительно промолвил Сикорский. — Он бы не стал сам себя бичевать. Ведь тут и ему досталось на орехи. Вы изволили обратить внимание на то место, где намекается на сочувствие некоторых чиновников к «Жиганскому курьеру»? Кто же эти «некоторые», как не сам Аркадий Аркадиевич? Да и, вдобавок, он ведь и сам из сибирских патриотов! — улыбнулся Сикорский. — Конечно, Аркадий Аркадиевич не мечтает о Сибирской республике, но всё-таки…

— Тёплый парень, а? — закончил за Сикорского Василий Андреевич и нетерпеливо прибавил:

— Так кто же мог написать?

— Уж не Пятиизбянский ли? — словно бы в раздумье промолвил Сикорский.

При этом имени лысина Василия Андреевича побагровела, и он прокричал задыхающимся от волнения тенорком:

— Пятиизбянский?! А ведь правда, что больше некому. От этого юса[44] можно ждать решительно всякой пакости. Он, он, непременно он! — вскрикивал в волнении Василий Андреевич и, вспомнив, вероятно, привычки военной службы, осыпал при этом Пятиизбянского самыми площадными ругательствами.

О, он знает хорошо этого заматерелого взяточника!.. Уж давно он подкапывается под него… давно фрондирует, заявляя на каждом шагу о своих архиблагонамеренных убеждениях.

— Ещё недавно он позволил себе чересчур много по поводу того, что я держу при себе Невежина… «Это дискредитирует достоинство власти!..» Хапуга старый! А взяточничество не дискредитирует?! А дружба со всякой сволочью, с разными кабатчиками, а пьянство с сиволапыми мошнами не дискредитирует?! — выкрикивал

---

[44] Примечания: 44

Законник, крючок (устаревшее бранное слово, происходящее от двух букв славянской азбуки).

старик. — Я вот сам поеду в Петербург. Непременно поеду и объясню там, в каком положении находится здесь благонамеренный администратор. Со всех сторон интриги, противодействия, доносы… Это чёрт знает что. И после этого работай!.. Спрашиваю я вас: возможно ли что-нибудь сделать при таких условиях?!

Пока Василий Андреевич хорохорился, Сикорский молча сидел, покуривая папироску, и, когда старик наконец окончил, Михаил Яковлевич спросил:

— Что же вы предполагаете теперь делать? Оставите статью без внимания или напишете опровержение?

— Я сам напишу куда следует. Объясню, что всё в этой корреспонденции ложь… всё, с начала до конца. Какие такие неблагонадёжные элементы здесь играют роль?! Кто здесь попустители? Я, слава богу, тридцать пять лет служу своему государю и понимаю, что делаю. Если один или двое из политических ссыльных служат писцами в банке, то это разве попустительство? Что ж, лучше ли будет ожесточать их, лишая куска хлеба? И разве правительство имеет это в виду?!. Надо не уважать правительство, чтобы допустить такую низкую месть. Ну, человек виноват — накажи его,

но из этого не следует, что я должен преследовать его даже лишением куска хлеба.

Долго ещё говорил на эту тему добрый старик и в конце концов всё-таки решил, что надо «вообще подтянуть», и, отпустив Сикорского, послал за полицеймейстером и долго с ним беседовал.

— А Келасури так и не найден? — спросил он в заключение.

— Ещё нет сведений.

— Ах уж эта полиция. Ах, что за полиция у нас, господин полицеймейстер!

XXIII
Новая неприятность

Однажды ранним утром, вскоре после получения в Жиганске знаменитой корреспонденции, Василий Андреевич распечатал поданную телеграмму, прочёл и… смутился. Его вызывали в Петербург, но с какой целью — этого лаконическая депеша не объясняла. Василий Андреевич, едва успевший несколько успокоиться после «боевой» корреспонденции и уже набросавший, при помощи Сикорского, обстоятельную объяснительную записку, получив это неожиданное приглашение, совсем упал духом.

«К чему его вызывают? Разумеется, для объяснений, но по какому поводу?» Невольно он сопоставлял этот вызов с появлением корреспонденции, хотя, с другой стороны, утешал себя мыслью, что это неправдоподобно. Если бы статья действительно произвела там впечатление, то он бы, конечно, получил запрос, но до сих пор никакого запроса не было.

Бедный старик в волнении ходил по кабинету, приказав никого не принимать, когда к нему

вошла супруга.

— Что ещё случилось? — тревожно спросила она, заметив расстроенный вид мужа.

— Ничего особенного, мой друг… Зовут в Петербург… Вот, прочти…

Марья Петровна прочла телеграмму и, изменившись в лице, протянула с ядовитой иронией:

— Поздравляю… Дождался-таки…

— Чего дождался?

— Он ещё спрашивает? Скажите, какая наивность!.. Разве не ясно как день, что тебя вызывают для объяснений, после которых поблагодарят за труды и скажут, что такой администратор, как ты, не нужен… Поздравляю! Очень приятная новость!

— Ты, Marie, мрачно смотришь… Если бы хотели сменить, то прямо бы написали…

— Утешайся… утешайся этим… Нечего сказать, придумал утешение…

Взволнованная и раздражённая, предвидевшая неприятную перспективу в случае потери места жить где-нибудь в четвёртом этаже на Песках или в дальней Коломне[45] и растрачивать последние крохи когда-то хорошего состояния,

---

[45] Примечания: 45

…на Песках или в дальней Коломне. — Пески и Коломна — окраины Петербурга.

Марья Петровна, вместо того чтобы поддержать и ободрить мужа, продолжала его терзать с искусством и беспощадностью женщины, считающей себя глубоко несчастной, пока не довела Василия Андреевича до беспомощного состояния мокрой курицы, забывшей об Инкерманском сражении[46], и не заставила его просить её совета.

Тогда только она несколько смягчилась, и тотчас же проявила свою способность не теряться, обнаружив вместе с тем меньший пессимизм насчёт их положения. Во-первых, она немедленно же пошлёт депешу Катрин за разъяснениями, во-вторых, они уедут в Петербург вместе, в-третьих, пусть он поручит Сикорскому написать записку и откроет там глаза на положение края, сообразуясь с веяниями Петербурга, а она, в свою очередь, будет хлопотать, чтоб ему дали место где-нибудь в России, а не в этой ужасной трущобе. Слава богу, у неё есть связи. Родные её ещё не забыли… Катрин доказала, что готова для неё всё сделать…

— Понимаешь ли, для меня! — подчеркнула Марья Петровна.

После этих слов Василий Андреевич несколько оправился и стал было уверять жену, что он на

---

[46] Примечания: 46

Инкерманское сражение — крупнейшее сражение Крымской войны произошло 24 октября 1854 года.

отличном счету в Петербурге, но она, видимо, не особенно этому верила и довольно бесцеремонно прервала его излияния вопросом:

— Когда ехать?

Решено было немедленно же собираться, чтобы ехать через неделю, а не на последнем пароходе. Собраться она успеет. Мебель можно будет поручить продать потом, если, даст бог, они не вернутся.

— Ты говори всем, что тебя вызывают в какую-нибудь комиссию, как опытного человека! — внушала Марья Петровна и закончила вопросом: — А имя автора этой корреспонденции узнал?

— То-то нет… Одни предположения, что Пятиизбянский…

— В Москве побывай у издателя… Объясни ему… Попроси написать опровержение.

Василий Андреевич покорно соглашался на всякое предложение Марьи Петровны и, когда разговоры были окончены, послал за Сикорским и просил его как можно скорей окончить записку.

— Через неделю уезжаю в Петербург. Вызывают для участия в комиссии по вопросу о железной дороге! — соврал Василий Андреевич.

Эта новость смутила Сикорского.

— Но вы вернётесь? — спросил он.

— Вернусь, если не найду ничего лучшего.

Сикорский вздохнул и напомнил Василию Андреевичу о своём положении. Десять лет страданий, десять лет незаслуженного позора. Неужели ещё долго терпеть?!

Ржевский-Пряник старался утешить его. Он дал честное слово лично поддержать своё ходатайство, не имевшее успеха. Он нарочно съездит в министерство юстиции… Пусть Михаил Яковлевич составит краткую памятную записку и напишет прошение на высочайшее имя. Он всё это возьмёт с собой и передаст куда следует, с соответствующими объяснениями…

А здесь его, вероятно, не потревожат и оставят на месте. Ещё недавно председатель контрольной палаты хвалил его…

— Могут назначить вместо вас человека, который будет иначе смотреть на нас, несчастных, и тогда…

Он не досказал и беспомощно склонил голову.

Василий Андреевич пожал руку Сикорскому и снова дал слово похлопотать, чтобы Михаилу Яковлевичу разрешили вернуться в Россию. Сикорский рассыпался в благодарностях, но тем не менее ушёл от него сумрачный и недовольный,

зная, как трудно полагаться на обещания Ржевского-Пряника.

Он не пошёл в этот день на службу и долго ходил в своей небольшой квартирке в тяжёлом раздумье. И прежняя его блестящая жизнь известного банкового дельца проносилась перед ним.

«И хоть бы сохранились деньги, из-за которых он пострадал! — в бессильной злобе думал он. — А то всего каких-нибудь пятьдесят тысяч, на которые существует семейство!»

— Дурак… дурак! — шептал вслух Сикорский, и бледные его губы шептали кому-то проклятия.

В тот же день в Жиганске уже было известно о полученной Василием Андреевичем телеграмме, вызывающей его в Петербург, хотя ни его превосходительство, ни Сикорский никому ещё не говорили об этой новости. Распространилась она в городе благодаря привычке господ телеграфистов сообщать по секрету о всякой более или менее интересной телеграмме, которая получалась или проходила через Жиганск. Таким путём в Жиганске нередко узнавались всевозможные новости, имеющие не только общественный интерес, но и интерес совершенно частного характера. Новость это произвела, конечно, сенсацию, и к вечеру уже все говорили, что Ржев-

ского-Пряника сменяют из-за корреспонденции. Стали, как водится, разбирать, каков был Василий Андреевич, и большинство находило, что старик ничего себе… человек добрый, с которым жить можно. Правда, и при нём без денег не подвинешь никакого дела, хотя сам он был безукоризненно честен, но к этому все так привыкли, что решительно не могли себе представить возможности одним не брать, а другим не давать, и потому за это не строго судили. Одно только не нравилось в нём, и особенно чиновникам, — это то, что он приблизил к себе Сикорского, нередко подсмеивался над сибиряками и часто заставлял ждать чиновников, пока болтал у себя в кабинете с разными «уголовными» господами.

В тот же день Кир Пахомыч Толстобрюхов был с визитом у Марьи Петровны и вручил ей три тысячи на благотворительные дела, по её усмотрению, прибавив к этому просьбицу — не отказать напомнить его превосходительству похлопотать в Петербурге о его дельце, которое затянулось благодаря господину Невежину. Марья Петровна обещала и, когда Кир Пахомыч ушёл, деликатно попросив сохранить в тайне его посильное пожертвование, спрятала деньги в свою шкатулку, решив, что они могут пригодиться в Петербурге.

В тот же вечер и Невежин, возвратившись домой, сообщил Зинаиде Николаевне, что он пока опять свободен, что вызвало крайнее соболезнование как в ней, так и в добрейшей старушке Степаниде Власьевне.

— Что же вы теперь будете делать, Евгений Алексеич?

— Евгений Алексеевич приищет себе другое занятие! — вступилась девушка.

— Ой, ой… трудно ведь здесь найти место. Ты вот по урокам целый день ходишь, а много ли зарабатываешь? Всего тридцать рублей, а Евгению Алексеичу на такие деньги не прожить. Он ведь привык не к такой жизни, как мы с тобой.

— Надо привыкать! — серьёзно проронила девушка.

Но Невежину эта перспектива не особенно улыбалась. Однако он промолчал и подумал про себя, что поступил умно, не отослав назад тысячи рублей, присланной его женой.

В тот же вечер сливки «уголовных страдальцев на покое» собрались на квартире Сикорского, взволнованные вестью о возможной смене «этого милого и прелестного старика», как называли Ржевского-Пряника «невинные» страдальцы.

XXIV
Испытание любви

1

Прошёл почти месяц с отъезда Ржевского-Пряника, а Невежин, по-видимому, не особенно заботился о приискании работы. Правда, на вопросы Зинаиды Николаевны он отвечал, что хлопочет, но говорил это лишь для того, чтобы избежать неминуемого признанья в том, что чёрная работа какого-нибудь писца ему вовсе не интересна.

Он незаметно начинал скучать, несмотря на присутствие Зинаиды Николаевны. Всё как-то было не то, на что надеялся, чего ждал от её приезда этот балованный, не привыкший к труду человек. Его начинала тяготить серенькая, будничная жизнь маленького домика, полная мелких интересов и забот о куске хлеба. Та нравственная переработка, о которой он мечтал в минуты просветления, под влиянием чувства к Зинаиде Николаевне, оказывалась одним лишь добрым намерением, вспышкой бесхарактерной слабой натуры. Старая закваска брала своё: се-

рьёзно вдумываться, работать, даже любить он был неспособен.

И эти чтения вдвоём с Зинаидой Николаевной, которые сперва ему так понравились, начинали надоедать молодому человеку. Он мечтал, что они окончатся наконец интимным признанием, вслед за которым наступит счастливая пора любви, а между тем ничего этого не было. Зинаида Николаевна после принятого ею решения держала себя сдержанно до холодности, избегая всякого повода для каких бы то ни было излияний с его стороны, и когда однажды Невежин, охваченный страстным желанием, вдруг заговорил было ей о своей любви, девушка строго остановила его.

— Ни слова об этом, Невежин, если хотите остаться друзьями!

— Но разве вы не видите?.. Я вас люблю… Люблю, люблю! — повторял он страстным шёпотом, схватывая её руки.

Она с трудом сдерживала волнение. Страстное чувство охватило её всю, зажигая огонь в крови. Вспыхнув до ушей, она резким движением отдёрнула руки и ещё суровее и глуше проговорила, не поднимая глаз:

— Замолчите… Вспомните о своей жене… Неужели вы бы хотели доконать её?

С этими словами она встала и быстро вышла из комнаты.

Невежин почувствовал себя оскорблённым, как капризный ребёнок, неудовлетворённый в своём желании. Он не понял значения её поступка и поспешно объяснил её поведение холодностью и сухостью её натуры. Как у всех слабохарактерных, неспособных на глубокое чувство натур, его любовь стала слабеть ввиду препятствий, и с той минуты, как Невежин понял, что нравится девушке, прежнее чувство восторженного благоговения в нём исчезло, сменившись лишь одним желанием обладать девушкой, но и это желание, как все его желания, было лишь порывом капризной, но не сильной страсти. Он чаще и чаще стал находить теперь в девушке недостатки, которых не смел видеть прежде, когда увлёкся новым для него типом, питая это увлечение благодаря последствиям внезапной вспышки и рокового выстрела. В отдалении она казалась ему более праздничной и нарядной. Теперь же, чем ближе он узнавал эту девушку, тем более начинал не то что бояться её, а чувствовать перед ней какую-то внутреннюю неловкость, точно она была для него живым укором его собственной пустоты и слабости. Её трудовая, будничная жизнь, её

суровые взгляды на обязанности, её убеждения и правила — всё это не находило отклика в его душевном мире и казалось теперь ригоризмом[47], мало поэтичным в женщине. И манеры её он стал находить не всегда изящными, и костюм вульгарным, и руки недостаточно выхоленными. В ней не было, по его мнению, «породы», ничего раздражающего, кокетливого — словом, того, что нравится мужчинам, привыкшим к развращённой, пряной интродукции любви. Всё в ней было просто, ясно и определённо. Любовь к ней — Невежин это понимал — обязывала к чему-то серьёзному, строгому, до которого он должен был подняться. Долг, обязанности, работа, известный строй ума и чувства — вот что сулила ему привязанность такой девушки, как Зинаида Николаевна, а между тем все эти понятия были для него одними словами… Он понимал их умом, и только.

После бывшей сцены эти чтения вдвоём как-то сами собой прекратились. Зинаида Николаевна стала ещё сдержаннее, а Невежин чаще стал уходить из дому, встречаясь с девушкой за обедами и изредка по вечерам, когда не было спектаклей.

---

[47] Примечания: 47

Ригоризм — чрезмерная строгость в проведении каких-либо принципов.

Он был по-прежнему мил и любезен, но уже не повторял признаний, а Зинаида Николаевна, суровая на людях, нередко плакала по ночам, задавая себе вопрос: не виновата ли она перед Невежиным, не слишком ли она сурова с ним?.. И чем реже она видела Невежина, тем задумчивее и серьёзнее становилось её лицо, и глухая ревность подымалась в её сердце.

Она смутно чувствовала, что эта внезапная любовь к театру вызвана была красивой приезжей актрисой Панютиной, но, разумеется, не догадывалась, какие интимные и приятные утренние tête-à-tête проводит Невежин у Панютиной, коротая время с этой умной, кокетливой, пикантной актрисой в весёлой болтовне, полной прелести игривых недомолвок, полупризнаний, намёков, кокетства и блёсток лёгкого ума. А главное: с этой женщиной чувствуется так легко и свободно. Ничто не напоминает ему о долге, об обязанностях, о работе, о внутреннем совершенствовании. Напротив! И эти полузакрытые глаза, блестящие огнём желания, и этот выразительный шёпот речи, и гибкий, извивающийся стан, и пожатие горячих влажных рук, и эти быстрые переходы настроения — всё говорило о радости и наслаждении любви, ни к чему не обязывающей, ничего

не требующей и словно говорящей: «Живи, пока живётся».

И Невежин пользовался этими «счастливыми мгновениями» с той же беззаботной лёгкостью, с какой и прежде срывал цветы жизни, с какою женился и с какою чуть не сделался присяжным любовником Марьи Петровны, не задумываясь о будущем.

Он «развлекался», тщательно, впрочем, скрывая от обитательниц маленького домика своё увлечение хорошенькой актрисой, и в этот период времени был особенно ласков и со старушкой Степанидой Власьевной, и с Зинаидой Николаевной, и с Прасковьей. Он точно старался задобрить их, инстинктивно боясь всяких объяснений, которые бы могли нарушить беззаботный покой его наивно-эгоистической натуры.

2

Однажды Зинаида Николаевна вернулась с уроков весёлая и радостная и, снявши с себя засыпанную снегом шубку, не заходя к себе, постучалась к Невежину.

Невежин впустил её и удивился. Такой оживлённой он давно её не видал. Лицо её, свежее и румяное с мороза, точно всё сияло. Сияли её

лучистые глаза, сияла улыбка. При виде её, такой жизнерадостной и красивой, Невежин, хандривший всё утро вследствие размолвки с Панютиной, невольно и сам просиял и как-то весело с внезапно нахлынувшей нежностью проговорил, крепко пожимая руку девушки:

— Садитесь, садитесь, Зинаида Николаевна… Вы ведь такая редкая стали гостья!

Но она не присела и, снимая меховую шапочку, быстро проговорила:

— Я к вам с приятной вестью, Евгений Алексеич… Вам предлагают занятия…

— Занятия? — переспросил он, не выказывая особенной радости. — Какие занятия?

Этот равнодушный тон кольнул её. Если б он знал, сколько было стараний и хлопот с её стороны в течение этого месяца, чтобы достать ему работу! Она обращалась ко всем знакомым, просила, убеждала и, счастливая теперь, что её усилия увенчались успехом, спешила порадовать его приятным известием, а он с таким небрежным равнодушием спрашивает: «Какие занятия?».

— В страховом агентстве, место конторщика… Жалованья сорок рублей в месяц, работа от девяти до трёх часов!.. — торопливо говорила Зи-

наида Николаевна, спеша обрадовать Невежина хорошим местом. — Сегодня мне говорил агент, у которого я даю уроки, что он с удовольствием предлагает это место вам… В ожидании лучшего и это место недурно… Не правда ли, Евгений Алексеич?

Едва заметная, невольная презрительная гримаска быстрой тенью скользнула по красивому лицу Невежина и остановилась на губах.

— Место конторщика? — протянул он. — Непривлекательное занятие!

Но, заметив в ту же секунду, что с лица девушки сбежало вдруг весёлое и сияющее выражение, которым только что дышало оно такой неотразимой прелестью, и глаза её прямо глядели на него с каким-то серьёзным недоумением, — Невежин вдруг спохватился и с подкупающей искренностью балованного школьника, боящегося огорчить доброго учителя, проговорил торопливо и мягко:

— Благодарю, благодарю вас, милая Зинаида Николаевна, за хлопоты обо мне… Ведь это вы устроили мне место?.. Поверьте… я глубоко тронут… Я завтра же пойду к агенту узнать, какие именно предстоят мне занятия… Сегодня ведь поздно?.. Непременно пойду ровно в десять часов

и подробно переговорю… Но, видите ли, я боюсь, что скучная и бесцельная конторская работа мне скоро опротивит… Сидеть целый день, переписывая цифры или глупейшие бумаги, — ведь подобная работа, согласитесь, не может привести в восторг? Как вы думаете? — спрашивал Невежин, улыбаясь и лицом, и глазами как-то мягко и застенчиво, словно оправдываясь и в то же время желая избежать дальнейших неприятных объяснений.

— Не спорю, работа не особенно приятная! — отвечала девушка, невольно смягчаясь при взгляде на Невежина.

— Ну вот видите… Вы сами согласны. Так к чему же я её возьму?..

— Но ведь вам необходимы занятия… Вы сами говорили, что у вас средств нет… И, значит, разбирать пока нечего! — прибавила Зинаида Николаевна.

— Пока я не нуждаюсь ещё и могу ждать более подходящих занятий… Мне мать помогает! — внезапно прибавил он и тотчас же смутился при этой лжи, не смея признаться, что живёт на деньги, присланные раньше женой.

Зинаида Николаевна молча взглянула на него и медленно вышла из комнаты.

За обедом Невежин снова заговорил о месте. Он пойдёт завтра справиться… непременно пойдёт! «Только уж вы не сердитесь!» — слышалось в его тоне.

— Да если вам не нравится — к чему же ходить?..

— Нет, всё-таки…

Он снова стал бранить эту глупейшую конторскую работу. Она ему не по душе. Он это чувствует. Он лучше постарается приискать что-нибудь лучшее…

— Например?

Он сам не знал, что именно. Но в эту минуту ему пришла мысль, что он мог бы заняться адвокатурой, и он тотчас же сказал об этом и прибавил:

— Всё же это лучше… Не так ли, Зинаида Николаевна?

— Вы серьёзно хотите заняться этим? — недоверчиво спросила она.

— А то как же? Или вы в самом деле думаете, что я ни на что не способен? — улыбнулся Невежин.

Она взглянула на него и сама улыбнулась. Решительно на него нельзя было долго сердиться!

3

Дня три спустя Степанида Власьевна говорила племяннице:

— И на что нашему милому Евгению Алексеевичу место… К чему за сорок рублей ему гнуть спину?.. Тоже нужда большая!..

— Почему вы так думаете, тётя?

— А потому, что он и без места проживёт. Сегодня ему пришла повестка… Подал почтальон, так я, подумавши, не мне ли, и посмотрела… На три тысячи повестка!.. — с восторженным благоговением проговорила старушка. — На три тысячи! К чему тут места? Станет он о местах думать, когда такие деньги получает. Мать-то у него, видно, богатая, Зиночка?

Зинаида Николаевна не отвечала, подавленная, взволнованная этим известием. Как молния, блеснула в голове её мысль, что жена посылает Невежину деньги, и это возмутило её.

Но в следующую же минуту она устыдилась своего подозрения. Этого не может быть… На такое унижение он не способен!

— Мать-то у него богатая, Зиночка? — повторила Степанида Власьевна.

— Право, не знаю, тётя… Верно, богатая, если

посылает сыну такие суммы…

— А то, быть может, жена посылает… Жена, говорят, у него богатая…

— Что вы, что вы, тётя!.. Разве он станет брать от жены!

— И то правда, Зиночка… Не станет Евгений Алексеич… Да скажи ты мне, из-за чего это он в неё стрелял, Зиночка?.. Вот уж никак бы не подумала, что Евгений Алексеич может стрелять в человека… Насолила, видно, ему жена-то!.. Ты знаешь эту историю, Зиночка?

Но Зиночка ответила, что ничего не знает, и ушла в свою комнату, оставив Степаниду Власьевну в неизвестности насчёт «истории», которая давно возбуждала любопытство доброй старушки.

Невежин сразу догадался, от кого эти деньги. В тот же день он читал письмо жены, в котором она между прочим умоляла его не отказываться от посылаемой безделицы и умоляла чаще писать ей. О себе она коротко сообщала, что живёт в Монтрё[48] и что чувствует себя лучше. Это ласковое и нежное письмо умилило Невежина, скоро успокоив чувство унижения, испытанное им в

---

[48] Примечания: 48

Монтрё — город в Швейцарии, близ Женевского озера.

первые минуты, и он не без удовольствия спрятал деньги в карман и в тот же день привёз Панютиной роскошный серебряный чайный сервиз.

Но, разумеется, Зинаида Николаевна не должна была знать, откуда эти деньги. И когда Степанида Власьевна, передавая повестку, добродушно поздравила его с большим получением, Невежин за обедом рассказал длинную историю о том, что мать его получила большое наследство и прислала ему три тысячи.

Зинаида Николаевна поверила этой выдумке и мучилась, что могла хоть на минуту заподозрить человека, который вдобавок ещё так просто и искренно просил её взять пятьсот рублей на какое-нибудь доброе дело, что девушка не могла отказать и крепко пожала ему руку, сказав, что пошлёт эти деньги в пользу учащихся сибиряков.

Скоро, однако, благодаря неосторожности самого Невежина ложь его обнаружилась.

Как-то, через несколько дней, Зинаида Николаевна, зайдя на кухню, увидела, что Прасковья с любопытством разглядывает какой-то конверт.

— Что вы смотрите, Прасковья?

— Да вот чудной конверт вымела сегодня из комнаты Евгения Алексеевича, барышня… Ишь,

какие на ём картинки… Никогда таких не видала! — сказала она, подавая конверт в руки Зинаиды Николаевны.

Та взглянула на конверт и узнала почерк Невежиной. На конверте крупными буквами было написано: «Со вложением трёх тысяч».

— Это швейцарские марки! — прошептала она упавшим голосом, выходя из кухни.

«Так вот от кого эти деньги! И он берёт их от жены!» Долго она сидела у себя в комнате, раздумывая о Невежине. В первые минуты она почувствовала презрение к нему, к себе за то, что могла любить человека, у которого нет даже чести. По остроте боли и оскорбления, которое испытывала Зинаида Николаевна, она поняла, как сильно любит этого человека, и это сознание заставило её ещё беспощаднее относиться к нему. Теперь перед строгим её судом был не тот Невежин, каким она раньше представляла его себе, а другой — лживый, пустой, бесчестный. И она его любила! Однако вслед за тем она ж сама стала приискивать оправдания, придумывая их с находчивостью любящей женщины. И, надо правду сказать, эта защита была ловкой защитой хорошего адвоката… Не должна ли она поддержать его, падающего, слабого? Чувство сострадания и

сожаления пересиливали другие чувства, когда она представляла себе его, красивого, свежего, смеющегося, его улыбку, ласковую и нежную… Она не раз ловила себя на этом и… её охватывал стыд…

Мысли её путались. Голова горела. Она чувствовала позор этой любви и презрение к самой себе.

«Вырвать, вырвать надо это чувство!» — шептала она, и слёзы тихо катились из глаз девушки.

Она вышла из дому и пошла бесцельно бродить. Незаметно она вышла на окраину города, как звон колокольчиков заставил её поднять голову. Мимо неё пронеслась лихая тройка, и в изукрашенной кошёвке сидел Невежин с Панютиной. Она успела заметить их весёлые, оживлённые лица, и торопливо опустила глаза.

«Вот кого ему нужно… Вот кого он любит!» — подумала она, чувствуя презрение и зависть, негодование и обиду.

После этой встречи Зинаида Николаевна более не колебалась. Приговор Невежину был подписан в её сердце, и не было смягчающих обстоятельств. Он — пустой, лживый, поверхностный человек без правил, балованный эгоист, которого спасти невозможно и которому верить нельзя.

«Уехать отсюда!» — повторяла она, словно бо-

ясь, что присутствие Невежина может смягчить этот приговор и не позволит скорей похоронить эту постыдную любовь.

Неделю она прохворала и не выходила из комнаты. Когда, наконец, бледная, осунувшаяся, с заострившимися чертами, она вышла к обеду и встретилась с Невежиным, который искренно и горячо приветствовал её выздоровление, сердце у неё сжалось, и краска залила щёки. Но она справилась скоро с собой и отвечала на приветствие словами, от которых веяло холодом. «Лжёт?» — спрашивала себя девушка, вслушиваясь в звуки этого мягкого вкрадчивого голоса, и подумала, что если и лжёт, то лжёт бессознательно…

— За что ты так неласкова, Зиночка, с Евгением Алексеичем? — спрашивала вскоре Степанида Власьевна, искренно полюбившая молодого человека.

— Вам так кажется, тётя! — отвечала племянница, отводя глаза от проникновенного взора старушки.

— Он ведь такой милый, ласковый, этот Евгений Алексеич… Его жалеть надо!

«Все, видно, его жалели!» — подумала с горькой улыбкой Зинаида Николаевна и ничего не ответила.

XXV
«Короли в изгнании»

Сикорский, крепко было приунывший при известии об отъезде своего доброжелателя, снова приободрился после собрания, бывшего у него вечером того дня, когда Ржевский-Пряник объявил ему эту печальную новость.

На этом интимном вечере было решено интересное дело.

В небольшой гостиной Сикорского, убранной не без кокетливой простоты, свидетельствовавшей, при какой скромной обстановке «несёт свой крест» бывший заправила лопнувшего банка, в этот памятный вечер собралось маленькое, но избранное общество.

За исключением одного человека, за круглым столом, накрытым белоснежной скатертью, сидели, прихлёбывая чай, главнейшие «короли в изгнании», как прозвал один местный остряк этих известных героев уголовных процессов, проживавших, после бурной и блестящей жизни в столицах, «на покое» в захолустном Жиганске.

С хозяином читатели знакомы. Остаётся пред-

ставить гостей.

По правую руку амфитриона[49], сидевшего за самоваром, сидит молодой человек, лет тридцати с небольшим, в тёмной, видимо, ещё столичной жакетке, недурной собой, с вьющимися белокурыми волосами, ниспадавшими почти на плечи, что придаёт его физиономии несколько мечтательный вид шиллеровского героя. У него тонкие черты худощавого, бледного лица, бородка à la Henri IV и серые небольшие глаза. Взгляд этих глаз какой-то неопределённо беспокойный, не останавливающийся долго на одном предмете, точно у человека, который что-то забыл или неожиданно встретился с кредитором. Тем не менее в лице Жиркова было что-то располагающее — и добрая приветливая улыбка, и мягкая ласковость выражения, так что люди, мало его знавшие, охотно верили, когда Жирков в порыве откровенности, с дрожью в голосе и с увлажнёнными глазами, рассказывал, что он жертва печального недоразумения и собственной опрометчивости. Нет сомнения, что, повторяя в эти откровенные моменты ещё в тюрьме придуманную историю об «умирающей матери», которую

[49] Примечания: 49

Амфитрион — герой комедии Мольера. В переносном смысле — гостеприимный хозяин.

надо было отправить за границу, вследствие чего он «задержал» на неделю несколько тысяч, данных ему клиентами для взноса судебных пошлин, — Жирков и сам верил в «умирающую мать». И хотя в трогательной истории сына, желающего спасти мать, не было ни одной йоты правды, Жирков всё-таки каждый раз при этом рассказе неизменно вытирал набегающие слёзы, искренно волнуясь, как хороший актёр, проникшийся изображаемой им ролью.

Этой искренности и лёгкости проникновения всевозможными ролями, помимо лживости и легкомысленности характера Жиркова, немало, вероятно, помогала и бывшая профессия молодого человека, прежнего бойкого, талантливого московского адвоката, блиставшего одно время либеральными речами, тонкими обедами и художественным изяществом обстановки. Жирков тогда начинал приобретать в Москве известность как хороший адвокат. Среди товарищей он пользовался репутациею «доброго, умного малого», несколько бесхарактерного и чересчур женолюбивого. Он был со всеми в ладу; близкие знакомые ласково называли его «Мишенькой», и многие коллеги завидовали его необыкновенной способности занимать деньги и успокаивать

нетерпение кредиторов устно и письменно. Когда, наконец, Жирков запутался, и кредиторы, изверившись в «литературу успокоения», стали его травить, молодой адвокат растратил деньги клиентов и, к изумлению коллег, не сумел отвертеться от скамьи подсудимых.

Патетически, не без ораторского искусства рассказанной сказке об «умирающей матери» присяжные заседатели, однако, не поверили, ибо сумма денег, растраченная адвокатом, представляла собой такую внушительную цифру, что на неё можно было бы послать на Ривьеру десятка два умирающих матерей, а не то что одну, и притом совершенно здоровую, хотя и подкошенную горем при такой бесстыдной публичной лжи на мать, которая своему же любимцу Мишеньке отдала последние крохи.

В Сибири Жирков не пропал. Интеллигентный и способный молодой человек очаровал своим умом и деловитостью местное начальство, которое помогло ему устроиться довольно хорошо для его нового положения. Кроме того, Жирков давал юридические советы, писал просьбы по серьёзным делам и, когда не хватало средств для удовлетворения прежних широких привычек эпикурейца и женолюба, время от времени при-

бегал к займам, с успехом пользуясь (особенно вначале) мифическими телеграммами или бездорожьем, задержавшим получение будто бы высланных денег.

Он был добродушен и услужлив, мил и остроумен, и его охотно принимали везде. Все в Жиганске любили Жиркова и вдобавок невольно его жалели.

«Такой милый, образованный человек — и вдруг так жестоко пострадать из-за умирающей матери!» — говорили обыкновенно знакомые с легендой дамы. Мужчины, не совсем доверявшие легенде, коротко замечали: «Умный человек, а влопался!» — и снисходительно пожимали плечами, пока не испытывали на себе неотразимости уверений Жиркова о неисправности почтово-телеграфного ведомства и, к счастью своему, не были ещё знакомы с его художественными записками успокоения.

Сосед Жиркова представлял собою другого рода тип. Это был сгорбленный старик с сухим, измождённым, морщинистым лицом, на котором словно застыло угрюмое выражение равнодушия. Он молча прислушивался к разговору, посасывая скверную сигару, и по временам озирал присутствующих спокойным взглядом своих

выцветших старческих глаз, глубоко сидящих под густыми седыми бровями. Костюм на нём был жалкий: чёрный изношенный наглухо застёгнутый сюртук лоснился и белел по швам; бельё было сомнительной чистоты.

Глядя на этого угрюмого старика, никто бы не догадался, что ещё несколько лет тому назад Рудольф Иванович фон Таухниц был грозой целого ведомства — суровым, надменным начальником, перед которым дрожали подчинённые, и потом — героем громкого процесса, завершившего ссылкой долгую службу генерала из остзейцев. В течение трёх бесконечных дней суда этот старик, в шитом генеральском мундире, с грудью, сверкавшей звёздами и орденами, ещё полный энергии и жизни, храбро боролся с позором публичного обвинения в лихоимстве. Кто видел тогда этого затравливаемого, но всё ещё не сдававшегося крупного зверя, в бессильной злобе метавшего взгляды, сверкавшие то ненавистью, то презрением, на бесчисленных свидетелей, бывших подчинённых, ещё недавно раболепных, а теперь спешивших наперерыв забросать его грязью, — тот едва ли узнал бы в этом жалком, хилом, нищенски одетом дряхлом старике грозного и в суде генерала, шаг за шагом, с энергией

отчаяния отбивающегося от массы подавляющих мелких косвенных улик, — так он изменился. Старик, переживший в эти три дня целую вечность, вышел после приговора, шатаясь, из суда, разбитый нравственно и физически под игом позора, увенчавшего закат его дней. Он отлично понимал, что суд над ним вызван был не столько его злоупотреблениями, сколько закулисной борьбой чужих честолюбий, желанием унизить прежнего главного начальника обвинённого, и что он был лишь козлом отпущения. И это ещё более уязвляло самолюбивого генерала.

Надо отдать справедливость: он нёс кару с достоинством, никогда никому не рассказывая о своём деле, не жалуясь, никого не обвиняя, не драпируясь в мантию невинно пострадавшей жертвы. Жил он в Жиганске в какой-то конуре, в одной из дальних глухих улиц, более чем скромно, почти бедно, на ничтожные средства, отсылая большую часть своей эмеритуры[50] (единственный свой доход) престарелым сёстрам, которым он всегда помогал. Одинокий и брошенный, одряхлевший и удручённый сознанием чересчур жестокого позора, самолюбивый старик

[50] Примечания: 50

...большую часть своей эмеритуры... — Эмеритура — особая пенсия в царской России для военных и некоторых гражданских лиц.

систематически избегал знакомств и не показывался ни на каких собраниях. Он и на улицу выходил только в ранние часы, сохранив старую привычку совершать ежедневные прогулки, и только изредка, и то по приглашению, заходил к Сикорскому, который давал ему иногда работу по поручению Ржевского-Пряника, желавшего чем-нибудь помочь Таухницу.

Совершеннейшую противоположность представлял собой vis-à-vis Таухница — господин Кауров, один из «птенцов славной стаи» интендантов, судившихся после последней турецкой войны, — румяный, весёлый толстяк громадных размеров, с большой круглой головой, на которой начинали серебриться чёрные, щетинистые, коротко остриженные волосы. В Жиганске недаром прозвали Сергея Сергеевича Каурова «весёлым интендантом». И его толстое мясистое лицо хорошо упитанного борова, обрамлённое окладистой, выхоленной, надушенной бородой, скрывающей трёхэтажный подбородок, — лицо с плотоядным широким ртом, крупным вздёрнутым кверху носом, словно что-то нюхающим, с маленькими, оплывшими жиром и отливавшими маслянистым блеском весёлыми глазами, — и этот густой, сочный хохот, колыхавший его грандиозное брю-

хо, — и выражение довольства, беззаботности и нахальства, которым, казалось, дышала вся его колоссальная фигура, начиная с лица и кончая толстыми короткими пальцами, которыми Кауров игриво отбивал такт по столу, любуясь по временам игрой крупного брильянта на мизинце, — и щегольской костюм, и безукоризненное бельё — одним словом, решительно всё свидетельствовало, что этот «король в изгнании» несёт бремя ссылки весело и легко, в отличной квартире, с превосходным поваром, не отказывая себе и в других развлечениях, соответствующих склонностям «весёлого интенданта».

И Кауров, разумеется, не плакался на судьбу, а только ругался, что его законопатили в этот подлый Жиганск, где ни за какие деньги нельзя достать восхитительной румынки, хорошего рокфора[51] и настоящего кло-де-вуже[52]. С весёлым цинизмом признавался он под пьяную руку, что у него осталось-таки сотни две тысяч про чёрный день, и жил не стесняясь: держал лошадей, вёл большую игру, задавал обеды, имел широкое знакомство, часто повторяя, что у кого есть деньги,

---

[51] Примечания: 51
Сорт сыра.

[52] Примечания: 52
Сорт вина.

у того всегда найдутся друзья. Семья Каурова не жила с ним, и он, кажется, не стеснялся этим, меняя часто молоденьких экономок и награждая их при уходе с щедростью, заставлявшею многих жиганских швеек и горничных добиваться этого места. В откровенные минуты Кауров прямо говорил, заливаясь раскатистым смехом, что назначь его опять интендантом, он снова огрел бы матушку-казну, потому что… потому что он, Сергей Сергеевич Кауров, слава богу, не дурак и, попавши в Голконду[53], не будет стоять, разинув рот, в то время, как другие собирают сокровища. Попался же он, собственно говоря, по своей же глупости: пожалел крупного куша, когда не следовало, и угодил в места не столь отдалённые.

— Но, конечно, ненадолго. Нас простят. Мы ведь верные слуги отечества, люди благонамеренные, столпы в некотором роде, не то что эта неблагонадёжная голытьба, потрясающая основы, — с хохотом прибавлял Кауров.

Рядом с ним сидел Хрисанф Андреевич Мосягин, бывший почётный гражданин и миллионер, судившийся за поджог пустых лавок в одном из городов Поволжья. Мосягин, хоть и старый уже

[53] Примечания: 53

Голконда — государство Индии 16–17 вв., славившееся алмазами. Слово это употребляется как синоним неисчерпаемой сокровищницы.

человек, но на вид ему не более пятидесяти лет; лицо у него мускулистое, крепкое, с тем смиренным выражением, какое бывает у монахов в публике, бородка реденькая, клинышком, глаза небольшие, круглые и зоркие, как у кобчика. Он не толст, не худ, а, как выражается сам про себя, «мужик в пропорцию». Несмотря на то, что преступление сравняло его, по званию мещанина из ссыльных, с остальными присутствовавшими здесь гостями, Мосягин всё-таки держит себя в их обществе с некоторой осторожной почтительностью. Это — хищник, стяжатель, скупец и философ, любящий пофилософствовать за стаканом чая о суете мирской вообще и о неблагодарности детей в особенности. Он, видите ли, «после несчастия, посланного ему богом», передал сыновьям, вместе с фирмой, всё своё состояние, а они забыли родителя и лишают его, беднягу, самого необходимого.

Так иногда жалуется Мосягин, скрывая, что у него есть капитал, и капитал большой, хранящийся в одном из банков и положенный на имя свояченицы, не старой ещё женщины, которая приехала в ссылку оберегать покой престарелого страдальца. Живёт он скаредно, но и в ссылке не забывает дел: в компании с одним жиганским

купцом ведёт хлебную торговлю и при случае даёт деньги под проценты, под большим секретом. Ссылка для этого бывшего миллионера, царя хлебной торговли Поволжья, — новая арена для его стяжательных талантов, но эта арена мала, и, главное, он боится, что его, бесправного, обманут, и потому Мосягин в ссылке грустит и всё хлопочет о помиловании, для чего часто захаживает к Сикорскому за советами. Сперва было он обращался к Жиркову, но, поплатившись ста рублями, нашёл, что это убыточно… Сикорский же одолжает Мосягина даром, имея на то свои причины.

Последний гость, с которым остаётся познакомить читателя, — господин Пеклеванный, известный в кругу жиганских кутил под именем «Гришки Пеклеванного». Этот высокий кудластый брюнет с широким выбритым лицом калмыцкого типа и небольшими неглупыми глазами, обличьем и развязными манерами напоминающий не то маркёра, не то трактирного забулдыгу, не имел чести разделять печальной участи «королей в изгнании». Господин Пеклеванный приехал в Сибирь добровольно, влекомый сюда, если верить его словам, цивилизаторской миссией — желанием послужить своими та-

лантами тёмному, некультурному краю, так нуждающемуся в образованных людях. И он служил краю в качестве не особенно разборчивого ходатая по разным делам, прославившись гораздо более как неутомимый скандалист, затевавший в пьяном виде «истории», обычным результатом которых бывали драки с переменным счастием, так что рассказы о таких происшествиях были в Жиганске самыми частыми новостями, разнообразившими адскую провинциальную скуку. То Пеклеванный кого-нибудь бил, то Пеклеванного били. То он смазывал физиономию какого-нибудь приятеля-собутыльника горчицей или обливал голову пивом, то с ним проделывали нечто подобное. Все эти маленькие «недоразумения» как с чужими физиономиями, так и со своей не особенно смущали Пеклеванного, часто бывавшего в таких переделках. После дня-другого сиденья дома с примочками арники, он как ни в чём не бывало показывался в людях, пил на мировую или великодушно забывал полученную мятку и с прежним апломбом ораторствовал, где только мог, о том, что он «истинно русский человек» и высоко держит знамя законности, порядка и культуры.

XXVI
«Идея»

Главной темой разговоров был, конечно, отъезд Ржевского-Пряника.

— Неужели старик так и не вернётся сюда? — спрашивали со всех сторон у Сикорского.

— Едва ли вернётся!.. — авторитетно отвечал Сикорский, грустно покачивая головой.

Эти слова близкого «старику» человека вызвали непритворное сожаление среди «королей в изгнании». Все хвалили Василия Андреевича; всякий вспоминал о том или другом факте внимания. Другого Ржевского-Пряника им не дождаться. Каждый из присутствующих с тревогой думал о будущем.

Один только Таухниц угрюмо молчал, не принимая почти никакого участия в оживлённой беседе. Не всё ли равно ему — останется или нет Ржевский-Пряник, и кто будет на его месте? Он во всяком случае не думает просить о помиловании и вообще не станет обращаться с какими бы то ни было просьбами и докуками к местной администрации, и потому был совершенно рав-

нодушен к вопросу, волновавшему остальных присутствующих.

А все, несомненно, были взволнованы. Особенно волновался Сикорский, хоть и умел скрыть своё волнение под маской непроницаемости. Пройдут для него красные дни с отъездом Василия Андреевича. Каково будет жить с новым начальством? Начальство в Сибири при желании ведь может каждому из «королей» отравить жизнь. Оно может лишить их права жить в Жиганске и в двадцать четыре часа отправить на жительство в какую-нибудь трущобистую дыру. Положим, с «королями» так поступать стесняются, но кто знает, как посмотрит на них «новый» и под какими впечатлениями он приедет сюда? [Что если под «сибирскими», навеянными петербургскими сибиряками?] Что если он проверит все эти бесчисленные жалобы и озлобленные выходки «Жиганского курьера» против уголовных ссыльных и лишит некоторых из них мест! Ведь могут найтись советники, которые скажут, что неудобно и неприлично какому-нибудь банкокраду или человеку, сосланному за подлог, служа по вольному найму, от имени правительства контролировать какое-нибудь учреждение и делать ещё замечания.

Обо всём этом вспомнил Сикорский, и, разумеется, невесёлые мысли волновали его. Неспокойны были Жирков и Мосягин, да и Кауров, хоть и говорил, что ему «наплевать» и что он постарается выхлопотать право жить в Царском Селе вместо Питера и помимо местной администрации, всё-таки несколько приуныл, слушая пессимистические пророчества Сикорского.

— Да полноте вам, родной Михаил Яковлевич, пугать нас!.. Бог не без милости, свинья не без поросят! — наконец проговорил он.

«Тебе-то хорошо с деньгами», — подумал Сикорский и сказал:

— Я не пугаю, дорогой Сергей Сергеич… Я только комбинирую…

— Лучше велите-ка своей Милитрисе Кирбитьевне подать нам по рюмке водки… Тогда комбинации будут не такие мрачные! — с весёлым хохотом продолжал Кауров. — Уж Пеклеванный изнывает… Сосёт ведь у тебя под ложечкой, друг Пеклеванный, а? — обратился Кауров к тому тоном панибратства, в котором слышалась едва заметная нотка некоторого пренебрежения. — Сколько сегодня выпил?.. Было дело, а?

— Верно, и ты, беззаботный интендант, не без греха… Говорят, за завтраком у тебя сегодня пили

много…

— А что ж ты не приехал, коли знал, что у меня пьют… Как это ты прозевал случай, а? — подсмеивался Кауров.

Между тем миловидная, чисто одетая горничная, шурша платьем и жеманно опуская глаза каждый раз, как Кауров пристально взглядывал на неё своим масленым взором, поставила на стол различные холодные закуски, хлеб, масло, разных сортов водки и несколько бутылок вина.

Сикорский слегка нахмурил брови, заметив взгляды Каурова, но тотчас же разгладил их и с обычной своей любезностью предложил гостям закусить, наполняя рюмки водкой. Все, кроме Таухница, выпили с видимым удовольствием и стали закусывать.

— Что ж вы, Рудольф Иванович? Хоть рюмку вина выпейте да закусите чего-нибудь!.. Сыр недурён! — прибавил Сикорский, обращаясь к Таухницу.

— Благодарю. Вы ведь знаете: я не ужинаю.

Он взглянул на свою серебряную луковицу и стал собираться. Сикорский начал его удерживать.

— Поздно… Одиннадцатый час, а мне в Слободку.

— Моя лошадь к вашим услугам, Рудольф Иваныч! — с почтительной аттенцией[54] предложил Кауров.

— И моя тоже! — повторили Жирков и Пеклеванный.

Но старик, поблагодарив, отказался и стал прощаться.

— Жаль, что вы не остались, Рудольф Иваныч! — говорил ему в передней Сикорский конфиденциальным тоном, с особенной ласковой почтительностью пожимая ему руку. — Я было хотел спросить вашего совета насчёт одного дела, мною задуманного. Впрочем, я завтра побываю у вас… Оно и лучше: побеседуем наедине.

Старик даже не полюбопытствовал узнать, в чём дело, и только промолвил, что он целый день дома.

— А ведь отлично сделал мрачный генерал, что ушёл! — воскликнул Кауров, когда Сикорский проводил Таухница. — Помилуйте! Сам не пьёт и только других стесняет своим строгим видом… За вами очередь, дорогой Михаил Яковлевич! Мы без вас уже по второй выпили.

— Вам можно и по третьей, а мне вредно.

---

[54] Примечания: 54
Учтивость (от *франц. l'attention*[illegible]).

— Ну для меня, Михаил Яковлевич.

— Так и быть, разве для вас. Сергей Сергеевич!

И, налив рюмку портвейна, Сикорский чокнулся с Кауровым.

За ужином ели и пили много. К концу ужина лица у всех гостей были возбуждены. Разговоры оживились. «Весёлый интендант» рассказывал о жизни в Бухаресте и постоянно прибавлял, обращаясь к Пеклеванному:

— Понимаешь ли ты, как было хорошо, а?

На что Пеклеванный подмигивал глазом и отвечал, что понимает.

Мосягин ел молча, с жадностью человека, вознаграждающего себя за скудную пищу дома хорошими кушаньями, за которые не придётся платить, и пил одну водку. Жирков, откинувшись на стул, смаковал дорогое красное вино. Все были веселы, но никто не был пьян. Сам Сикорский, угощая гостей, почти ничего не пил. Когда интендант окончил свои воспоминания, Михаил Яковлевич значительно проговорил:

— У меня, милые гости, есть одно предложение… идея, о которой я хотел бы поговорить с вами… Только наперёд буду покорнейше всех просить держать пока мою идею в секрете…

Все глаза обратились с любопытством на Си-

корского.

Михаил Яковлевич продолжал:

— Вы знаете, конечно, с каким озлоблением относятся сибиряки к приезжим, к людям, не разделяющим сибирских взглядов. Вы знаете тоже, какова здесь местная печать… какие проводит она тенденции и с какою наглостью позорит и клевещет на людей, имеющих несчастие быть в нашем положении. Никого эти гнусные газеты не оставляют в покое… Ещё на днях, помните, Сергей Сергеевич, какую гадость напечатал «Жиганский курьер» про вас?

— Мерзавцы! — проговорил в ответ Кауров.

— Всё это навело меня на мысль, — продолжал Михаил Яковлевич, — что было бы весьма полезно основать здесь орган, который бы проводил здоровые, истинно русские идеи, ничего общего не имеющие с тем, что пишут там разные «сибирские патриоты» [и разная политическая шваль], — орган, который бы помогал администрации в её стремлениях сделать что-нибудь для края… Одним словом, недурно было бы иметь газету вполне приличную, которая бы противодействовала вредному сибирскому влиянию. [Василий Андреевич совершенно разделяет эту мысль и готов лично в Петербурге хлопотать о разрешении,

так что с этой стороны мы почти обеспечены. Подобная газета, мне кажется, могла бы иметь успех, если её повести бойко и живо, тем более что «Жиганский курьер» своими главными обличениями давно возмущает всех порядочных людей. Что вы на это скажете?

— А ведь это… идея! — проговорил со смехом Кауров. — Иметь свою газету… Ей-богу… идея!..

— «Курьер», наверное, закроют после статьи московской газеты, и, следовательно, не будет конкурента! — заметил Пеклеванный.

— Да и ведётся он скверно! — промолвил Жирков.

— Но только где вы найдёте людей?.. Кто будет писать, а?.. — спросил Кауров.

— Об этом беспокоиться нечего… Михаил Петрович работал в московских газетах и немного знаком с журнальным делом Он поможет нам… Не правда ли?

Жирков утвердительно кивнул головой.

— А затем… не боги же горшки лепят… И здесь найдутся люди, способные писать… Я хоть и не литератор, а, надеюсь, сумею толково и литературно изложить свои мысли… Таухниц обещал… Григорий Григорьевич, вероятно, тоже не откажется принять участие…

Пеклеванный даже вспыхнул от удовольствия и проговорил, что он будет очень рад.

— Надеюсь, и вы, Сергей Сергеич…

— Что вы… что вы! — с хохотом перебил Кауров. — Я отроду не писал…

— Попробуйте, это не так трудно! — улыбнулся Жирков.

— И пробовать не буду…

— Дело не в этом, господа. Сотрудники найдутся, но прежде всего надо приискать издателя и редактора. Не откажите нам в этом, Григорий Григорьевич!

Сам Пеклеванный в первую минуту смутился от подобного предложения, до того оно было невероятно. Гришка Пеклеванный, герой всевозможных скандалов, в роли издателя и редактора?!

— Утвердят ли? — проговорил он и даже как будто сконфузился.

— Чем ты не редактор? — сказал Кауров с улыбкой.

— [Василий Андреевич даст о вас] прекрасный отзыв, ручаясь за вашу благонадёжность, — заметил Сикорский.

— Я… что же… я согласен!..

— [Так подавайте завтра же прошение в главное управление по делам печати… Михаил Петрович

его составит… он знает форму…] Теперь лишь остаётся обеспечить издание на первый год. В первый год, разумеется, будет дефицит…

При этих словах «весёлый интендант» сделался вдруг серьёзен, а Мосягин задумчиво опустил глаза.

— Нужна будет пустяшная сумма… тысяч пять! — проговорил Сикорский, — и мы рассчитываем на вас, добрейший Сергей Сергеич, и на вас, Хрисанф Андреевич.

— Я, поверьте, с полным моим удовольствием, если б имел деньги, — заговорил Мосягин. — Вы ведь знаете, что дети меня обобрали, и я…

— Полно… полно, Хрисаша, не ври… Деньги-то у тебя есть, милый человек! — перебил его со смехом Кауров. — Я дам, пожалуй, половину, дай и ты… Ведь дело-то хорошее: понимаешь ли — газета, а? Даром будешь читать…

Но Мосягин упёрся и лишь после усиленных настояний Сикорского, сопровождаемых кое-какими намёками, обещал достать у свояченицы тысячу рублей без процентов. Тогда Кауров обозвал Мосягина «скаредным Хрисашкой» и объявил, что даёт четыре тысячи без всяких условий.

Произошла трогательная сцена. Сикорский

облобызал Сергея Сергеевича и сказал благодарственный спич. Вслед за тем он послал за шампанским, и господа «бубновые тузы», будущие руководители общественного мнения, долго ещё пировали.

[На следующий же день было написано прошение и объяснительное письмо от имени Василия Андреевича, — письмо, в котором мотивировалась необходимость для края органа, согласного с видами администрации, указывалось вредное направление сибирских газет и сообщалось, что как редактор, так и будущие сотрудники известны его превосходительству за людей вполне благонадёжных. В тот же день всё это было отправлено в Петербург, и Василий Андреевич ещё несколько раз повторил Сикорскому, что он лично будет хлопотать о разрешении.

— Такая газета нужна Сибири… Это моя давнишняя идея!.. — говорил старик. — Посоветуйте только Пеклеванному вести себя теперь поскромнее… всё-таки редактор… Неловко быть вечным героем скандалов… За это сибирская пресса его съест!.. — прибавил, смеясь, его превосходительство.

— Он обещал, он обещал! — успокаивал Сикорский. — Разумеется, Пеклеванный несколько

скандальный редактор, но, согласитесь, Василий Андреевич, что, кроме Пеклеванного, не на ком было остановиться… Зато он истинно русского направления человек и вполне политически благонадёжен… За это можно поручиться… Да, наконец, ведь он будет только для вывески! — заключил, улыбаясь, Сикорский.

В тот же вечер Сикорский с Жирковым сидели вдвоём, рассуждая о смете «Сибирского гражданина», как окрестили они новый орган.

И в то время как Жирков, увлечённый перспективой литературных занятий, которые, думал он, дадут ему влиятельное положение в Жиганске и новый заработок, набрасывал широкие планы ведения газеты, причём настаивал, чтобы газета велась в умеренно либеральном духе, — Михаил Яковлевич, слушая молодого человека и одобрительно кивая головой, думал о том, как он отомстит теперь своим врагам — этой ненавистной ему «клике» «Жиганского курьера».

«Останутся довольны», — мечтал Сикорский, вполне уверенный, что этот мягкий и податливый Жирков явится в его руках лишь послушным орудием и что тон газете будет давать он, Сикорский. Он знал, какого направления держаться и какие теперь в моде песни… Он будет петь их и

заставит Жиркова вторить ему — для этого он найдёт средства… Кто знает, к чему приведут эти песни?.. Они могут обратить на себя внимание, и благодаря им его наконец простят, возвратят все права, и звезда его взойдёт снова.

Но прежде всего нужно доконать этих «мерзавцев», не оставляющих его и здесь в покое. Он знает, как доконать их при помощи газеты… Он припомнит им все оскорбления, которые он перенёс благодаря им… Он всё поставит на счёт.

И, предвкушая заранее это наслаждение, старый расхититель посмеивался своим тихим беззвучным смехом, весело потирая руки.

Через несколько дней секрет о новой газете уже не был секретом. Пеклеванный крепился день-другой, но на третий не удержался, чтобы не сообщить, что скоро будет издаваться газета — орган истинно русских людей «и в самом, понимаете ли, благородном направлении».

— Кто же будет издавать?

Пеклеванный принял значительный вид и объявил, что это пока секрет. Но после шестой рюмки он уже рассказывал, что будет издавать газету он, дворянин Пеклеванный, который откроет новые горизонты и покажет, чёрт возьми, что именно нужно для Сибири.

По этому случаю надо было выпить ещё. После десятой рюмки Пеклеванный уже кричал, помахивая кулаком и припоминая обиды, нанесённые «Курьером», в хрониках которого имя Пеклеванного часто фигурировало, что он в лоск положит «Курьер».

— Я убью его своей газетой… Патриоты сибирские подожмут хвосты. Моя газета будет органом порядочных людей…

У меня в газете соберётся цвет интеллигенции… Цвет!.. Такой газеты ещё не было в Сибири.

С этих пор Пеклеванного стали называть редактором.

— Выпьем, редактор! — говорили при встречах его собутыльники.

Сибирская пресса подхватила эти слухи, и в ближайшем же номере «Жиганского курьера» появилось известие, что затевается новый орган — «орган бубновых тузов».

Пеклеванный получил головомойку от Сикорского и дал зарок не пить. Он напустил на себя солидную важность. В самом деле, ведь он теперь редактор! И когда прежние приятели говорили ему: «Выпьем, редактор!» — он строго покачивал головой и значительно прибавлял:

— Не пью… Не до того теперь… У меня газета на

шее. И в самом деле он выдерживал неделю-другую — до «случая».]

XXVII
Медовый месяц

Медовый месяц Панютиной и Невежина окончился скоро благодаря «весёлому интенданту». Он явился серьёзным соперником молодого человека, хотя и не открывал вначале своих козырей. Молодая красивая актриса серьёзно пленила Каурова, напомнив ему одну из тех соблазнительных румынок, на которых он, бывало, просаживал немало казённых денег, и Кауров стал ухаживать за актрисой с терпеливым упорством человека, уверенного, что в конце концов достигнет цели — следует только не горячиться и переждать первые восторги этой «идиллии всухомятку», как цинично называл он всякое ухаживание за женщинами, не сопровождавшееся сумасшедшими тратами. Он положительно забрасывал Панютину букетами, подносил ей от имени публики ценные подарки, ежедневно являлся к ней после репетиции и, терпеливо выслушивая тонкие насмешки в ответ на свои любовные намёки, только щурил, как кот, свои масленые глазки, и, целуя на прощанье белую, пухлую ручку актри-

сы, приговаривал со вздохом:

— До свидания, божественная королева!

— До свидания, верный рыцарь!

— И вы по-прежнему безжалостны к верному рыцарю? — шутливо прибавлял он.

— Безжалостна! — смеясь, отвечала Панютина.

— И нет никакой надежды?

— Никакой! — говорила она всё тем же шутливым типом.

Он снова покрывал поцелуями её руку, грустно покачивал головой и удалялся, встречая нередко в прихожей весёлого, довольного Невежина. Влюблённому толстяку, при всём его добродушии, в минуты подобных встреч хотелось перервать горло этому счастливцу, ставшему ему на дороге, но вместо того он с особенной любезностью пожимал ему руку и только презрительно косил глаза на цветы и конфеты, которые привозил Невежин.

— Недолго тебе, шаромыжнику, придётся носить цветочки! — шептал он сдавленным от зависти голосом.

Однако терпение «весёлого интенданта» начинало истощаться. Прошёл целый месяц — он сделал актрисе по крайней мере тысячи на две подарков, а она, казалось, не подавала никакой

надежды на благосклонность к влюблённому интенданту и позволяла только целовать свои красивые руки не выше локтей да пожирать глазами роскошную шею и круглые плечи, когда Кауров заставал её иногда полуодетою в уборной. Знаток и любитель красивого женского тела, он вздрагивал от восторга, мысленно совсем оголяя актрису, и начинал не на шутку сердиться этот сластолюбивый толстяк, из-за женщин попавший в Сибирь. Небрежное равнодушие красивой пикантной женщины только разжигало его желания, и он наконец решил, что пора пустить Невежина «насмарку» и «козырнуть» как, бывало, умел козырять он в те счастливые времена, когда был интендантским «аркадским принцем».

И Кауров однажды не явился к Панютиной «за приказаниями», как шутя называл он ежедневные свои визиты, а вместо того прислал письмо, полное нежных и страстных излияний, после которых шло деловое объяснение. С обстоятельностью серьёзного человека Кауров точно обозначил весьма солидную сумму, которую он был бы готов повергнуть к стопам божественной королевы для обеспечения её от всяких случайностей жизни, в случае, если она не отвергнет его любви, и почтительно прилагал теперь же чек на

три тысячи без всяких условий, как слабую дань её красоте. В заключение он просил дать ответ через три дня.

Предложение было заманчиво. О нём стоило серьёзно подумать. Влюблённый интендант предлагал актрисе по три тысячи в месяц, брал всё её содержание на свой счёт, предлагая к её услугам свою квартиру, и, кроме того, обещал при расставании выдать десять тысяч. Не трудно было сообразить, что судьба посылает ей маленькое состояние, которое даст ей возможность в будущем не вести цыганской, полной всяких случайностей жизни. С деньгами можно и условия заключать более выгодные, и взять, наконец, самой антрепризу. Надоели уж Панютиной и эти перекочёвки из Казани в Симферополь, из Симферополя в Орёл, из Орла в Сибирь, и зависимость от антрепренёров, и страх за своё жалованье, и переходы от лишений к показной, дутой роскоши «первого сюжета». Она знала действительную цену громадных окладов, которые ставились в контрактах, знала лёгкость театральных крахов и исчезновения антрепренёров, и собственным горьким опытом понимала, что без сбережений провинциальной актрисе приходится плохо… «Мёртвые сезоны», интриги,

лишающие выгодного ангажемента, борьба самолюбий, заставляющая выйти из труппы… мало ли терний для актрисы, хотя и заметной на провинциальных сценах, но не имеющей счастья быть знаменитостью, за которою гоняются. Была бы она знаменитостью, не приехала бы в Жиганск на пятьсот рублей в месяц! «Романическая история», заставившая будто бы ехать её в Сибирь, была ловкой выдумкой антрепренёра, повторённой доверчивым репортёром местной газеты, — не более. Она вот служит искусству десять лет, и до сих пор никакого солидного обеспечения… Брильянтов тысячи на две да разные подарки — вот и всё её состояние. Пора подумать и о будущем, пока она ещё молода…

В этой женщине, выросшей в атмосфере провинциальных кулис, интриг и бесшабашного прожигания жизни, с привычками лёгких, мимолётных связей перелётной птицы, тем не менее была практическая жилка предусмотрительной женщины, и чувствовалось то инстинктивное стремление к оседлой жизни, силу которого не могло заглушить долгое артистическое бродяжничество. Она обрадовалась «случаю», никак не предполагая, что Кауров может так щедро оценить её благосклонность. Невежин, правда, ей

нравился — он такой красивый, милый, порывистый, этот «Женечка», как она называла его, — но ведь любви к нему не было, как и у него к ней. Так нравились ей десятки людей, с которыми она сходилась после лишнего бокала шампанского и расходилась перед отъездом в другой город. И она не задумалась пожертвовать этой случайной связью в виду такого серьёзного предложения Каурова, и быть верной новому любовнику.

— Да и этот толстяк вовсе не противен! — проговорила она вслух, присаживаясь к столу, чтобы написать Каурову короткий ответ: «Согласна. Завтра вас жду, милый Сергей Сергеич!».

Но это решение, обдуманное и спокойное, столь не похожее на роли тех страстных «драматических» кокоток, которых так хорошо изображала Панютина на сцене, не помешало ей отдать этот последний свободный вечер Невежину, и она провела его вместе с ним, особенно нежная, возбуждённая, как будто стараясь горячими ласками вознаградить и себя, и Невежина за горечь разлуки. Это был сумасшедший вечер, по окончании которого Панютина, томная и усталая, объявила, что этот вечер — лебединая песнь их любви, и не отказала себе в удовольствии маленькой трогательной сцены с объятиями и слезами, пожалуй,

и искренними.

— Последний?! Почему?..

Она, не стесняясь, правдиво объяснила Невежину, почему решила расстаться с ним, и просила его не сердиться, а вспоминать их весёлый месяц любви без злого чувства.

— Ведь и ты любил не меня, а мои ласки! — сказала она, смеясь сквозь слёзы, и прибавила: — Разойтись месяцем раньше, месяцем позже, не всё ли равно? И, наконец, говорят, у тебя есть невеста… Я ведь видела эту красивую строгую барышню!

Но Невежин принял вид оскорблённого любовника и проговорил горячий монолог, полный негодования и оскорбительных намёков, что вызвало сперва удивление Панютиной, а потом досаду.

«Неблагодарный! Он ещё читает мне мораль!» — подумала она и, насмешливо улыбаясь, спросила, по какому праву он оскорбляет её? Разве она давала ему какие-либо обещания? Разве они чем-нибудь связаны? Разве она требовала от него каких-нибудь клятв?

— В вас, Невежин, скверное мужское самолюбие говорит — вот и всё! Разойдёмтесь-ка лучше по-приятельски… Я не хочу с вами ссориться…

Слышите ли? — прибавила она смягчённым ласковым тоном.

И протянула Невежину свою красивую обнажённую руку, которую Невежин поцеловал с видом дующегося ребёнка, не сознающего своей вины.

XXVIII
«Страдалец»

1

На следующий же день Панютина переехала в роскошную квартиру «весёлого интенданта», а Кауров, ради соблюдения приличий, перебрался в гостиницу. Узнавши об этом, Невежин вечером не пошёл в театр и просидел дома, меланхолически раздумывая об испорченности актрисы, связавшейся с этим толстяком ради денег. Философствуя на эту благодарную тему, он, конечно, не вспомнил о своей женитьбе и находился в неопределённо тоскливом настроении бездельного человека, для которого после весёлого праздника совсем неожиданно наступили будни, серые, однообразные, с томительной скукой впереди. Он сожалел, что не богат. Тогда бы этот праздник не кончился так внезапно. «Да, без состояния невесело жить, что там ни проповедуй моралисты!» — философствовал Невежин и грустно задумался, вспомнив о своём опустевшем бумажнике. Он сосчитал свои капиталы: от трёх тысяч, недавно полученных, осталось всего три-

ста рублей. Всё остальное, кроме пятисот рублей, истрачено на цветы, на конфеты, на подарки, на катания.

— Нет, надо иначе жить, не так глупо! — внезапно решил он, охваченный вдруг тем порывом не то сожаления, не то раскаяния, который, как шквал, рябит поверхность бесхарактерных натур, набегая на них вслед за какой-нибудь неудачей.

В самом деле, он глупо растратил присланные деньги, не подумав о своём положении. «Конечно, можно бы написать жене…» Но Невежин в ту же минуту отогнал соблазнительную мысль. Этого он не сделает. Он может ещё принять деньги от жены, попросить… никогда… Решительно надо взяться за какую-нибудь работу… Чего лучше адвокатура. Жирков, пожалуй, согласится принять его к себе в помощники. Он ещё недавно говорил, что у него много дел… Во всяком случае, надо переговорить с этим добрым, симпатичным Жирковым. Он даст совет.

И Невежин припомнил недавнее своё знакомство с «жертвой недоразумения», окончившееся неожиданной исповедью в трактире об «умирающей матери» — исповедью, которая так тронула Невежина, что заставила его при первом же брошенном Жирковым вскользь намёке о

временном денежном затруднении предупредительно предложить ему сто рублей. Жирков великодушно согласился на это, небрежно сунул сторублёвую бумажку в карман, после чего крепко потряс Невежину руку и сказал, что возвратит «эти пустяки» на днях.

— Я вчера получил телеграмму, что деньги высланы! — с стремительной горячностью проговорил Жирков, ничем не вызываемый на эту ложь.

Он даже с решительным видом полез в боковой карман за этой мифической телеграммой и, несмотря на протесты Невежина, озабоченно искал её в бумажнике, пока наконец не воскликнул:

— Так и есть, осталась дома!.. Нет, вообразите, что у нас за почта! Мне телеграфируют, что пятьсот рублей высланы три недели назад, а денег нет… Говорят… мосты сорваны, что ли?

И вслед за тем Жирков велел подать бутылку шампанского, после которой новые знакомые расстались приятелями.

Невежин теперь вспомнил, что Жирков звал его работать в новой газете. Тогда он отказался… «Но отчего не попробовать?.. Не так это трудно!..» — думал Невежин, и решил попробовать.

Затем мысли его обратились к Зинаиде Николаевне. Теперь, после разрыва с Панютиной, холодное отношение девушки было ему ещё неприятней, и он легкомысленно мечтал вернуть прежнее расположение Зинаиды Николаевны, в котором не сомневался. Она всё-таки ведь его любит!

Прошла неделя. Панютина была забыта. Зинаида Николаевна снова занимала его воображение. Ему опять казалось, что он любит её, а она к нему несправедлива и даже жестока.

Зинаида Николаевна, видимо, избегала его. При редких, случайных встречах она почти не говорила с Невежиным и сухо отвечала на его вопросы. И он отходил грустный, считая себя несчастным, одиноким, несправедливо обиженным.

«За что она сердится? — наивно спрашивал себя Невежин, шагая по комнате с мрачным видом. — Она, конечно, не знает об его отношениях к Панютиной… Да если б и знала? Монах он разве? Не за то ли, что он не бросился тогда на это место конторщика?»

Он постепенно начинал обвинять Зинаиду Николаевну. К чему она приехала сюда, зная, что он её любит… К чему были эти чтения, эти прогулки вдвоём, эти заботы о нём? Для того, чтобы, в конце

концов, читать проповеди о труде и обязанности?! Не из-за неё ли попал он в эту проклятую дыру? Не поступи он тогда как джентльмен, не скрой он на суде причину этого глупого выстрела, присяжные оправдали бы, и жизнь его не была бы вконец изгажена. И всего этого она не ценит, холодная, бессердечная сибирячка!

Он искал случая объясниться с ней, но такого случая, как нарочно, не представлялось. С раннего утра она уходила на уроки, обедала с тёткой раньше Невежина и по вечерам сидела опять-таки со Степанидой Власьевной. Его теперь не звали, как прежде, почитать вдвоём, с ним не делились впечатлениями; он, видимо, был как-то незаметно отчуждён от интимной жизни маленького домика.

И Невежин, не зная, как убить время, ещё острее чувствовал одиночество ссылки, оставаясь наедине сам с собой.

При мысли, что он может надолго остаться в Сибири, на него нападал ужас. Что, если хлопоты матери, несмотря на её связи, не помогут? Неужели он должен пропадать здесь, одинокий, беспомощный, — он, привыкший к иной жизни?!

И Невежин, думавший, как и все эгоисты, толь-

ко о себе, готов был в такие минуты сожалеть об единственно хорошем своём поступке — о молчании на суде. Он проклинал этот дурацкий выстрел, готов был сожалеть о разрыве с женой и, слабый и жалкий, плакал, считая себя глубоко несчастным, обиженным, что на его любовь отвечают равнодушием… И красивый образ девушки преследовал его, возбуждая желания. Ему хотелось её участия, любви, ласки, без которых ему, как балованному ребёнку, жизнь казалась невозможной…

2

Как-то, после одной из таких вспышек, в комнату к нему зашла Степанида Власьевна с тарелкой горячих пирожков.

Добрая старушка, по-прежнему расположенная к Невежину, увидав его расстроенным, с глазами, полными слёз, воскликнула:

— Что это с вами, родной мой? Или получили какую-нибудь печальную весточку?

В этом вопросе было столько тревоги, участия и доброты, глаза старушки так ласково, вдумчиво смотрели на молодого человека, что Невежин с чувством пожал руку Степаниды Власьевны и, ещё более взволнованный, отвечал:

— Нет, милая Степанида Власьевна, никаких печальных вестей я не получал, а так… взгрустнулось… Невесело здесь! — прибавил он с печальной улыбкой, подвигая старушке стул.

— Ах ты, бедный мой! — участливо протянула Степанида Власьевна, присаживаясь на стул и ставя на стол тарелку. — Ещё бы!.. Какое здесь для вас веселье после прежней-то жизни? К хорошему-то привыкать легко, а к худому трудно… Там, в Петербурге, у вас и родные, и знакомые, и развлечения какие угодно… И жили-то вы в полное своё удовольствие, и занятия, верно, имели, а здесь что?.. Как тут не заскучать?.. Я и то говорю Зиночке, что нельзя всякого человека на один аршин мерить… Она вот нигде не скучает, всё будто около чего-то суетится, ну а другой не может… Воспитания не такого. То-то оно и есть! Да вы пирожки-то кушайте, пока горячие… Кушайте, кушайте, Евгений Алексеич!.. — настаивала старушка.

Чтоб не обидеть Степаниды Власьевны, Невежин отведал пирожка.

— А вы, голубчик Евгений Алексеич, всё-таки духом-то не падайте, не поддавайтесь скуке. Скука эта, что червь, точит человека. Бог милостив… Перемелется, мука будет, поверьте старухе. По-

терпите, что делать… Может быть, там в Питере за вас похлопочут, вы и в Россию вернётесь. И не таким, как вы, возвращали права… А вы, слава богу, не какой-нибудь там преступник, и, слышала я, вас уж слишком строго засудили. Мало ли каких ссор не бывает между мужем и женою?.. То-то оно и есть. Все мы под богом ходим…

И, помолчав, старушка спросила, стараясь скрыть любопытство под тоном равнодушия:

— Видно, супруга-то ваша, Евгений Алексеич, уж очень вас обидела, а?

— Меня? — удивился Невежин. — Да разве вы не знаете, за что я сослан? Разве Зинаида Николаевна вам не рассказывала?

— То-то не рассказывала подробностей… Говорила только, что вы, бедненький, были несчастливы в супружестве… Верно, супруга не любила вас?

— Напротив, очень!

— Значит, вы разлюбили жену?

— Я никогда её и не любил, Степанида Власьевна… Она была гораздо старше меня, некрасива, ревнива…

— Так зачем же вы, голубчик, женились? — добродушно воскликнула старушка.

Невежин молчал. Старушка догадалась.

Но, мучимая любопытством, она всё-таки не могла не спросить:

— Ревнива, говорите вы?..

— Очень…

— Что ж пирожки-то! Простынут! — спохватилась старушка и, покачав головой, прибавила: — Так… так… Это бывает!.. Другая такая ревнивая, что не дай бог…

И так как Невежин всё-таки не рассказывал окончания истории, то старушка, сгорая от нетерпения скорей узнать конец, снова заговорила:

— У нас тут в Жиганске тоже была такая история… Муж влюбился в другую, да и…

Она вдруг спохватилась, останавливая испуганные, широко раскрытые глаза на Невежине…

— Нет, не то, Степанида Власьевна… Я не такой злодей! — улыбнулся Невежин. — Мой выстрел был сделан в порыве глупой вспышки за то, что жена поносила одну совершенно невинную девушку…

— Которую вы любили?.. — подсказала Степанида Власьевна.

— Да.

— А она?

— Она об этом и не знала тогда… Уж после узнала от жены…

— Ишь ты… Жена, значит, объяснила той-то… Что ж дальше?..

— Дальше? После суда жена простила меня… Развод предлагала…

— Ещё бы не простить… Тоже насильно мил не будешь… А та-то, любимая?..

— Та? — переспросил Невежин. — Та меня, видно, не любит!.. — грустно прибавил Невежин.

— Вишь какие дела-то на свете бывают! — раздумчиво проронила старушка. — Не лю-бит! Бедный, бедный! — пожалела старуха.

И, снова помолчав, сказала:

— А вы всё-таки духом-то не падайте… Свет не клином сошёлся… Ещё найдёте себе милее по сердцу, как в Питер вернётесь… Ведь жена развод даёт!.. Жизнь переменится… Молоды ещё… Слава богу!.. Да не сидите вы сиднем дома… Сходили бы куда, в театр, что ли, всё развлечение, а то в своей-то комнате да с горькими мыслями и жизнь горше покажется… Право! Вот прежде не сидели дома и не скучали так… Да к Зиночке когда бы зашли, с ней бы словцом перекинулись, всё бы легче, чем одному киснуть! А то в последнее время между вами точно кошка пробежала…

— Верно, Зинаида Николаевна сердится?

— Да за что ей сердиться на вас?.. Она только с

виду строга, Зиночка, а сама предобрая… Нечего вам и ссориться. Уж недолго и видать-то её… всего недельку какую-нибудь…

— Как недельку? — воскликнул Невежин.

— Да разве она вам не говорила ничего?

— Ничего…

— Ишь какая!.. Она ведь уезжает!

— Уезжает? — переспросил Невежин упавшим голосом, испытывая острое чувство обиды. — Куда?

— Да за границу… Уже и паспорт выправила… Докторшей хочет сделаться и потом уж совсем вернуться сюда. Говорит, что дети здесь мрут зря… Да вы ступайте к ней… ступайте. Она вам сама лучше всё расскажет… А мне на кухню надо… А что ж пирожки?.. Так и не съели?.. Не нравятся, видно?

— Не хочу.

— То-то и есть… И аппетиту нет… А всё оттого, что дома сидите. Идите же к Зиночке, — прибавила старушка, уходя из комнаты.

XXIX
Последнее объяснение

— Мне необходимо переговорить с вами, Зинаида Николаевна! — воскликнул Невежин, переступая порог этой небольшой комнатки, светлой, уютной, с цветами на окнах, видимо, убранной умелой и аккуратной женской рукой. — Вы позволите?

Зинаида Николаевна, не ожидавшая увидеть Невежина, невольно вздрогнула при звуках этого знакомого, нежного голоса. Она подняла свои глаза, серьёзные, строгие и удивлённые, на взволнованное лицо молодого человека и в ту же минуту опустила их на книгу, за которой сидела у стола. Кровь быстро отлила от её щёк, и страдальческое выражение появилось в чертах осунувшегося, бледного, но всё-таки прекрасного лица. Углы губ вздрагивали, и тонкие пальцы нервно перевёртывали страницы книги.

— Садитесь! — промолвила тихо девушка дрогнувшим голосом, наклоняя голову, словно готовая слушать.

— Я давно хотел объясниться с вами, Зинаида

Николаевна, — обиженно начал Невежин, присаживаясь рядом с девушкой, — но вы избегали меня… вы не хотели меня видеть последнее время… Ведь это так?

— Так! — тихо проронила девушка, ещё ниже наклоняя голову.

— За что же вы вдруг изменились ко мне?

Зинаида Николаевна молчала.

— Я хочу знать… Я прошу… Я требую! — воскликнул Невежин.

— Зачем? И разве вам, Невежин, не всё равно — изменилась ли я, или нет? Будьте правдивы…

Она проговорила эти слова холодно и строго. Этот тон ещё более обидел молодого человека.

— Всё равно?! — переспросил он с горькой усмешкой. — Этого… этого я от вас не ожидал… «Всё равно»! Точно вы не знаете, не видите, не чувствуете, как я люблю вас… Да, люблю, как никогда никого не любил! — с порывистой восторженностью повторял Невежин, искренно веря в эту минуту, что любит эту красивую девушку, вздрагивавшую от его слов, и чувствуя, что от этого объяснения зависит его судьба.

«Она не уедет!» — мелькнуло в его голове, и он продолжал:

— И вы ещё спрашиваете: «не всё ли равно»!

Скажите же, чем я провинился?.. Что я сделал такого, что вы лишили меня даже того дружеского расположения, которое давали взамен моей привязанности… За что эта презрительная холодность?

«К чему он так говорит? К чему он требует ответа?» — невольно подумала девушка, с болью в сердце слушая эти, казалось, искренние слова. И чувство сострадания и жалости невольно закрадывалось в её душу.

— Что ж вы молчите? Или я не стою даже ответа?

— Мне тяжело говорить. Вы сами должны знать…

— Но я не знаю. Клянусь богом, не знаю! — воскликнул Невежин.

Зинаида Николаевна взглянула на него, и сердце её сжалось больней.

«Увы! Ведь он говорит правду. Он даже в эту минуту не понимает, отчего она изменилась к нему. И она любила такого человека!»

— Оставим лучше эти объяснения… Они бесполезны! — холодно промолвила девушка.

— Бесполезны?! — порывисто подхватил он, почувствовав острую боль оскорблённого самолюбия. — Ещё бы! Вам, видите ли, тяжело, а мне

не может быть тяжело? И вы даже не удостоиваете сказать, в чём обвиняете меня! Нечего сказать, это по-христиански. Очень хорошо поступлено… Превосходно!.. Так зачем же вы приезжали сюда? Зачем сближались со мной, зачем питали мою любовь? Зачем? Зачем? Что это было: кокетство или опыты реабилитации? Христианская любовь или… или развлечение холодной бесстрастной натуры? И когда вас полюбили, питая надежду, что и вы, наконец, ответите взаимностью, вы отталкиваете человека, а сами великодушно уезжаете… Что ж! Верно, опыты реабилитации не удались? Я, по вашему мнению, негодный человек? Я праздно провожу время. Я не несу обязанностей? Так что ли?..

Зинаида Николаевна слушала эти обвинения с тяжёлым чувством. Она порывалась было что-то возразить, но Невежин продолжал:

— Если это и так, если я в самом деле слабый, негодный, гадкий человек, — неужели хорошо бросить его в этой проклятой дыре одного, без поддержки? Пусть пропадает! Это что же? Тоже по морали святых людей?! Хороша мораль! Да вы хоть бы вспомнили, из-за кого я здесь, бессердечная девушка! — вдруг крикнул возбуждённо Невежин.

Это уж было слишком даже и для терпения Зинаиды Николаевны. Тяжкое обвинение, с лёгким сердцем брошенное в глаза, возмутило девушку до глубины души.

— Не лгите, Невежин! — сурово остановила она. — Вы отлично знаете, что я не виновата в этом! — И, взволнованная, с бледным лицом и строгими глазами, она проговорила: — Вы требуете ответа? Извольте, я дам его, хоть мне и тяжело, но вы сами хотите… Так слушайте.

Тон её был так строг и серьёзен, что Невежин невольно притих и опустил глаза.

— Вы помните там, в тюрьме, наше свидание?.. Вы помните, что говорили тогда?.. Я поверила вам… Я думала, что вы в самом деле сознали ужас и пустоту прежней жизни и искренно хотите начать новую… Я жалела вас, Невежин, жалела, что была отчасти невольной причиной вашего несчастия, и в то же время радовалась, что несчастие заставит вас серьёзно поработать над собой и сделает вас другим человеком… Вы так горячо, казалось, этого хотели, рассказывая свою исповедь… Сперва я жалела, а потом… потом полюбила вас, Невежин! — прошептала Зинаида Николаевна, не глядя на него. — Но я старалась скрывать это чувство, и вы знаете, почему. Я не

могла доконать больную, умирающую женщину, которая вас любит… Я думала, что и вы способны на серьёзное чувство и поймёте его в другом… Но я ошиблась… Вы, говоривший о своей любви, в то же время профанировали эту любовь… Я ведь знаю ваши отношения к Панютиной… Знаю, отчего они оборвались…

— Но это была не любовь!..

— А что же?.. — строго спросила Зинаида Николаевна.

— Так… увлечение…

Зинаида Николаевна грустно усмехнулась.

— Пожалуй, вы правы… У вас ведь всё увлечения, за которые вы не считаете себя ответственным… Но вы лгали и в других случаях… Эта история с деньгами…

— Какая история?..

— Вы и это забыли? Забыли, что не мать посылала вам деньги, а жена… И вы брали их!.. Вы продолжали жить на счёт женщины, которую не любите, вместо того, чтоб честно работать!.. И вы могли думать, что можно уважать такого человека?! А разве любовь возможна без уважения! Думали ли вы об этом?..

Невежин вспыхнул от стыда, унижения и досады.

— Ну да… я брал от жены… Я не просил её… Она сама посылала, и я не хотел её обидеть отказом, но если вы знали об этом, отчего ж вы не сказали мне… отчего не остановили?

— Останавливать от таких поступков?.. — горько усмехнулась Зинаида Николаевна. — Я и то старалась оправдать вас и… не могла… Я много передумала тогда и пришла наконец к грустному заключению, что вы…

Она остановилась, словно приискивая слово.

— Что же вы не договариваете? Что я погибший человек? — промолвил тихо Невежин.

— Что вы совсем не тот человек, каким создало вас моё воображение! — досказала Зинаида Николаевна.

Прошла тягостная минута молчания. Невежин сидел, опустив голову, и не уходил. Чувство унижения, уязвлённого самолюбия, досады и в то же время неудержимое желание возвратить любовь этой девушки, которая ещё щадила его после всего, что он позволил себе сказать ей, — все эти ощущения волновали его… «Она уедет, а он останется здесь один… Нет, это невозможно!»

И он порывисто стал молить о прощении. Он несправедливо осмелился обвинять её, тогда как сам виноват во всём… О, он только теперь понял,

чего лишился, потеряв её привязанность… Он сознаёт свою мерзость, но он исправится, только пусть она не уезжает, пусть вернёт расположение, пусть испытает его любовь…

— Неужели вы и любви моей не верите? — горячо и порывисто восклицал он.

Зинаида Николаевна отрицательно покачала головой и проронила:

— Разве это любовь?

— Так что ж это?

— Каприз балованного человека, который скоро пройдёт… Вы, Невежин, сами себя не знаете… Вы так же легко увлеклись мною при встрече, как увлеклись потом Панютиной и как увлечётесь многими другими… Теперь вам снова кажется, что вы любите…

— Кажется?

— Да, кажется. От безделья, от скуки. Любят не так.

— Так разве я и любить не могу?

— Не можете… Вы любите одного себя. И к чему вам моя привязанность? Вы скоро бы тяготились ею… Мы слишком не похожи друг на друга, между нами — пропасть. Для вас идеал жизни — бесконечно весёлый праздник, на котором вы бы блистали. Для меня жизнь — серенькие будни,

нелёгкая задача труда и обязанностей…

— И вы… вы теперь презираете меня?

— Мне жаль вас, Невежин. Вот всё, что осталось от прежнего! — проговорила Зинаида Николаевна с какой-то вдумчивой серьёзностью. — Не сердитесь на меня за то, что я высказала… Вы сами этого требовали! — мягко прибавила она.

С каждым её словом Невежин чувствовал себя более и более несчастным. Его охватило то неопределённо чувствительное настроение, которое у поверхностных натур заменяет глубокое чувство. Слёзы подступали к горлу. Он хотел что-то сказать, о чём-то умолять, но слов не находилось, и он вдруг припал к ногам девушки, рыдая и покрывая её руки страстными поцелуями и слезами.

Странные ощущения овладели на минуту девушкой. Она чувствовала презрение к Невежину, и ей было бесконечно жаль его. Эти поцелуи оскорбляли её и в то же время, сладко волнуя, заставляли трепетно биться сердце… Она медлила отнимать руки. Ещё мгновение, и она готова была, пожалуй, простить его, но мысль, что в ней говорит не человек, считающий чувство святыней, а чувственность женщины, вдруг пронеслась в её голове, и она с какой-то брезгли-

востью отдёрнула руки и, вся замирая от стыда за себя, проговорила резко и повелительно:

— Встаньте, Невежин… Не унижайтесь по крайней мере!

И Невежин вскочил, как ужаленный, и выбежал из комнаты. Придя к себе, он бросился на постель и плакал, как беспомощный капризный ребёнок, потерявший дорогую игрушку.

А Зинаида Николаевна ещё долго сидела, словно окаменевшая, на своём месте.

Через два дня Невежин переехал на другую квартиру, объяснив Степаниде Власьевне внезапный переезд необходимостью жить в центре города для занятия адвокатурой. Прошло ещё три дня, и Невежин получил письмо от Зинаиды Николаевны. Письмо было мягко и серьёзно. В нём Зинаида Николаевна ещё раз просила извинения за всё, что должна была по совести сказать ему, и оканчивала письмо следующими словами:

> «Поверьте, я искренно порадуюсь, если до меня дойдут слухи, что вы стали другим человеком. Вы молоды. Ещё есть время поработать над собой».

Невежин тотчас же побежал в маленький домик, надеясь ещё раз увидеть Зинаиду Никола-

евну, но не застал девушки. Степанида Власьевна объявила ему, что Зиночка утром уехала, и прибавила:

— О вас вспоминала перед отъездом. Просила сообщать в письмах, как вы живёте… То-то оно и есть! Напрасно не зашли с ней проститься, Евгений Алексеич!

XXX
Приезд «нового»

Благословенный Жиганск утопал в невылазной грязи. Наступила весна.

С её приходом разрешилось наконец и томительное ожидание жиганцев, остававшихся после отъезда Ржевского-Пряника долгое время без «хозяина губернии». На Святой неделе получена была телеграмма, что Ржевский-Пряник переводится в одну из великороссийских губерний, а в Жиганск назначается генерал-майор Добрецов. Он должен был приехать с первым пароходом.

Когда получена была телеграмма о назначении военного генерала, многие чиновники обрадовались, предполагая, что военный плох в бумажных делах. Но дальнейшие сведения омрачили эту радость. По этим известиям, генерал был образованный, справедливый и честный человек, умел терпеливо и усидчиво работать, несмотря на свой преклонный возраст, и отличался характером упорным и несколько подозрительным.

Эти слухи, ходившие в Жиганске, производили

сенсацию, радуя одних и смущая других… Люди, которых интересы, положение, часто даже самое существование зависит от личных качеств одного лица, не могли не волноваться и не ловить с жадностью слухов о таком лице.

Ранним погожим майским утром, свежим и ярким, на реке раздался резкий свист, и первый в эту навигацию пассажирский пароход, ведя арестантскую баржу на буксире, подходил к Жиганску.

Необыкновенно галантный, щеголяющий обходительностью и манерами полицеймейстер, добрый, безобидный старый человек, любивший более кутнуть и пошуметь для «порядка», чем блюсти порядок в такой клоаке, как Жиганск, ожидавший с рассвета запоздавший пароход, заслыша свисток, встрепенулся, как вспуганная птица, подтянулся и, подрагивая ногой, спешной бравой походкой подошёл к краю баржи и с большей против обыкновенного начальственной аффектацией в голосе приказал конному стражнику скакать к Аркадию Аркадиевичу и доложить, что пароход идёт.

— Да живей, живей, братец! — с полицеймейстерской молодцеватостью прибавил он.

Пожилой исправник, с дореформенной фи-

зиономией гоголевских персонажей, красный и от узкого мундира, и от волнения, покраснел ещё более и, нервно обдёргивая перчатки, сосредоточенно и упорно смотрел напряжённо вытаращенными глазами на дымок парохода, заранее испытывая приближение внутреннего трепета не столько от сознания какой-нибудь крупной вины, сколько от унаследованной долгими годами привычки трепетать при встрече с начальством.

То же ощущение, но лишь в более скрытой форме, проявлялось и в господине Спасском — этом «молодом из ранних» частном приставе, том самом, который ловил Келасури и признавался Невежину, что берёт «благородно». Он сбегал на берег, чтобы удостовериться, в порядке ли стоят извозчики у пристани, достаточно ли очищена от грязи улица, и, вернувшись, то и дело беспокойно поглядывал по сторонам, выискивая: нет ли чего-нибудь такого, что могло бы оскорбить взор начальства.

Минут через десять к пристани подкатил Аркадий Аркадиевич Перемётный в полном параде.

Предшествуемый полицеймейстером, Аркадий Аркадиевич торопливой деловой походкой проходил вперёд, стараясь сохранить на своём

угреватом, некрасивом лице вид полнейшего равнодушия и с обычной приветливостью здороваясь с встречавшимися знакомыми в публике.

— А вы кого встречаете, Кир Пахомыч? — любезно спросил он, приостанавливаясь около Толстобрюхова и пожимая ему руку.

— Дочка едет, Аркадий Аркадиевич.

— А наше вот дело начальство встречать. Дождались наконец!

— Какого бог даст? Нам бы лучше вас не надо! — шутливо заметил Кир Пахомыч.

— Лучше будет, лучше! — не без игривости, подмигнув глазом, отвечал Аркадий Аркадиевич, проходя далее.

Пароход между тем приставал.

— Однако пассажиров много! — тихо заметил вице-губернатор.

— Полнёшенек пароход! Вон, вероятно, и его превосходительство, господин начальник губернии! — ещё тише проговорил полицеймейстер, указывая глазами на военного генерала, стоявшего среди пассажиров.

— Должно быть, он…

Ещё минута-другая, и Аркадий Аркадиевич, сопровождаемый полицеймейстером и исправником, первые прошли на пароход, направляясь

к рубке, около которой, по указанию капитана, стоял губернатор.

— Честь имею представиться… Временно исправляющий должность начальника губернии!.. — проговорил Аркадий Аркадиевич, прикладывая руку к козырьку фуражки.

Маленького роста, седой, как лунь, старичок весьма скромного вида, бодрый и свежий, встретил вице-губернатора вежливо, но без особенной приветливости.

Протянув ему руку и сказав обычное: «Очень приятно познакомиться!» — старик генерал, несколько сконфуженный при виде собравшейся и глазеющей публики, поздоровался с полицеймейстером и, покосившись на исправника, выразил удивление, что последний приехал его встречать.

Затем, после минуты-другой неопределённого тягостного положения, в котором находился и генерал, очевидно, спешивший на квартиру, и встречавшие чиновники, почтительно стоявшие около него, старик направился с парохода, приказав своему лакею позаботиться о вещах.

— Смотри только в оба, братец… Как бы не украли чего!.. — шутливо заметил генерал.

Полицеймейстер вспыхнул от этих слов.

«Однако, хорошо у него мнение о жиганской полиции!» — подумал он.

Едва генерал ступил на берег, как по мановению невидимой руки Спасского была подана коляска, запряжённая парою славных серых рысаков, и подскочивший полицеймейстер предложил его превосходительству садиться.

— Чей это экипаж?

— Здешнего купца первой гильдии Толстобрюхова, ваше превосходительство!

Старик поморщился и проговорил:

— Уж лучше доеду в вашем экипаже, если позволите!

— Не угодно ли мой? — предложил Аркадий Аркадиевич.

Но дрожки полицеймейстера уже были поданы, и генерал, поблагодарив Аркадия Аркадиевича за предложение, пожал ему руку и попросил заехать к нему часа через два — «поговорить кое о чём».

— А пока я немного отдохну. Устал с дороги. Старость даёт себя знать! — прибавил старик, садясь в дрожки и приглашая полицеймейстера с собой.

Полицеймейстер вскочил, присевши бочком. Дрожки понеслись, подпрыгивая на ухабах.

Аркадий Аркадиевич ехал к генералу несколько

встревоженный. Этот скромный на вид старичок с проницательным взглядом, говорившим, казалось, что эти небольшие серые глаза многое видели на своём веку, не особенно понравился Аркадию Аркадиевичу. Хоть он и не «раскусил» ещё приехавшего генерала, но с первой же встречи почувствовал, что с ним надо держать ухо востро.

И впечатление произвёл он совсем не такое, какое производили прежние начальники.

В нём не было ни юпитерского величия старинных «хозяев губерний», ни генеральского нахрапа, ни приветливой развязности и откровенного амикошонства многих администраторов новейшей формации. Что-то простое, серьёзное и вместе с тем «себе на уме» сказывалось во взгляде, в манерах, в сдержанной речи этого скромного старичка.

Генерал принял Аркадия Аркадиевича Перемётного в кабинете. Как только они уселись, старик попросил гостя дать ему общее понятие о положении края, о чиновниках, об обществе, о ссыльных.

— Я, конечно, читал в Петербурге отчёты о состоянии губернии, — прибавил он, — но мне бы хотелось, прежде чем я лично ознакомлюсь с

людьми и делами, услышать живую речь знающего человека.

Аркадий Аркадиевич не напрасно слыл в Жиганске за «очень ловкого сибиряка», умевшего ладить с начальством. Смышлёный и лукавый, знавший край и людей и отлично понимавший теорию приспособления, хотя и незнакомый с сочинениями Дарвина, Аркадий Аркадиевич, несмотря на то, что не внушал особенного доверия своим непосредственным начальникам, тем не менее умел ловко и незаметно водить их за нос, оставаясь при этом всегда в тени, в качестве исполнителя чужих велений, и скромно предоставляя право ответственности руководимым людям.

В ответ на просьбу генерала Аркадий Аркадиевич стал знакомить его превосходительство с положением дел, не пускаясь, впрочем, в большие подробности и делая оценки людей с дипломатической осторожностью. Несмотря на видимую откровенность, общий тон его административной исповеди был, однако, трудно уловим.

«Новый» слушал внимательно, чуть-чуть наклонив свою седую коротко остриженную голову. Изредка только он вставлял замечания или делал вопросы, показывавшие, что генерал приехал в

Жиганск уже ознакомленный и, по-видимому, обстоятельно, с положением дел и особенно с людьми.

И всякий раз после подобного замечания Аркадий Аркадиевич становился ещё осторожнее, выжидая, когда старик покажет все свои козыри.

— Говорят, будто здесь невозможное взяточничество? — спросил генерал, когда Перемётный смолк. Аркадий Аркадьевич чуть-чуть пожал плечами.

— Эти толки — ходячее мнение, ваше превосходительство!..

— Но справедливое? — улыбнулся старик.

— Сами извольте проверить. Я полагаю, однако, что эта слава о сибирском взяточничестве значительно преувеличена, хотя разумеется, и не стану, безусловно, отвергать злоупотреблений… Они, несомненно, существуют, но вам, конечно, известно, какими нищенскими окладами вознаграждаются сибирские чиновники.

— Да… да… Штаты действительно мизерны, и я очень хорошо понимаю, что никакая власть не в силах при таких условиях уничтожить взяточничество… Но уменьшить его… не допускать хоть грабительства, стараться, чтобы по возможности исполнялся закон, — это будет моей главной

задачей… И я буду непреклонно преследовать её… Попался — прошу не пенять! — отдам под суд! Потакать грабежу и произволу не стану. Не вправе-с как представитель власти! — строго и серьёзно прибавил старик.

«Стара песня!» — подумал про себя Аркадий Аркадиевич и заметил с видом соболезнования:

— Людей здесь мало, ваше превосходительство. Поневоле приходится не всегда быть разборчивым…

— Конечно, конечно, но всё-таки можно, я думаю, тщательнее выбирать их… Я слышал, например, что недавно назначены исправниками двое господ, отставленные моим предместником за наглое взяточничество… Разве нельзя было сделать лучшего выбора? — спросил генерал, останавливая на собеседнике взгляд и тотчас же отводя его.

Аркадий Аркадиевич, назначивший во время своего калифства на час этих двух исправников, несколько смутился от неожиданного вопроса.

«Откуда он успел всё это узнать?!» — промелькнуло в его голове.

Он, однако, поспешил ответить, что, действительно, лица, о которых говорит его превосходительство, были уволены при Ржевском-Прянике,

но лишь на основании доноса, ничем не проверенного.

— Это не резон!.. — вставил генерал. — Доносам не следует доверять.

— Я, разумеется, не могу вполне ручаться за этих господ, но по совести думаю, ваше превосходительство, что они не хуже других.

Генерал помолчал и затем снова спросил:

— А этого господина горного исправника, который грабит прииски и засекает рабочих и о котором производится несколько дел, тоже, видно, некем заменить?

— Действительно, этот господин пользуется нелестной репутацией, и совершенно верно, что дела о нём, по разным жалобам, находятся у прокурора, но если прокурорский надзор не нашёл уважительных поводов к преследованию, то согласитесь, ваше превосходительство, что увольнять человека, которого вполне одобряли двое предместников вашего превосходительства, я не имел никакого нравственного права… Снова повторю: репутация этого господина действительно скверная, но его терпели, и мог ли я, калиф на час, принять какие-либо меры, если бы даже и считал его виноватым…

— О, разумеется, разумеется… Я просто осве-

домился… Если нет веских улик, то, конечно, благоразумие предписывает… ждать их! — прибавил с едва заметной улыбкой старик. — Ну, а как тут у вас ведут себя ссыльные? — круто переменил разговор генерал.

— Какие, ваше превосходительство? Политические или уголовные?

— Про первых я имею сведения… Нет, я хотел спросить вас насчёт разных уголовных тузов, про всех этих Сикорских, Жирковых, Кауровых?..

— Кажется, ведут себя смирно.

— Но мне говорили, что они здесь играют роль!.. Говорят, будто Сикорский служит в совете, Жирков в контрольной палате, а другие в разных правительственных учреждениях. Это верно?

— К сожалению, совершенно верно, ваше превосходительство.

— Это мне кажется вовсе неприличным! — не без горячности проговорил старик. — Давать места, и места ответственные, в правительственных учреждениях людям безнравственным и опозоренным потому только, что эти господа сами громко называют себя консерваторами и благонадёжными людьми, — это значит компрометировать самые правительственные учреждения… Согласитесь, что если каждый вор

и мошенник назовёт себя консерватором, из этого ещё не следует, чтобы подобных консерваторов считать порядочными людьми… С такими консерваторами только дискредитируется честный консерватизм… Пусть морочат людей в своей газете, но пусть знают своё место… Сикорскому предложите немедленно оставить совет… Человек, обокравший банк, не должен служить у нас. Люди, сосланные за подлоги, не могут контролировать других! — строго прибавил старик.

— Я уже говорил Сикорскому и ждал только приезда вашего превосходительства… Он сегодня же будет уволен… Что же касается других, они вне нашей компетенции…

И Аркадий Аркадиевич излился в благородном негодовании по поводу приёма на службу подобных господ. В самом деле, бедных тружеников, местных чиновников, обходят, а разным уголовным проходимцам дают места! Это, как совершенно верно выразился его превосходительство, совершенно дискредитирует власть… Все чиновники были обижены назначением Сикорского… Он, с своей стороны, не раз докладывал об этом предместнику его превосходительства, но представления не были уважаемы…

Старик молча слушал ламентации Аркадия

Аркадиевича и, казалось, не очень доверял их искренности. Но он ни слова не сказал и только хмурил брови да потирал свои маленькие сухие руки.

После продолжительной беседы, во время которой генерал ощупал со всех сторон Аркадия Аркадиевича, они расстались, по-видимому, недовольные друг другом.

В тот же вечер старик, имевший обыкновение заносить в дневник свои впечатления, между прочим записал следующее:

> «Приехал в Жиганск. Впечатление неблагоприятное. Грязь и беспорядок. Чувствую, что предстоит много труда и неприятностей на новом посту. Постараюсь исполнять обязанности, насколько хватит сил. Всё, о чём слышал в Петербурге, кажется, оправдается. Перемётному не доверяю. Хоть он и много говорил, а сказал мало. Видно, самому придётся мне копаться в этой грязи и расчищать её… Полицеймейстер, кажется, добрый человек, но не на своём месте, и недостаточно энергичен для Жиганска. Сикорский, известный банкокрад, служит и игра-

ет роль. И другие уголовные молодцы — тоже. Приказал немедленно уволить Сикорского. И других подобных надо убрать. Срам!».

Через две недели старик уже писал такие строки:

«Чиновники распущены. На службу являются поздно. Подтянул. Работаю с утра до вечера, и чем дальше в лес — тем больше дров. Некому доверять. Взяточничество поголовное, но без фактов не гоню людей. Можно выгнать и невинного. Чем более знакомлюсь с здешними делами, тем более убеждаюсь, какая здесь клоака. Мои помощники ненадёжны во всех отношениях. Перемётный лебезит передо мной, но не внушает доверия. Пятиизбянский не лучше, но держит себя приличнее. Старый вор, а считает себя настоящим консерватором. Хорош консерватор!.. Полицеймейстера надо сменить, но кого назначить? Рекомендуют Кувалду. Говорят, что он расторопен и на глазах не станет грабить, как грабит на месте горного исправника. Этот

Кувалда с виду настоящий разбойник, а лучшего, говорят, нет! Раскаиваюсь, что сюда приехал. При всём желании сделать добро чувствую, что сделать зла могу сколько угодно, а добра нисколько. Должен сам перечитывать дела — иначе обманут. Один из моих начальников отделения недодаёт жалованье мелким чиновникам. Я об этом слышал, но никто из обиженных не жалуется, и я… пока молчу. Жалоб на исправников и заседателей не оберёшься, и всё одно и то же: произвол, вымогательство, потворство кулакам. Еду на днях в губернию. Беру с собой Ливанского. Кажется, порядочный человек, вероятно, потому и был раньше в загоне! Одному в этом чиновничьем сибирском лесу — невозможно».

«Перечитывал сибирские письма Сперанского. Как недалеко ушла местная администрация с тех пор. Изо всего персонала наших чиновников двое с университетским образованием, а остальные?! Есть исправники почти безграмотные. И с таким-то народом приходится работать! Помоги мне, боже, исполнить долг свой

по совести!»

XXXI
«Счастливый молодой человек»

1

Из числа многочисленных пассажиров, отправлявшихся в середине июня из Жиганска на пароходе «Ермак», едва ли не самым счастливым и весёлым был наш старый знакомый Невежин. Ещё бы! Он покидал «не столь отдалённые места» вполне помилованный и восстановленный в своих правах, и притом — наследником огромного состояния, оставленного ему женой, скончавшейся ранней весной на чужбине, в полном одиночестве.

Эти известия пришли в Жиганск почти одновременно, в конце мая. Смерть жены, оставившей ему всё состояние, заставила Невежина умилиться и проронить несколько слезинок, а затем… затем невообразимая радость охватила молодого человека… Он теперь свободен и богат! Богат и свободен! Нечего и говорить, что у него явилось желание немедленно же оставить этот мерзейший Жиганск, чтобы поскорей вознаградить себя за тяжёлое время ссылки. Всего год, правда,

пробыл Невежин в ссылке, но и этот год теперь, ввиду будущей блестящей перспективы, казался ему длинным, невыносимо тоскливым годом. Но это всё прошло. Впереди что-то бесконечно весёлое, праздничное! Разумеется, он сперва поедет в Петербург, чтобы получить наследство и поблагодарить мать за хлопоты — это ведь она добилась скорого помилования, а затем отправится отдохнуть за границу: сперва в Баден-Баден, потом купаться в Трувиль, осень проживёт в Париже, зиму в Италии…

А потом?

Об этом Невежин пока не особенно задумывался, благо ближайшее будущее было очень хорошо… И «порядочная» жизнь порядочного человека, с двадцатью тысячами годового дохода, рисовалась в его воображении шаблонными картинами, которые запечатлелись в его мозгу с детства и манили к себе всю жизнь. Изящная обстановка, хорошие лошади, тонкие завтраки с приятелями, красивые женщины, блеск, роскошь, удовольствия света…

Невежин давным-давно, разумеется, забыл о своей любви к Зинаиде Николаевне, и если бы не Степанида Власьевна, заходившая изредка к Невежину, чтобы сказать о полученном от Зи-

ночки письме, едва ли Невежин и вспомнил бы о девушке, которая, думал он, поступила с ним недобросовестно и неблагодарно. Бог с ней, с этой проповедницей акрид и мёда! После её отъезда Невежин скоро успокоился, тем более что новые знакомства давали ему возможность убивать время. Он принимал участие в концертах любителей, пел, играл, ухаживал за дамами, устраивая пикники и всё откладывая занятия адвокатурой, так как жена опять прислала денег (хотя он и не просил), и, следовательно, ему не нужно было думать о завтрашнем дне. У него, впрочем, нашлось и занятие. Он писал в новой газете театральные и музыкальные рецензии. Это занятие доставляло Невежину удовольствие. В глазах любительниц-дам этот дьявольски красивый, изящный молодой человек был интереснее от того, что писал рецензии, милые, лёгкие, нежные и остроумные, как и он сам. Любители-певцы тоже не имели причин быть недовольными. Невежин никого не порицал — все у него пели мило и, во всяком случае (если уж певец совсем безголосый), «с большим выражением», за что и его товарищи по музыкальным упражнениям находили, в свою очередь, что у Невежина необыкновенно приятный тенор gracioso и «много, много чувства».

Словом, наш молодой человек всем нравился и везде был принят.

Он сошёлся с Жирковым и через него ближе познакомился с Сикорским. С тех пор, как уехал Ржевский-Пряник и, следовательно, Невежин не стоял у него на дороге, Сикорский относился с необыкновенной любезностью к молодому человеку и умел-таки очаровать его. Бывая в обществе «королей в изгнании», Невежин в конце концов поверил, что Сикорский «невинный страдалец», преследуемый злобой, как верил, что Жирков «жертва недоразумения», пострадавшая из-за умирающей матери. Ему дела не было до их прошлого; он чувствовал, что эти люди — свои люди по внешней порядочности, вкусам и привычкам, и стоял за них горой, когда их, случалось, начинали бранить в обществе. Но у Каурова он не бывал. «Весёлый интендант», серьёзно влюбившийся в актрису и уже истративший на неё гораздо более, чем обещал, ревновал Панютину к этому «красивому прощелыге» и поставил решительное условие Панютиной — не встречаться с ним.

Так проводил свою жизнь в ссылке Невежин и, по правде говоря, не особенно скучал.

Но когда, совершенно неожиданно, Невежин сделался богатым наследником и свободным

человеком, вся эта жиганская жизнь с её интересами показалась ему такой ничтожной в сравнении с той жизнью, которая его ожидала.

Скорей, скорей из Жиганска!

Он уехал бы с первым пароходом, но его упросила Панютина ехать вместе на третьем. Она наконец оставляла своего «толстяка», и то загостившись у него дольше, чем хотела, и собиралась теперь на Кавказ отдохнуть до сезона, весёлая и довольная, имея в шкатулке переводный билет на двадцать тысяч и тысяч на десять брильянтов. Интендант умолял её остаться ещё, предлагал большие деньги, но она давно скучала и наотрез отказалась от предложения, пренебрегая возможностью совсем обобрать влюблённого интенданта.

«С меня довольно!» — решила она и, встретив как-то на улице Невежина, предложила ему вместе скоротать скуку дороги до Нижнего и «помянуть старое».

— Идёт? — смеясь, прибавила она, обжигая Невежина горячим взглядом.

Невежин, разумеется, обрадовался.

— Так едем на третьем пароходе и берите каюты рядом…

— Отчего не одну? — пошутил Невежин.

— А что будет с влюблённым интендантом? Я не хочу обижать его... И до отхода парохода мы по-прежнему с вами в ссоре... Слышите ли, красивый мужчина! — прибавила Панютина, протягивая ему руку и пощипывая своими пальцами его ладонь. — Будьте же терпеливы, милый мальчик.

2

С вечера на «Ермак» стала собираться публика — пассажиры, провожавшие и просто гулявшие. Часам к десяти на пароходе уже была давка. Все места, где можно было бы присесть, были заняты. На палубе трудно было пройти. Разгуливавшие на площадке толкали друг друга.

Вечер стоял прелестный. Полный месяц кротко и бессмысленно глядел сверху, играя в притихшей реке чудным серебристым светом. Невдалеке скользила лодка, и оттуда неслась хоровая песня.

В рубке первого класса за столом сидела компания провожавших Невежина. Между провожавшими было несколько дам. Весёлый и оживлённый Невежин то и дело приказывал подавать замороженные бутылки шампанского, любезно угощая присутствующих. Разговоры

не умолкали, прерываемые смехом. После шампанского все были несколько возбуждены и все чувствовали потребность выразить сочувствие милому Евгению Алексеичу. Много было сказано любезностей и произнесено тостов. Дамы крепко жали на прощанье руку молодого человека, а мужчины, раскрасневшиеся от вина и жары, лобызались с Невежиным с нежной стремительностью, повторяя вслед за тем обычные пожелания тем слегка дрожащим голосом, каким обыкновенно стараются говорить в моменты расставанья, чтобы не было сомнения в искренности чувств.

За полночь в рубке остались более близкие знакомые Невежина да несколько охотников до чужого шампанского, которые являются на каждую выпивку, как бабочки на огонь, часто начиная и оканчивая мимолётное знакомство за даровым угощением…

Григорий Григорьич Пеклеванный к концу проводов немного захмелел. Он проговорил уже много прочувствованных слов в честь отъезжающего и теперь порывался на палубу, чтобы кому-то «раскровянить морду». Сикорский и Жирков уговаривали его вместе с господином Кувалдой, недавно назначенным полицеймей-

стером, человеком таких непомерных размеров и с такими феноменальными дореформенными кулаками, словно бы господь бог специально создал подобную стенобитную машину исключительно для Сибири, в видах устрашения извозчиков, водовозов и вообще скромных граждан, физиономии которых чаще всего могут подвергаться опустошениям, для целей порядка и благочиния. Господин Кувалда только что присел к компании. Грузно опустившись на диван и отодвинув немного стол, чтобы дать место своему мерно колыхавшемуся грандиозному брюху, в бездонные пропасти которого уже было вылито за вечер громадное количество рюмок водки, он с восторгом душил холодное шампанское, постоянно щуря глаза и подсапывая носом, словно паровая машина.

— Гриша… Григорий Григорьич!.. Нехорошо, ей-богу, нехорошо! — успокаивал Кувалда, стараясь придать своему зычному, трубному голосу нежное выражение. — Ты ведь образованный человек, редактор… Здесь публика… Не ставь меня в щекотливое положение…

— Ну хорошо… Не буду… Сяду… Из уважения к тебе, Кувалда Кувалдыч… Слышишь?.. Только из уважения к новому полицеймейстеру… Ты

ведь хороший человек… Отличный… Я, братец, не верю, что про тебя говорят! Будто ты грабил на приисках… Ни одному слову… Клянусь!.. Выпьем, голубчик… Ты русский человек!

Русские люди чокнулись, и Пеклеванный продолжал:

— А с ним я ещё встречусь и дам в морду… Обязательно!

— Отчего Панютиной нет?.. — воскликнул Жирков. — Уж не уговорил ли её Кауров остаться?

— Верно, интендант прощается и не может проститься! — заметил кто-то.

— И Аркадия Аркадиевича ещё нет! — проговорил Кувалда, взглядывая на часы.

— Надолго он едет?

— На четыре месяца…

— Лечиться?

— Лечиться, — усмехнулся Кувалда. — От генерала лечиться и поискать другого места! Вот зачем едет Аркадий Аркадиевич.

В эту минуту вошла в рубку Панютина, весёлая, улыбающаяся, слегка возбуждённая… Сзади неё шёл Кауров, нагруженный шкатулочками и саквояжами, грустно опустив голову.

— Наконец-то! А уж мы думали, Ольга Викентьевна, что вы остаётесь, чтобы не огорчить всех

нас! — воскликнул Жирков.

И все шумно и весело приветствовали актрису. Один только Невежин сдержанно поклонился ей.

— Что, брат интендант… грустно?.. Давай-ка лучше выпьем! — проговорил Пеклеванный. — За здоровье Ольги Викентьевны… несравненной артистки… Ур-ра!

Все поддержали этот тост. Жирков подал бокал Панютиной. Она со всеми чокнулась.

— А вот и Аркадий Аркадиевич! — заметил кто-то.

Аркадий Аркадиевич любезно пожимал всем руки. Спустившись вниз, он через несколько минут вышел на палубу, где его окружили провожающие.

Наконец раздался первый свисток. Пора оставлять пароход! Ещё несколько тостов, последние поцелуи, и компания, провожавшая Невежина, перешла на баржу.

Третий свисток, и «Ермак» тронулся, плавно рассекая гладь реки. Невежин стоял на площадке и несколько времени смотрел на удаляющийся город. Он был весел и возбуждён и от выпитого шампанского, и от радости.

Будущее казалось ему таким же ярким и свет-

лым, как и золотистые снопы зари, алеющей на горизонте.

— Прощайте, не столь отдалённые места! — весело повторял он, вдыхая полной грудью острый и свежий воздух занимающегося утра.

Эпилог

Прошло четыре года. В один из летних дней на франкфуртском вокзале в числе многочисленных пассажиров за столом сидела наша старая знакомая Зинаида Николаевна, с месяц тому назад окончившая курс в Женевском университете, свежая, пополневшая, весёлая и счастливая. Она была не одна. Рядом с ней сидел господин лет за тридцать, с мужественным, выразительным лицом. Это был муж Зинаиды Николаевны, тоже врач, сибирский уроженец, пробывший после окончания курса два года в Париже, при больнице Шарко. Всего месяц тому назад, как они повенчались, после того как их любовь выдержала годовое испытание и теперь, счастливые, любящие, уважающие друг друга, сделав прогулку по Швейцарии, ехали в Петербург, чтобы после экзамена, который должна была держать в России Зинаида Николаевна, как иностранный врач, возвратиться на далёкую родину и послужить ей своими знаниями и силами.

Они весело ели поданные им котлеты, запивая их пивом и обмениваясь радостными замечаниями, что едут наконец домой, как грохот

подошедшего поезда заставил Зинаиду Николаевну встрепенуться.

— Это наш поезд? — беспокойно спросила она.

— Однако нет! — весело улыбнулся муж, подчёркивая это сибирское «однако». — Ешь себе спокойно, Зина… Нам ехать ещё через полчаса… Это какой поезд? — спросил он у кёльнера.

— Шнельцуг из Берлина в Базель… Через четверть часа уходит.

Пассажиры с прибывшего поезда хлынули в залу, бросаясь к столам.

Неподалёку от наших сибиряков сел изящно одетый молодой господин в щегольском кашпуссьере[55] и какой-то оригинальной каскетке с маленькой вуалеткой. С ним уселась красивая, пестро одетая француженка, своим видом, костюмом и манерами похожая на кокотку. Она так громко смеялась, ругая немецкую кухню и презрительно щурясь на поданный шнель-клопс, что Зинаида Николаевна невольно взглянула в ту сторону, взглянула, и… вдруг отвела глаза, слегка побледневшая, смущённая и изумлённая.

— Что это ты, Зина?.. — беспокойно спросил муж.

---

[55] Примечания: 55
Пыльник (от *франц. le cache poussiere*).

— Ничего… я увидала одного знакомого… Помнишь… я тебе говорила о Невежине, — слегка краснея, промолвила тихо Зинаида Николаевна.

Муж взглянул на молодого человека. Он весело смеялся, что-то нашёптывая на ухо француженке.

«Шут гороховый!» — подумал сибиряк, оглядывая его костюм.

«Всё тот же!» — подумала Зинаида Николаевна и, отвернувшись, снова заговорила с мужем.

Раздался звонок… Пассажиры шнельцуга спешили выходить из-за стола. Поднялся и Невежин и, обводя прищуренным взглядом публику, увидал Зинаиду Николаевну и на секунду приостановился…

Что-то давно забытое, хорошее, светлое вдруг хлынуло на него при виде Зинаиды Николаевны, свежей, цветущей, похорошевшей… Он хотел было подойти к ней, но в эту минуту француженка нетерпеливо вскрикнула:

— Что же… Ты хочешь опоздать?

И Невежин, подав спутнице руку, спешил к выходу, чтобы не опоздать на поезд, который увозил его в Баден-Баден.

— Eh bien? О чём вы задумались? — спрашивала Невежина через минуту его спутница, случайная

подруга, взятая им из хористок маленького театра, ударив Невежина веером по плечу.

О чём он задумался?

Этого Невежин не мог бы сказать. Тысяча мыслей пробегала в его голове. И позднее сожаление о потерянной любви Зинаиды Николаевны, и сознание позора своей беспутной жизни, и досада о глупо растрачиваемом состоянии, и страх перед будущим… Всё это, под влиянием неожиданной встречи, заставило Невежина задуматься на минуту и взглянуть на свою спутницу недовольным взглядом.

Но «минута» прошла, и Невежин снова весело болтал с пикантной актрисой.

Константин Станюкович
Г. Н. Потанин
(биографический очерк)

Г. Н. Потанин

Несмотря на большую популярность имени знаменитого нашего путешественника Г. Н. Потанина, давно признанные учёные заслуги которого ещё недавно были почтены пожизненной пенсией, исходатайствованной Русским географическим обществом, — до сих пор биографические данные об этом замечательном деятеле были мало известны не только большинству публики, но даже и людям, пользующимся честью личного знакомства с Григорием Николаевичем. Причины такого знакомства с биографией одного из выдающихся деятелей заключаются в скромности этого человека, доходящей до щепетильности. Охотно готовый поделиться со всяким своими сведениями, охотно готовый принять самое горячее участие во всяком деле, имеющем общественный или научный характер, готовый терпеливо выслушивать автобиографические рассказы других, Григорий Николаевич о себе никогда не говорит, и если замечает попытки собеседника завести разговор в этом направлении, то обыкновенно отклоняет такие попытки, замечая, что это неинтересно.

Тем с большим удовольствием встретили мы в журнале «Нива», вместе с портретом Г. Н. Потанина, и хорошо составленную краткую его

биографию, написанную почтенным вице-председателем Русского географического общества. Пользуясь этими сведениями, мы познакомим читателя с деятельностью знаменитого путешественника, чтобы затем дополнить их описанием личных впечатлений, вынесенных из знакомства с Григорием Николаевичем.

Я заранее знаю, что Потанин будет сердиться и на газету, и на пишущего эти строки за то, что им так много занимаются, но в данном случае я готов подвергнуться даже гневу Потанина, ибо считаю, что сибирская печать не исполнила бы своего общественного долга, не ознакомив читателя с одним из лучших сынов Сибири, в своё время пострадавшим за свою горячую любовь к родине, — с человеком, деятельность которого, помимо своего научного значения, имеет и другое, не менее важное, — глубоко воспитательное общественное значение как необыкновенно чистой и нравственной личности. Биографические сведения о таких личностях действуют благотворно, освежающе и укрепляюще, особенно в такое время, как наше, когда эгоизм и себялюбие, продажность и предательство, бессердечие и ненависть ко всему, что носит на себе печать «духа», словом, все низменные, ничем не сдер-

живаемые, инстинкты празднуют, ликуя, так сказать, «имянины сердца». Такие личности, которые и в преклонном возрасте, среди окружающего их одичания и бесстыдства, сохранили безукоризненную нравственную чистоту и веру в торжество добра, являются как бы путеводным светочем среди мрака жизни. Они радуют людей с божьей искрой в сердце, бодрят слабых и колеблющихся, будят погружённых в суету мелких личных интересов и поддерживают чистые стремления молодых, ещё не испорченных сердцем, служа им примером для воспитания в себе «человека», а не «обывателя»[56].

Знакомя публику с многосторонними знаниями, энергией и трудолюбием нашего путешественника, знакомя с тем разнообразным научным богатством, которое находил Потанин в разных посещённых им малоизвестных странах, сообщая, что, так сказать, взял из своих путешествий Григорий Николаевич, биограф не говорит, что Потанин дал как представитель культуры и цивилизации, входя в соприкосновение с менее

---

[56] Примечания: 56

Далее идут выдержки из биографического очерка, написанного П. П. Семёновым-Тян-Шанским и опубликованного в жур. «Нива», 1888, № 5. Подробности биографии см. в книге Г. Н. Потанина «Воспоминания» (ЛНС, т. VI, Новосибирск, Западно-Сибирское кн. изд-во, 1983).

культурными племенами.

И на этот вопрос приходится дать ответ, который только порадует всякого гуманного человека, знающего из историй разных путешествий не только старых, но и новейших, какими, в сущности, «варварами» нередко являются многие знаменитые и блестящие путешественники, оставляющие среди туземцев кровавые воспоминания, хвалящиеся, как, например, Пржевальский, что берданки его экспедиции производили чудеса, и перечисляющие с хладнокровием чистокровного флибустьера количество убитых туземцев[57].

Нечего и говорить, что Потанин принадлежит совсем к другому типу путешественников, к тому типу высоко держащих знамя истинной циви-

---

[57] Примечания: 57

Следует признать, что К. М. Станюкович здесь излишне резок, он не учитывает, что условия путешествия в пустынях и горных областях Центральной Азии в то время зачастую проходили среди враждебного окружения; сам Потанин никогда и нигде об этом не говорил, ни в письмах, ни в статьях; в статье «Памяти Н. М. Пржевальского» (Восточное обозрение, 8, № 44) он пишет о нём с глубочайшим уважением; Пржевальский в статье «Как путешествовать по Центральной Азии» писал: «…В далёких и диких странах Азии путешественник, помимо научных исследований, нравственно обязан высоко держать престиж своей личности, уже ради того впечатления, из которого слагается в умах туземцев общее понятие о характере и значении целой национальности» (Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. СПб., 1888, с. 219).

лизации географистов, лучшим представителем которого может служить Ливингстон, умевший находить себе друзей среди таких людей, с которыми путешественники-флибустьеры вступают в сношения лишь при помощи револьверов.

Гнушаясь каким бы то ни было насилием над туземцами, Потанин всюду, где был, являлся мирным гостем; видя везде не «врагов», а людей, он повсюду оставлял по себе хорошую память и, случалось, проходил благополучно один или вдвоём по таким местам, где Пржевальский шёл со свитой вооружённых солдат. Таким образом, экспедиции Потанина действительно были мирными, учёными экспедициями, а не флибустьерскими походами во славу русского оружия, — и имели хорошее, действительно цивилизующее влияние. По словам одного из спутников Потанина, Григорий Николаевич умел необыкновенно располагать к себе людей, и во время своих путешествий приобрёл себе немало друзей среди туземцев.

Мне приходилось встречать разных «знаменитостей» из мира литературного, учёного и художественного. Приходилось видеть их и с глазу на глаз и на разных собраниях. Были между ними всякие: и скромные, и не скромные, но в

самых скромных людях можно было подметить ту, едва заметную, правда, но всё же заметную чёрточку, которая свидетельствует, что эти люди, при всей своей скромности (и иногда именно благодаря подчёркиванию этой скромности), всё-таки чувствуют и сознают, что они «знамениты», и это сознание придаёт известный импонирующий оттенок манере говорить, слушать, держать себя, одним словом, невольно даёт чувствовать, что перед нами человек с «печатью известности».

Ничего подобного нет в Григории Николаевиче.

Я познакомился с ним в Томске, у А. В. Адрианова, у которого Потанин остановился, возвращаясь из последней своей китайской экспедиции[58] в Петербург. Я не ожидал встретить Потанина, когда однажды утром зашёл к А. В. Адрианову и увидел у него в кабинете маленького, сухощавого, но крепкого и сильного на вид человека лет под пятьдесят, с обветрившимся, загорелым, изрезанным морщинами лицом, опушённым небольшой

---

[58] Примечания: 58

В 1888 г. последней экспедицией Потанина была экспедиция в Китай 1884–1886 гг.;

Адрианов Александр Васильевич (1853–1920), учёный, этнограф и археолог, в те годы человек, близкий Потанину.

тёмно-русой бородкой, с небольшими серыми глазами, приветливо и скромно глядевшими из-под очков.

Это лицо напоминало собой простые, умные лица из «народа» и притом из типа так называемых «недоимщиков». Чем-то необыкновенно хорошим, скромным, даже детски застенчивым веяло от этого небольшого сухощавого пожилого человека с крепко посаженной головой, с закинутыми назад тёмно-русыми с проседью волосами, оставлявшими открытым морщинистый лоб, заканчивающийся над глазами густыми, слегка нависшими бровями. Если б не китайский халат, накинутый поверх чёрного костюма, я, разумеется, никогда бы не догадался, что вижу перед собой знаменитого путешественника, о котором ещё раньше столько слыхал хорошего.

Но этот халат, несколько чемоданов в комнате, всё это в связи с ожиданием приезда Григория Николаевича заставило меня догадаться, кто это, и когда нас познакомили, назвавши Потанина, я уже успел внимательно рассмотреть его.

Он только что утром приехал с супругой, ехавши в открытых санях при сильных морозах, но на его лице почти не было и следов утомления. Он был бодр и свеж. Сразу было видно, что

это выносливая натура, сумевшая перенести и тяготу свеаборгского заключения и умеющая переносить опасности и лишения отдалённых путешествий.

Те же простота и скромность были и в его разговоре. В ответ на мои вопросы об его путешествии он отвечал, как отвечают люди, желающие познакомить собеседника с предметом, причём, видимо, рассказчика интересовал предмет и ничего более… Во всё время этого первого нашего свидания я ни разу не слыхал, чтобы он говорил о себе, т. е. о своём «я». Этого «я» не было даже и тогда, когда ему приходилось отвечать на вопросы, касающиеся его лично. И тогда он говорил о себе точно о третьем лице. Его беседы были полны добродушного своеобразного юмора, придававшего им ещё более прелести. При этом в разговоре он был так же точен и осторожен, как точен и осторожен в своих описаниях; в этом отношении он доходил до комичного педантизма, и, рассказывая какой-нибудь эпизод из своего путешествия, цитируя иногда, по поводу объяснения какого-нибудь факта, массу авторов, он всё-таки оговаривался, если объяснение его не удовлетворило, что верного заключения дать не может.

С такой же осторожностью он говорил и о людях, хотя, впрочем, эта деликатная осторожность не мешала ему иметь определённый взгляд на тех людей, которых он считал вредными с общественной точки зрения. Правда, в его суждениях изредка прорывался человек науки, готовый иногда по доброте снисходительно отнестись к людям, умеющим сочетать добрые дела на пользу любимой им родины с не всегда чистой общественной деятельностью, но эта снисходительность проистекала опять-таки из чистых мотивов.

Необыкновенно скромный и не сознающий, казалось, сам своего значения как деятеля науки, он с необыкновенной теплотой и участием относится к другим деятелям на том же поприще, и ни разу не пришлось мне уловить нотки, свидетельствовавшей о зависти или недоброжелательстве. Более всего возмущало Григория Николаевича — это, по его оригинальному, «потанинскому» выражению, — «сампьючайство», т. е. самохвальство, в чём бы и в ком бы оно ни проявлялось.

Таким я видел Григория Николаевича в первое моё свидание с ним. Таким я его видел и на всех вечерах «с Потаниным», которые устраивались в честь его во время пребывания Потанина в Том-

ске (и которые, к слову сказать, очень конфузили его). Таким же я его видел и в тесном кружке двух-трёх знакомых, и таким же останется навсегда в моей памяти этот необыкновенно скромный, знаменитый путешественник и глубоко образованный человек, враг всякого «сампьючайства», правдивый, честный и добрый Григорий Николаевич.

Такие люди составляют гордость своей родины.

«Сибирская газета», Томск, 1888, №№ 28, 30. Печаталась статья под псевдонимом «М. Костин».

М. В. Грицанова

«Томская тема» в судьбе и творчестве К. М. Станюковича

«Томская тема»
в судьбе и творчестве
К. М. Станюковича

— А каков, например, город Томск?

— Превосходный. Лучший город Сибири, так сказать, сибирская Москва.

Константин Михайлович Станюкович прожил в Томске как административный ссыльный ровно три года (июнь 1885 — июнь 1888). Нельзя сказать, чтобы этот период был обойдён печа-

тью: есть воспоминания Е. С. Некрасовой [1], А. В. Адрианова [2], С. Л. Чудновского [3], Д. Кеннана [4], статьи В. Милькова [5] и др. В сознании любого читающего сложился образ стойкого, мужественного борца, европейски образованного человека, в прошлом блестящего морского офицера и путешественника, широко известного писателя и журналиста, внезапно перенесённого обстоятельствами в далёкий сибирский край. Меньше известно читателям о фактах творческой жизни Станюковича в период ссылки. Литературоведы по настоящему заинтересовались лишь морскими рассказами, написанными в Томске и положившими начало всемирно известному циклу, почти обходя «сибирскую» часть его наследия. Эта односторонность в освещении творчества ссыльного писателя не преодолена даже в наиболее полной и обстоятельной монографии В. П. Вильчинского [6]. Между тем художнические искания К. М. Станюковича в период томской ссылки дают дополнительное представление о личности писателя, позволяют установить закономерность его связей с кругом местной интеллигенции, даже оттенить сам феномен рождения «морской темы» в кругу других. Сибирскому читателю к тому же небезынтересно

увидеть Станюковича в Томске, в стихии нашей природы, исторического города, как и увидеть Томск глазами большого европейского художника. Путь к этому — в соединении краеведческого и литературоведческого подходов к «томской теме» в жизни и творчестве писателя.

* * *

17 июня 1885 года К. М. Станюкович с женой и четырьмя детьми прибыл в «столицу Западной Сибири», как он назвал Томск. «Расположенный на холмистой поверхности, окаймлённый зеленеющими лесами, сверкавший куполами своих церквей под лучами заходящего солнца, Томск издалека казался привлекательным городом…» [7; № 12]. Медленно продвигался кортеж путешественников «от села Черемошина» по немощёным улицам, мимо «плохоньких строений», «низеньких невзрачных домов», от занятых гостиниц к забитым постоялым дворам, «доставляя скучавшим томичам даровой спектакль». «Привлекательный издалека» и «невзрачный», неприветливый вблизи, город продолжал удивлять приехавших своей неоднозначностью: дело не только в том, что уже в «злополучный» вечер они сидели за «пузатым самоваром» и на ужин

были поданы булки, масло, сливки, жареная телятина, но в том, что и хозяйка номеров Гладышева, и предоставившая солидному семейству свой дом Плятер-Плохоцкая читали произведения Станюковича и хорошо знали его как писателя.

Можно представить трудности первых недель пребывания в провинциальном городе, поразившем грязью и «дикостью», пугавшем отсутствием работы, отрывом от большой общественной и литературной деятельности последних лет, утратой связей с далёкими теперь друзьями. Из сердца писателя вырвался в одном из писем крик: «Будьте лучше несчастливы по-человечески, чем счастливы когда-нибудь по-томски» [1, с. 160]. Но гораздо чаще в его письмах звучат заверения: «Я бодр», «не теряю бодрости», «чёрт вовсе не так страшен, как его малюют», зимой, в сорокаградусный мороз, — «ничего, привыкнем».

Этот душевный настрой, с одной стороны, объясняется незаурядностью личности ссыльного писателя, с другой — той атмосферой «лучшего города Сибири», в которую он окунулся. Это не была «страна Макара», как представлялось издалека. Это был крупный губернский центр, оживлённый в ту пору энтузиастической деятельностью «областников», подъёмом про-

свещения, строительством университета. Двумя месяцами позднее Станюковича в Томск приехал американский путешественник и исследователь Джордж Кеннан, которому тоже город показался «по предприимчивости, интеллектуальному развитию, благосостоянию населения» — «первым» в Сибири [4].

Уже в первые месяцы жизни Константина Михайловича в Томске в его письмах начинают «прорастать» приметы томской жизни, штрихи портретов окружающих людей. Аристократ по воспитанию и образу жизни, Станюкович вместе с женой Любовью Николаевной стремились и свой домик в Затеевском переулке, а позднее квартиру на Верхней Елани обустроить как можно уютней и изящней: были куплены необходимые вещи, приобретено пианино. Дж. Кеннан заметил, что в их доме хранились реликвии, напоминавшие о прежних путешествиях: визитные карточки американских офицеров, фотография Линкольна, модель индейской пироги. Общительный, открытый характер хозяина, истинно русское гостеприимство всех домочадцев, атмосфера дружной интеллигентной семьи привлекали многих знакомых.

О «томских сидениях» в доме Станюковичей

осталось немало воспоминаний. Там бывали: Ф. В. Волховский («изящная натура с эстетической подкладкой», — скажет Станюкович о нём в письме Е. С. Некрасовой), князь А. А. Кропоткин («учёный астроном», «чудный товарищ» и «приятный собеседник»), Д. А. Клеменц, С. Л. Чудновский, Л. Э. Шишко, Г. Ф. Зданович.

Пожалуй, лучше всего атмосфера таких «тёплых встреч» воспроизведена в книге Кеннана:

> «К самым интересным явлениям в мире политических ссыльных в Томске принадлежал… Константин Станюкович. Это был человек, одарённый тонкой наблюдательностью, превосходный знаток социальных явлений в России… человек с выдающимися способностями и необычайной энергией… В уютной маленькой квартире мы провели наши лучшие вечера в Томске. Мы часто до полуночи внимали дуэтам, которые распевали Станюкович-дочь с А. А. Кропоткиным, беседовали о русском правительстве, ссылке в Сибирь…» [4; 239].

Письма самого писателя друзьям также воскрешают отдельные моменты томской жизни. Он

описывает семейные торжества, дни рождения детей — с подарками, ласками родных и приходами гостей, учёбу и занятия каждого из близких, поездку летом 1886 в деревню Заварзино; с тревогой пишет иногда о своём или чьём-то нездоровье, с гордостью — об игре и пении Наташи, которая «положительно очаровывает здешнюю публику». Но более всего со страниц писем и воспоминаний встаёт образ великого труженика, совершенно неутомимого в своей писательской работе. Через две недели после приезда и устройства на квартире: «…только 3–4 дня как жизнь вошла в колею и я мог серьёзно приняться за работу…». Через четыре с половиной месяца: «Работаю буквально не покладая рук… Почти нигде не бываю, сижу дома и пишу…». В каждом письме делится своими творческими планами, сомнениями — так ли пишет, «как нужно, как мог бы», просит помочь в публикации готовых очерков, рассказов.

В одном из писем Е. С. Некрасовой Константин Михайлович заговорил о тяге к фельетону — своему излюбленному жанру: «Ежемесячные фельетоны писать отсюда неудобно, но я имею в виду давать нечто вроде того, черпая материал из сибирской жизни» [1, с. 159]. Возвращение к живой журналистской работе — важный этап

в томской биографии писателя. Вскоре он стал сотрудником газеты, утверждает В. П. Вильчинский; сразу погружается в литературную работу — настаивает Е. С. Некрасова; «на первых же порах» сошёлся близко с членами редакции, посещал редакционные собрания, вспоминает С. Чудновский. Сопоставляя творческие искания Станюковича и материалы «Сибирской газеты», есть возможность определить закономерность, время и место встречи опального писателя с одним из выдающихся сибирских изданий.

* * *

Ко времени приезда К. М. Станюковича в Томск «Сибирская газета», открытая ещё в 1881 году, сложилась в солидное периодическое издание со своей программой, постоянными разделами, сплочённым коллективом авторов и тремя тысячами подписчиков. По заявлению её редактора А. В. Адрианова, газета была принципиально оппозиционной и отстаивала право на обличительное направление. Она открыто заявляла о своей демократической и просветительской ориентации:

> «Не для культуртрегеров издаются сибирские газеты, не для самого образован-

ного слоя, а для той среднего образования сибирской массы, которую нужно познакомить с краем, где она живёт» [8, 1885, № 21]. В газете сотрудничали люди, близкие ссыльному Станюковичу по духу, убеждениям, рыцарскому служению долгу. С. Чудновский в своих воспоминаниях образно определил этот настрой: «Её („СГ“) работники смотрели на свою миссию как на подвиг. „Сибирка“ была для них святыней и храмом, в который можно вступить лишь молитвенно и коленопреклонённо» [3; 168].

Наступательная позиция «Сибирской газеты» обусловливала высокий удельный вес сатирического, фельетонного отдела, который более всего и привлёк внимание Станюковича. Острота фельетонного отдела «Сибирки» становится особенно ощутимой по мере нарастания её полемики с новым томским органом — «Сибирским вестником», который стал выходить с мая 1885 года в противовес «красной» «Сибирской газете». П. Макушин назвал его «литературной рептилией». Обратим внимание на быстроту и определённость выбора Станюковича. Через два месяца

после приезда, т. е. в августе, он пишет:

> «Между этими органами, конечно, вечная полемика, но, разумеется, сочувствие порядочных людей на стороне „Сибирской газеты“, а не „Сибирского вестника“, где работают по большей части все герои процессов, натурально, уголовных» [1; 162].

Именно к этому времени относится сближение писателя с редакцией газеты. Условия конспирации и занятость другой литературной работой скрывают от нас меру творческого участия Станюковича в выпусках «Сибирки». Трудно сегодня назвать точную дату его прихода, но анализ материалов газеты косвенно свидетельствует о периоде «необъявленного присутствия» Станюковича в «Фельетоне „СГ“».

Так, привлекает внимание появившийся 15 сентября 5 г. совершенно оригинальный раздел «Крапива» — сатирическая мини-газета в газете. Составителем его, как теперь известно, являлся Феликс Волховский. Но некоторые из материалов по идее, пафосу, стилю очень напоминают публицистику Станюковича предшествовавших лет. Сквозной темой его статей являлось разоб-

лачение и критика реакционной и либеральной печати. В «Письмах знатного иностранца», повсеместно известного сатирического цикла, Станюкович уже писал о современной печати как о «печати лавочников», о забвении идеалов, намеченных лучшими людьми, об одинаковом «запахе» всех газет реакционного направления. Вот эта последовательная концепция, общий широкий взгляд на роль прессы, вплоть до частных оценок, вдруг отчётливо проступают на страницах сибирской «Крапивы».

Как острый фельетон написана редакционная Программа отдела «Два слова о „Крапиве“». Использован образ «Сада российской словесности», в котором процветают все «прелести русского литературного вертограда»:

> «Бледною, не имеющею непозаимствованного запаха камелией, выращенной за большие деньги в оранжерее, стоит Авсеенковская „Петербургская ведомость“… Пёстрой георгиной возвышаются „Новости“, кивая на все стороны шарообразной головой»…

И далее даются саркастические характеристики других русских журналов, после чего

обосновывается право «жалить всех, кто того достоин, и насадить крапивы не на столичных и европейских клумбах, а в скромном, далёком уголке российской словесности» [8, 1885, № 37]. В редакционной статье закладывались принципы дальнейших выпусков, очень близкие эстетическим установкам Станюковича-фельетониста: многообразие жанров, лаконизм, актуальность, острота. Он несомненно если не был вдохновителем «крапивных» страниц, то имел отношение к обсуждению вместе с редакцией отдельных выпусков или материалов.

Присутствие новых литературных сил в фельетонном отделе чувствуется и в содержании полемики с альтернативной газетой. Сатирическая «Крапива» ведёт теперь спор не на уровне частных колкостей по поводу ошибок или «ляпов» «Вестника», а подвергает критике позицию газеты по многим принципиальным вопросам. «Газета в газете» будет выходить до середины 1886 года и закончится совсем накануне того дня, когда появится новый сатирический цикл Станюковича — «Сибирские картинки»; этот факт тоже позволяет проследить за творческой деятельностью писателя.

Первый выпуск «Картинок» напечатан в га-

зете от 13 июля 1886 г. под новым псевдонимом — «Старый холостяк». С самого начала была видна какая-то особая обстоятельность: задуман «цикл», и это обязывает соблюсти литературную традицию «представления» рассказчика. Дана ироническая самохарактеристика, в которой важно всё: «скромный литератор-обыватель», «…от роду мне 60 лет. Отставной надворный советник. Вероисповедания православного… Направления благонамеренного и долю трусливого…» Отличается «безусловной благонадёжностью» и не имеет «преступного намерения отторгнуть Томскую губернию от Российской империи» [8, 1886, № 28].

Скрывшись за маской повествователя-обывателя, автор цикла имеет возможность рассуждать на самые различные темы: он как бы не скован тенденциозностью, свободен и объективен. Между тем за непринуждённостью рассказов «старого холостяка» стоят серьёзные общественные проблемы. Одна из них — явление «цивилизаторства» в отдалённых районах России. Образ молодого человека, «знакомого с трактирной цивилизацией больших городов и приехавшего в Томск цивилизовать „дикий край“», нарисован с использованием обширных литературных реминисценций. Циник, скандалист, «соединяющий

в себе черты Хлестакова с чертами Подхалимова, нахальство Ноздрёва с алчностью разбойника» — вот первое впечатление от знакомства с этим персонажем.

Пародией на литературную традицию является дневник «цивилизатора». Только на этот раз найден он в чемодане среди пустых бутылок и служит средством сатирического саморазоблачения. Через восприятие вечно пьяного проходимца показан и город Томск. «Довольно-таки гнусный город, надо отдать ему справедливость», — замечает автор дневника. Он видит только грязь, участвует в драках и загулах, недавно достроенное здание университета предлагает отдать «привилегированным арестантам»; томских женщин обзывает «брёвнами» и «дурами». Автор даёт ему ещё одно прозвище — «ташкентец». Когда-то, создавая образы «ташкентцев», чей девиз «не зевай!», чья цель «жрать!», Салтыков-Щедрин предупреждал об опасности распространения этого явления по всей России, преемственности «Ташкентов» — Станюкович подверг сатирическому анализу и осмеянию сибирский вариант цивилизатора.

Единство цикла сатирических «Картинок» достигается внутренними связями мотивов,

проблем, иногда полемикой точек зрения на общие вопросы. Так, Томску, увиденному глазами «ташкентца», противостоит другой Томск — «идеальный», из фантастического сна повествователя. Это нечто вроде сатирического «перевёртыша»: идиллия строится по контрасту с действительностью, но при этом действительность то и дело «проглядывает». Вот образчики такого изображения: «Вместо острога на въезде — большое красивое здание, окружённое тенистым садом, и ни одного солдата около» [8,1886,№ 37]. Это — клиника, а острогов нет вообще, тюрьма одна, но пустая. «Вошёл господин в форме. Думаю, сейчас все повскакивают с места — ничуть не бывало». Сон обывателя прерывается внезапным криком «Караул!» — это уже реальность. Так достигается комический эффект: создание утопии и мгновенное её уничтожение, а за этим мысль об иллюзорности мечтаний обывателей, пока царят сегодняшние порядки.

В цикле сталкиваются понятия о литературе правдивой, «обличительной» и литературе «усладительной». Повествователь иронизирует над призывами к идеализации в литературе: «Изобразите этакую „Парашу Сибирячку“… И умна-то она, как Маргарита Пармская, и красива-то она,

как Клеопатра Египетская», или «добродетельного квартального» и «бескорыстного надзирателя, этакого замечательной честности отставной козы барабанщика Разбойникова. И тогда вам будет легко издавать газету» [8, 1886, № 42]. От эстетического спора автор вновь выходит к полемике с «Сибирским вестником».

Следует восстановить контекст, в котором воспринимались строки цитированных «Картинок». 43 номер «Сибирской газеты» от 26 октября был посвящён роли печати, росту патриотической сибирской интеллигенции. Этот день был днём сбора всех «сибиряков», и в передовой статье были выражены надежды на «новое молодое поколение, усвоившее себе широкие и гуманные общечеловеческие идеалы, твёрдо решившееся поработать словом и делом в пользу своей родины во имя этих именно идеалов». На фоне этих материалов в последующих выпусках «Сибирских картинок» будет нарастать критический пафос: общественное неблагополучие станет главным объектом сатиры в очерках «О выборах», «Торжество чумазого», «Осаждённый город». «Голос» повествователя крепнет, его интонации напоминают теперь призывы, возбуждающие энергию обывателей, их общественную совесть:

«Не глядите — богат или беден, а смекайте — честен или нет человек, трудолюбив или празден, сумеет ли он, не покривив душой, послужить делу» [8, 1886, № 45].

В последний раз псевдоним «Старый холостяк» появится под святочным рассказом «Первая и последняя ёлка» [8,1886, № 52]. Нередко этот рассказ исключают из «Сибирских картинок» и рассматривают отдельно, так как, кроме подписи, казалось бы, нет ничего общего с содержанием цикла. Но с этим можно и не согласиться, если читать рассказ в контексте «Сибирской газеты» и вслед за всеми выступлениями «Старого холостяка». Это венец цикла и конец года: с этой точки видны все промахи прошлого, но с неё же начинаются надежды на будущее.

Стихия сибирской жизни выступает на этот раз не в галерее «чумазых», «ташкентцев», «червонных валетов», не в многоголосой толпе обывателей, а в развёрнутой картине природы. Суровый рождественский мороз, «злющий» сибирский ветер — таков мрачноватый колорит рассказа. Точные приметы Томска: Большая улица, Воскресенская гора, богатый купече-

ский дом на углу, с огромными освещёнными окнами, за которыми — «ёлка, большая, богато изукрашенная ёлка, стоявшая среди комнаты, сверкала, залитая огнями и блеском…» [8, 1886, № 52]. На грани этих контрастных миров — чёрной сибирской ночи и блестящего великолепия Рождества — крошечная фигурка нашего мальчика, «очарованного маленького человечка». В рассказе есть как бы нити предшествующих частей: социальные контрасты, беззащитность слабого перед хищниками как примета времени (мальчик встречается с грабителем), жестокость нравов, фантастический сон избитого ребёнка. Лирическое начало связано с чувством глубокого сострадания повествователя к обездоленным. Вдумаемся: он, шестидесятилетний «обыватель», в силу своего «трусливого» мироощущения, не состоялся как гражданин ни в сороковые, ни в бурные шестидесятые годы («холостяк»), но он сохранил «душу живу» к восьмидесятым годам, и его надежды связаны с молодым поколением. Это созвучно настроениям и автора «сибирских картинок», оставившего псевдоним неизменным и для святочного рассказа. Цикл не разрушился: лирическая концовка лишь уравновесила критику настоящего и надежды на будущее, социальное

и нравственное.

«Сибирские картинки» можно считать талантливым очерковым циклом, созданным в пору творческого подъёма писателя. Это интуитивно чувствовали многие исследователи морских рассказов, но, не анализируя томские произведения, они выражали изумление по поводу взлёта таланта Станюковича. Феномен начала морского цикла в сибирской ссылке при пристальном исследовании проясняется: он соседствует с новой вехой творчества писателя, освоением им новой тематики и новым мироощущением.

* * *

Самым «деятельным» периодом томской жизни Станюковича была вторая половина 1886 года, когда, наряду с постоянно выходившими фельетонами «Сибирских картинок», с 7 сентября станут регулярно появляться главы романа «Не столь отдалённые места», а в европейских журналах в октябре-ноябре объявится новый автор — М. Костин, рассказы которого «Василий Иванович», «Беглец», чуть позднее — «Матросский линч», «Человек за бортом» — привлекут всеобщее внимание. Темп творческой жизни ссыльного писателя стремительно нарастал. Но Томск не

только задал интенсивность темпа работы, но внёс качественные изменения в художнические искания писателя.

Сложилось мнение, что сибирский роман Н. Томского — художественная неудача. Критик К. К. Арсеньев в апрельском номере «Вестника Европы» за 1889 противопоставил роману-фельетону морские рассказы М. Костина. С. Чудновский вспоминает о большой спешке автора при написании «Не столь отдалённых мест», небрежностях в деталях при подготовке глав к печатанию их в очередном выпуске газеты.

Н. М. Ядринцев в письме иркутским друзьям от 30 августа 1886 г. неодобрительно отзывается о том, что в «Сибирской газете»:

> «…заподрядили Станюковича написать роман из сибирской жизни, фельетоны… Конечно, Станюкович, не знающий и не изучавший сибирской жизни, наваляет какой-нибудь пашквиль… Подделка под сибирские интересы, обусловленная нуждой, тут много неискреннего» [9, с. 287].

Сомнения Н. М. Ядринцева могли бы быть оправданными, если смотреть на Станюковича как на человека со стороны, но они рассеивались

самой практикой писателя в напряжённый год после приезда, его укрепившимися связями с сибирской прессой и решительным овладением «томской темой». Более того, когда в декабре 1886 года над «СГ» нависла угроза закрытия из-за материальных трудностей, Станюкович был одним из тех «друзей газеты», которые воспрепятствовали этому. А. В. Адрианов в письме Г. Н. Потанину прямо указывал:

> «Константин Станюкович — наиболее деятельный наш сотрудник — он пишет роман и „Сибирские картинки“, и ему газета будет обязана многим» [10, № 865].

Причина же неудовлетворённости критиков художественной отделкой романа, как и причина забвения этой части наследия Станюковича, кроется в своеобразии самого жанра романа-фельетона. Можно говорить об экспериментаторстве писателя: романная форма позволяла расширить горизонты сибирской темы, выйти к проблеме человека, героя, но она должна была сосуществовать с «сухощавой, костистой фельетонной формой» (М. Кольцов). К тому же роман предназначался для газеты и печатался в ней. Это может снять обвинение в «торопливости» автора и в

художественных «огрехах»; ведь суть газетного «многосерийного» произведения — рождение фрагментарное, «на глазах» читателей, к «срокам». Считают, что «фельетон стоит как бы косо ко всему газетному листу, он рассчитан на перемену внимания, на удивлённое лицо читателя» [11;19]. В данном случае задачей фельетониста было удержать внимание томских читателей надолго, на многие месяцы вперёд: рамки выхода романа на страницах «СГ» 7 сентября 1886 — 28 июня 1888, всего же он появился в 38 номерах газеты.

Прежде всего для «удивления» томской публики нужно было выстроить предельно захватывающий сюжет. Обычная уголовная хроника заполняла страницы всех изданий. Но на этот раз первая фраза романа: «Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!» [12;17] — должна была познакомить читателя не с матёрым преступником, а с «молодым человеком, с бледным истомлённым лицом», который «тихо, как бы недоумевая, к чему его беспокоят», должен объяснить мотивы, заставившие его… Несмотря на неординарность происходящего — стрелял в женщину — последнее слово так ничего и не разъясняет, жена не только не проклинает пре-

ступника-мужа, но даже оправдывает его — с первых страниц легко уловить глубокую иронию автора, проистекавшую от поразительной банальности прежде всего героя. Судьба человека, приговорённого «на житьё», была, мало сказать, близка Станюковичу — это было личное, только что пережитое. Но выбор героя романа из среды «уголовных» диктует автору приёмы неизменного «снижения» ореола страдальца или «героя». Это сказывается уже в портрете, мотивировке поступков и характера. Невежин — фамилия главного персонажа. Невольно возникает литературная параллель: Салтыков-Щедрин в одном из сатирических циклов даёт характеристику т. н. «легковесных» — деятелей, которые ни над чем не задумываясь, ни перед чем не останавливаясь «шествуют в храм славы с единственной целью сневежничать в нём» [13;52]. Несостоятельность, неосновательность Невежина постепенно вырисовываются как основные черты его личности. Вопрос о ценности человеческой личности, о нравственном облике «ссыльного» небезразличен автору.

Любопытно сопоставить факты биографии писателя и как бы пародирующую её судьбу героя романа. Именно в это время в «Русской мысли»

выходили очерки, в которых повествователь-гражданин размышлял над проблемами России, Сибири, народного бытия. И на контрасте с этим его Невежин лишён какой-нибудь плодотворной мысли: автор просто «перебросил» его в город Жиганск, углубив этим скачком «червонного валета» впечатление об его легковесности и незначительности.

Интерес томских читателей к роману возрастал от номера к номеру, появились просьбы издать его отдельной книжкой и уж во всяком случае не прерывать выпусков. В начале 1888 года редакция вынуждена была в каждом номере «успокаивать» нетерпеливую читательскую аудиторию обещанием скоро продолжить печатание романа Н. Томского.

Этот интерес был особенно возбуждён поворотом романного действия к сибирскому обитанию героя. Заявленный характер по-своему проверяется в новых обстоятельствах. «Благие порывы» Невежина последовательно сменяются уступками его слабостям, в его характеристике постоянное «но»: стремление к чистой и честной жизни, но неспособность к труду; мечта о возвышенной любви к Зинаиде, но обольщение «Прекрасного Иосифа» престарелой красоткой; обещания слу-

жить, найти себе дело, но возможность жить на содержании у жены. Сами «испытания» носят всё более фарсовый характер. В условиях ссылки, в провинциальном городе Невежин в сущности не теряет ничего изо всех привычных благ: он обласкан губернатором и его женой, окружён поклонницами и собутыльниками, безбедно существует и пользуется всеобщим покровительством. Лишь на несколько дней его самолюбие уязвлено отказом Зинаиды, и автор иронично назвал его «страдальцем», но, когда он стал богат (умерла жена, оставив наследство) и свободен (расстался с любимой), ему окончательно даётся определение — «счастливый молодой человек».

Станюкович выносит своего героя на суд томского читателя. Ничего не осталось от заявки на драматизм судьбы ссыльного: роман живёт теперь по законам сатирического искусства. Автор провёл «антигероя» через цепь «похождений» и поставил его перед смехотворным итогом: «Всё тот же» — скажут о Невежине в эпилоге. Замкнутый круг судьбы «одного из „порядочных“ молодых людей» — это и было художественное отторжение автором «червонных валетов», насаждавшихся в Сибири, вслед за «цивилизаторами», «ташкентцами» и другими спасителями

«дикого края».

«Не столь отдалённые места» было подлинно оригинальным произведением в другой своей ипостаси — в изображении губернского города Жиганска, занимавшем три четверти объёма романа. Отношения автора с читателем, нефельетонными полосами «СГ» в этой части выстраивались по иному художественному принципу, чем в описании любовных и иных похождений Невежина. Теперь писатель должен был вывести на страницы нравы томских жителей, провинциальные типы, нарисовать живую современную картину. Установка на достоверность, узнаваемость, публицистичность — как черты фельетона — ставила художника, живущего в этом городе, в положение, когда сатирический мир романа ежедневно соприкасался с живой действительностью. Быть судьёй окружающих — значило бы написать «пашквиль», а стать бесстрастным фотографом не позволяла гражданская позиция сатирика-публициста. И Станюкович как бы заключает «договор» со своими читателями, вовлекает их в своеобразную «игру». Он подбрасывает им отдельные знакомые картины, портреты, события, «заманивает» их в атмосферу живого действия, но тут же лепит

образ по законам художественного творчества: деформирует реальность, уводит события к давним временам, заостряет наиболее важные для раскрытия идеи. Благодаря таким приёмам Томск предстаёт в «кривом зеркале» сатиры.

Семнадцатый томский губернатор Иван Иванович Красовский остался в памяти современников человеком либеральным, радушным, доступным. «Это был интересный тип российского помпадура „доброго старого времени“» [3;170], — напишет о нём С. Чудновский в 1912 году. «Неудачный участник Крымской войны», потом министерский чиновник, московский вице-губернатор, он в Томск ехал неохотно, но объяснял это тем, что не мог отказать своему государю. Ему прощали его чрезмерное тщеславие, страсть к популярности.

В воспоминаниях Е. Корша, близкого губернатору человека, перечисляются многие привлекательные черты Красовского:

> «…простой, хороший, жизнерадостный, большой театрал, <…> вращался в кругу передовых литераторов, артистов, артисток… Ходили анекдоты об его оригинальности, весёлости, остроумии, резкой, но не злой требовательности» [14, с. 439].

Корш описал даже квартиру и кабинет губернатора в доме купца Ненашева (ныне пр. Ленина, 143), где он по утрам вёл приём посетителей; его частную жизнь, домашние вечера, пристрастие к дамскому обществу.

Сам Станюкович в частном письме, сообщая о внезапной кончине Красовского, писал так:

> «Покойник был прежде всего добрый человек, понимал, что Томск для людей, случайно сюда заброшенных, сам по себе не представляет особой прелести, чтобы устраивать ещё для них невозможную жизнь» [1;157].

И вот в главе «Утро делового человека» перед читателем возникает художественный образ губернатора Ржевского-Пряника(!). «Подслащённой» фамилии «генерала» соответствует его портрет: «Кругленький, гладкий, невысокого роста, бодрый и живой старичок с манерами человека, бывавшего в свете, из породы мышиных жеребчиков, <…> не было ни импонирующего юпитерского величия, ни специфической чиновничьей выправки» [12, с. 54]. Знаком был Станюковичу, видимо, и «щегольски убранный кабинет» губернатора, где среди фотографий

немало женских портретов и разных сувениров, и манера распекать во время утренних приёмов своих подчинённых («Я разыщу негодяя, который сообщает этому мерзавцу редактору пасквили… Я его… Я в двадцать четыре часа! Разбойник! В остроге сгною!» и т. д.), и быстрые перемены в его настроении, когда после «воинственного» нападения на заседателя Прощелыжникова он «прослезился и стал по обыкновению болтать» с Сикорским (томичи узнавали Павла Полянского), а потом затевает «дружеский разговор» и приглашает запросто заходить к нему Подушкина, на которого как раз и падало подозрение сначала. Вся сцена показана как острокомедийная, почти водевильная, её даже можно инсценировать: персонажи попеременно появляются, демонстрируя свои характеры, привычки, каждый наделён своей логикой поведения, меткой речевой характеристикой. Комизм изображаемого усиливается введением сатирического персонажа — Марьи Петровны, жены губернатора, мечтающей увезти своего Базиля из «проклятой дыры», так же, как и ироническими авторскими замечаниями о «воинственности» бывшего участника Крымской войны в «баталиях» местного значения, о «трепете» подчинённых, о «злополучной корре-

споненции», в которой на самом деле ничего «ужасного» не было.

Итак, томскому проницательному читателю давались «знаки», по которым они могли легко угадать авторскую насмешку. Но это лишь внешний комизм: это Красовский из «анекдотов». Перо же писателя было подчинено не только созданию сиюминутного впечатления от «сценки», а глубокому анализу уродливых общественных отношений, вскрытию алогизма провинциальной жизни. Деловой кабинет первого человека губернии — это ворота в некий прокажённый мир, где царят лицемерие и надувательство, всесилие власть имущих и подобострастие подчинённых, цинизм и хищничество. Подлинным объектом сатиры являются не отжившие, загнивающие явления общественного и нравственного порядка, над которыми можно было бы посмеяться, а нарастающие, находящие почву для развития: приспособляемость циников к существованию в новых условиях, «привыкание» обывателей к кровавым преступлениям «мафии», использование печати для борьбы с несогласными и т. п. Автор глубоко озабочен стремительным наступлением зла: идущее от столицы с её уголовными процессами, оно множится в «местах, не столь от-

далённых», циркулирует по всему «организму», отравляя его.

В поле зрения автора входят различные лики этого зла, что фиксируется в каждом новом выпуске фельетона. В портретной галерее жиганских типов возникает образ одного из сибирских «чумазых». Образ Кира Пахомыча Толстобрюхова в романе, на первый взгляд, достаточно традиционен: это купец-толстосум, неоднократно отражённый в русской литературе середины XIX века. Станюкович сразу вписывает его в типологический контекст. Об этом говорит всё: имя Кир, что значит «сила, право, власть»; выразительная фамилия, напоминающая «говорящие» имена персонажей Островского; щедринское определение «чумазый»; характерный портрет хищника-первонакопителя («широкое, угреватое, тупорылое лицо», «недобрый огонёк… заплывших жирком глаз», «широкая кряжистая фигура»); речевая характеристика грубого, полуграмотного предпринимателя («баланец», «подъегорить», «нонече», «ярманка» и др.).

Давая читателю газеты тотчас догадаться, о каком типе идёт речь, автор и не стремится к особой изобретательности в художественном отношении, как бы заверяя, что всё это известно,

прочно осело в сознании людей 80-х годов. Но Кир Пахомыч «интересен» автору как модификация расхожего образа в условиях Сибири, где он всемогущ, опасно агрессивен, где малыми силами и потугами его уже не сокрушить: в его денежном мешке нуждаются все, от кабатчиков, исправников, до губернатора. «Это была сила, с которой надо было считаться», — замечает автор, придавая зловещую окраску «одному из „чумазых“», за которым стоят другие грабящие Сибирь. Глубокие раздумья автора о судьбах многострадального сибирского края помогают прочесть в очерке об «отчаянном» купце главную романную мысль ссыльного писателя — о порочности общественного устройства современной России, мысль, близкую идеям «сибирских патриотов», на защиту которых встал столь темпераментный художник, каким был Станюкович.

Проводя читателя по присутственным местам Жиганска, знакомя с нравами обывателей, театральной богемой, сибирскими типами, Станюкович-Томский долгое время как бы бережёт главную тему разговора с читателем — о роли печати, о местной прессе. Но вот в одной из столичных газет «воинственного» направления напечатана «воинственная» корреспонденция.

Внимание автора сосредоточено на проблеме восприятия жиганскими читателями самых актуальных общественных вопросов: о «сибирских патриотах», неблагонадёжном «Жиганском курьере» (читай — «Сибирской газете»), угрозе «сделать из Сибири будущую Польшу». Став на точку зрения читателей, автор умело прячет собственное отношение к бурно обсуждаемым событиям. В данном случае читатели-персонажи ставятся рядом с реальными читателями «Сибирской газеты». Если в романе написано: «Это, собственно говоря, была не корреспонденция, а грозный донос, облечённый в литературную форму», — у томичей не могли не возникнуть в памяти доносы на «Сибирскую газету»; если персонаж Сикорский опасался «озлобленных выпадов „Жиганского курьера“ против уголовных ссыльных», читающая публика вновь вовлекалась в атмосферу ожесточённой полемики томских газет; если в начальных главах повествователь пытался мистифицировать читателя, отнеся события к «временам стародавним», то к концу романа он ощущает «непосредственное дыхание самой жизни».

В последних главах романа, выходивших уже в 1888 году, когда в Томске ожидалось открытие

университета, а на страницах газет ставились острые общественные вопросы, автор напрямую обратился к проблеме ссыльной интеллигенции и её роли в сибирской жизни. Конфронтация двух газет — «Жиганского курьера» и «Жиганского гражданина» — предстаёт как галерея портретов «бубновых тузов в изгнании». Нигде до этого в тексте романа не собиралось столь тесно, в одном кружке, такое однородное общество единомышленников:

> «…за круглым столом… сидели, прихлёбывая чай, главнейшие „короли в изгнании“, как прозвал один местный остряк этих известных героев уголовных процессов» [14; 188].

«Амфитрионом» за столом является известный читателю интриган Сикорский, а вокруг не просто легко узнаваемые сотрудники «Сибирского вестника», а галерея типичных циников, названных в одной из рецензий «культурной уголовщиной». Различны портреты, характеры, индивидуальные судьбы каждого из персонажей — участников «памятного вечера», но при всём их различии автору важно показать, что привело всех к общей «идее»: все они исполнены

ненависти к сибирской жизни, называя Жиганск «подлым», «дырой», «клоакой», «трущобой», а сибирских патриотов — «политической швалью». В основе действия любого из «тузов» — собственная обида на «Жиганский курьер», на местные порядки, месть своим недоброжелателям.

Вновь Станюкович, верный своим убеждениям и таланту сатирика-публициста, имеет возможность поставить вопрос о роли прессы в формировании общественного мнения, о нравственном облике пишущего, о силе воздействия печатного слова. Проблема газеты столкнулась в романе с главной проблемой регионального сознания: Сибирь не должна быть местом ссылки и каторги, она достойна лучшей доли в ходе развития российского государства, просвещения, культуры.

Как сотрудник фельетонного отдела «СГ», Станюкович прошёл путь от мелких и колких «крапивных» заметок через художественное осмеяние манипуляций общественным мнением как особой тактики провинциальных властей (цикл «Сибирские картинки») к освоению развёрнутого образа спекулятивного издания, газеты-«рептилии», рождённой недобросовестными усилиями «героев уголовных процессов».

Эта художественная концепция, несомненно, рождена общностью писателя с позицией сотрудников «Сибирской газеты».

Среди последних томских произведений Константина Михайловича — великолепный очерк «Г. Н. Потанин». Псевдонимом «М. Костин» связываются между собой томская тема с морскими рассказами. Очерк появился на благоприятном фоне: «Сибирская газета» стала уделять большое внимание людям с обострённой гражданской совестью. Расширился литературный отдел газеты: помещён рассказ В. Г. Короленко «Из записной книжки», очерк Г. Мачтета о В. Г. Белинском, открылась рубрика «Что пишут» с постоянными обзорами новинок, где помещены рецензии на очерки Г. Успенского, некролог о В. М. Гаршине. Стало очевидным, что «сибирская печать не исполнила бы своего общественного долга, не ознакомив читателя с одним из лучших сынов Сибири» [8, 1888, № 29].

Использовав материалы биографии Г. Н. Потанина и собственные воспоминания, Станюкович воссоздаёт неповторимые черты человека, с кем судьба счастливо свела его в годы томской ссылки. Портрет Григория Николаевича в изображении Станюковича — это согретая тёплым

авторским чувством зарисовка, улавливание типичных черт простого русского лица «из народа»: «чем-то необыкновенно хорошим, скромным, даже детски застенчивым веяло от этого небольшого, сухощавого пожилого человека» [8; 1888, № 30]. Тип учёного, путешественника, гражданина, не утратившего живых связей со своим краем, был близок идеальным представлениям Станюковича. Он увидел в Потанине подлинно гармоничную личность, положительного героя: просветителя, гуманиста, глубоко нравственного человека. Гармония высокого общественного служения и личного обаяния и скромности прочерчивается как притягательная вершина человеческого совершенства, тем более необходимого в эпохи безвременья. Автор вновь выходит к проблеме личности, её воздействия на духовную жизнь общества. Резкими штрихами характеризуя современный мир как «время, когда эгоизм и себялюбие, продажность и предательство, бессердечие и ненависть ко всему, что носит на себе печать „духа“»... празднуют «именины сердца», Станюкович не боится высоких слов в адрес «светлой личности»: «светоч среди мрака», «безукоризненная нравственная чистота», «гордость своей родины». Очерк и по своему

художественному исполнению был заключительным аккордом, полным гармонии и пафоса. Это было и торжественное прощание с Томском, и дань благодарности всему, что связано было с ним чистого и высокого.

М. В. Грицанова.

Литература:

1. Некрасова Е. С. К. М. Станюкович. Его поездка и жизнь в Томске. //Русская мысль, 1903, кн. X, с. 141.

2. Адрианов А. В. Томская старина // Город Томск. — Томск. 1912.

3. Чудновский С. Л. Из дальних лет // Вестник Европы, 1912. март.

4. Кеннан Д. Сибирь и ссылка. — СПб., 1906.

5. Мильков В. Станюкович в Томске // Русские писатели в Томске. — Томск, 1954.

6. Вильчинский В. Л. К. М. Станюкович. Жизнь и творчество. — М.; Л., 1963.

7. Нельмин Л. В далёкие края. Путевые наброски и картинки // Русская мысль, 1886, №№ 1, 2, 4, 12.

8. Сибирская газета. Цитируются выпуски 1885—88 гг.

9. Ядринцев Н. М. Письма //Литературное наследство Сибири. — Т. 5. Новосибирск, 1980.

10. Архив Г. Н. Потанина. ОРК НБ ТГУ. — № 865 (12 дек. 1886 г.).

11. Груздев И. Техника газетного фельетона // Фельетон. — Л., 1927.

12. Станюкович К. М. В места не столь отдалённые. — Новосибирск, 1964.

13. Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20 тт. — Т. VII. — М. 1965-77.

14. Корш Е. В. Восемь лет в Сибири // Исторический вестник,1910, № № 5–7.

«Томская классика»

Произведения, включённые в серию, соответствуют трём критериям: содержат местный материал или написаны в Томске; имеют художественную и общественную ценность; известны за границами области.

1. И. А. Кущевский. Николай Негорев, или Благополучный россиянин.
2. Н. И. Наумов. Избранное.
3. Г. Д. Гребенщиков. Избранное.
4. В. Я. Шишков. Избранное.
5. Г. М. Марков. Строговы.
6. М. Л. Халфина. Избранное.
7. В. В. Липатов. Избранное.
8. Вл. А. Колыхалов. Дикие побеги.
9. В. Д. Колупаев. Избранное.

10. К. М. Станюкович. Избранное. Константин Михайлович Станюкович (1843, Севастополь, — 1903, Неаполь] — русский писатель, известен произведениями на темы из жизни военно-морского флота. За три года жизни в Томске написано: роман и многочисленные рассказы. Здесь, в ссылке, за тысячи километров от морей и океанов, Станюкович создавал те произведения о русских моряках, которые в итоге и принесут ему мировую славу.

11. В. А. Обручев. Избранное. Владимир Афанасьевич Обручев (1863 г., Ржев — 1956 г., Москва) — русский геолог, палеонтолог, геоморфолог, географ, писатель-фантаст, академик АН СССР. После революции 1905 Обручев состоял в Конституционно-демократической партии, возглавляя её томский комитет. С 1901 по 1912 преподавал в Томском технологическом институте и был организатором его горного отделения.

12. Н. А. Клюев. Избранное. Николай Алексеевич Клюев (1884, деревня Кошгуги, Олонецкая губерния, — 1937, Томск. Расстрелян) — русский поэт, лидер так называемого новокрестьянского направления в русской поэзии XX века.

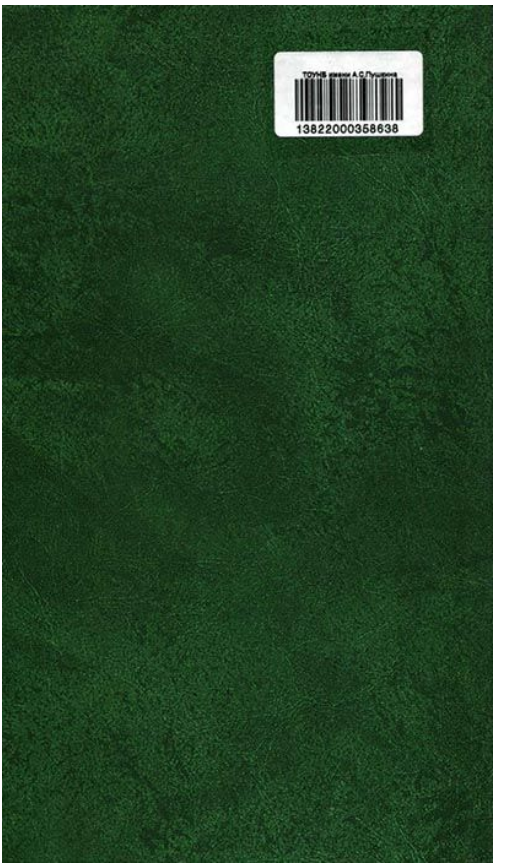
13. Ф. И. Тихменёв. Избранное. Фёдор Иванович Тихменёв (1890 г., с. Шерагул, Нижнеудинский уезд, Иркутская губ. — 1982 г., Томск) — один из организаторов в 1932 году литературного объединения в Томске.

14. Б. Н. Климычев. Избранное. Борис Николаевич Климычев (1930, Томск — 2013, Томск) — прозаик и поэт, журналист. Почётный гражданин г. Томска.

Литературно-художественное издание
Константин Михайлович Станюкович
Избранное

Редактор книжной серии и
редактор-составитель тома *Г. К. Скарлыгин*
Технический редактор *А. Р. Рубан*
Корректор *И. А. Сердюк*

Издание Томской писательской организации.
Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания».
Подписано в печать 30.04.2015 г. Печать офсетная.
Формат 140×240 мм. Шрифт Cambria.
Усл. печ. л 23,4. Уч.-изд. л. 19,79. Тираж 1 000 экз.


13822000358638